



Ф. Гиренок

АБСУРД И РЕЧЬ

Федор

ГИРЕНОК



Ф и л о с о ф с к и е
Т е х н о л о г и и :
hic et nunc

АБСУРД И РЕЧЬ

антропология
воображаемого

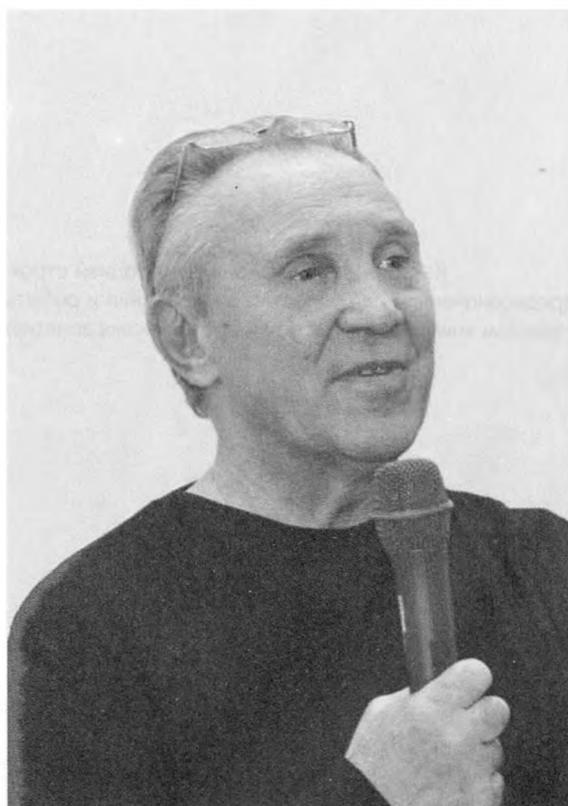


академический
проект



Книги серии снабжены нумерацией строк,
предназначенной для удобства цитирования и работы
с текстом книги на семинарах и практических занятиях

A



[Handwritten signature]



Федор Гиренок

Абсурд и речь.
Антропология воображаемого



Москва
Академический Проект
2012

УДК 1/14; 80/81
ББК 87; 81
Г51

Редакционный совет серии:

*А. А. Гусейнов (акад. РАН), В. А. Лекторский (акад. РАН),
Т. И. Ойзерман (акад. РАН), В. С. Степин (акад. РАН,
председатель совета), П. П. Гайденок (чл.-корр. РАН),
В. В. Миронов (чл.-корр. РАН), А. В. Смирнов (чл.-корр. РАН),
Б. Г. Юдин (чл.-корр. РАН)*

Гиренок Ф.

Г51 Абсурд и речь. Антропология воображаемого. — М.: Академический Проект, 2012. — 237 с. — (Философские технологии: hic et nunc).

ISBN 978-5-8291-1383-4

Новая книга одного из ярких современных русских мыслителей утверждает, что человек является воплощенным абсурдом, его источником и носителем. Поскольку речь пытается соединить воображаемое и язык, постольку она пытается придать смысл бессмысленному. При этом автор исходит из того, что логика всегда лжет, пытаясь что-то сказать о человеке. Нелинейный способ связности рассуждений является, на взгляд автора, наиболее адекватным способом передачи абсурдности существования человека.

Книга обращена ко всем интересующимся современной философской проблематикой, методами и приемами мышления человека.

УДК 1/14; 80/81
ББК 87; 81

ISBN 978-5-8291-1383-4

© Гиренок Ф., 2012
© Оригинал-макет, оформление.
Академический Проект, 2012

Введение в методологию

1. Научная философия

Двести лет тому назад Кант вознамерился найти место вере в системе разума. Канта поправил Шеллинг, полагая, что поставить на место нужно не веру, а разум. Более того, философия, по словам Шеллинга, нужна для того, чтобы указать место разуму, чтобы поставить его на место. Вот эту его мысль полюбили славянофилы, а вместе с ними и вся русская философия. После Шеллинга выражение «научная философия» стало неприличным, ибо слово «научная» означает одно, а именно: продавцы идей как торговки на рынке расхваливают свой товар и убеждают покупателей в необходимости его покупки. Мол, у нас хороший товар, у нас наука, а не какая-нибудь ерунда, не иррационализм. Так что — не проходите мимо, покупайте. И многие покупали. Даже Гуссерль захотел создать философию как строгую науку. Но ученый, если он говорит обо всем, не говорит ни о чем.

Философия длительное время была языком самосознания продвинутых людей. Затем эта «продвинутость» куда-то испарилась, а вместе с ней испарилась и граница, отделяющая большинство от меньшинства. Возникла масса. Некая «куча мала». Философия перестала быть языком самосознания людей и стала тренингом для профессионалов. Пустой интеллектуальной игрой. Формально философская мысль пульсирует между тавтологией и бессмыслицей, порождая метафоры и антонимы. Философия никогда не может быть завершена, исполнена как система, ибо это означало бы, что она была исполнена в пространстве одной метафоры, сведена к простому содержанию, которое всегда случайно.

2. Имя и реальность

В реальности есть все. Но в ней нет имени, того, что симулирует реальность. Имя является плодотворным симулякром. Существо реального в непоименованном богатстве существования. Воображаемое выводит реальное из-под влияния возможного и делает его причастным к имени и, значит, к бытию в качестве поименованного. Воображать — значит наделять имя реальностью, актуализируя виртуальное. Быть поименованным — значит совершать акт симуляции.

Тем самым воображаемое попадает в капкан, в ловушку, в которой с одной стороны его поджидает безымянная реальность, а с другой стороны — Я. Я — это граница воображаемого, предел «уже-сознания». Воображаемое может быть без Я. Я — невозможно без воображаемого, будучи его периферией, окраиной. Я — это прежде всего пустой смысл *Мы*. И все, что в нем от *Мы*, от «уже-сознания» воображаемого оно объявляет своим, делает производным от себя.



Мы — это мир без субъекта. Если субъект — это ум, то мир без субъекта — это мир безумия, мир, который еще не научился смотреть на себя с точки зрения ума, воплощенного в *Другом*. *Мы* — это мир Всеединства, круговой поруки, тотальной вины и всеобщей ответственности.

5 Знаково-символическое не нуждается в причастности к имени, к диффузному *Мы*. Оно использует *Я*, которое само себя именует и узнает. Но это будет уже самоименованное несуществование. Самоузнавание *Я* лежит в основе всякого знания. Бытие, попадая в пустоту *Я*, выходит из него в качестве языка того, что именуется и само поименовано. Бытие — это теперь имя бытия. В языке есть место и для небытия в качестве антонима бытия. В пространстве символического нет языка без *Я*, и нет *Я* без языка. Язык без *Я* остался в пределах воображаемого. Поэтому нужно признать заблуждением представление о том, что нет языка без *Я*. Если б это было так, то тогда бытие было бы языком, на котором говорит *Я*, что нелепо. Для 15 того чтобы ограничить претензии *Я*, нужно ввести представления о немой речи *Мы*, о воображаемом. Ибо воображаемое мыслится вне связи с языком. Если бы воображаемое было языком, то тогда слова были бы чувствами и эмоциями, что так же нелепо. А это значит, что в мире есть такая сторона, которая может быть передана образами и никогда не может быть 20 передана языком.

3. Два взгляда на мир

25 На мир можно смотреть двояким образом: извне или изнутри. Извне — значит со стороны, издалека, как если бы мы были посторонними. Эту посторонность нам обеспечивает сознание, существование которого создает дистанцию, промежуток между миром и человеком. Само сознание и есть этот промежуток.

30 Внешний взгляд — это взгляд со стороны сознания, со стороны того, что знает сущность. Извне видна всеобщность, необходимость, повторяемость. Внешний взгляд устанавливает в мире порядок, единообразие. Он диктует миру свои правила, подчиняет своим законам, держится за ясность, верит в истину, полагается на бытие и прогресс.

35 Взгляд изнутри относится к внешнему взгляду как к чему-то субъективному, условному, к тому, что учредил разум и затем насильно навязал миру. Взгляд изнутри разрушает дистанцию между миром и человеком, сталкивая человека в бесструктурный поток бытия. В этом потоке мир не скован логосом, не упорядочен законами, не расчислен понятиями. В нем нет устойчивости, в нем не за что ухватиться. Внутри этого взгляда мир 40 перестает быть объектом, а человек субъектом. Здесь ничто не существует, здесь все становится без всякой надежды когда-либо чем-то стать. Здесь ничто не имеет цели в самом себе и, следовательно, пресекаются претензии бытия быть бытием. Все ускользает, оказываясь промежутком какого-то глобального промежутка.

45 Классическое сознание ориентировалось на бытие, на предметы, а ему вместо предметов, вместо атомов бытия изменившийся мир предлагает промежутки, то что между, нечто неустойчивое, а не то, что вечно, недели-

мо, предельно. Предметность, равно как и предельность оснований растворяются в процессуальности, ухватываемой взглядом изнутри. От предметности остаются следы, разломы и разрывы. Изнутри видны не сущности, а сплошные различия и уникальности, т. е. все то, что в стабильном мире внешней взгляд относил к уродствам и аномалиям. В сущности все выглядит одинаково. В ней все кошки серы. В различии все случайно и индивидуально. В нем нет никакой монотонности.

Современная философия открывает горизонт постинтеллектуальности, совпадающей с дословным, дорефлексивным миром становления. Совпадение постинтеллектуализма и дословности составляет смысл поисков археоавангарда современной философии, требующего нового прочтения смыслов языка, сознания, эмоции, знаков, т. е. требуя новой несубъектной конфигурации человека.

4. Четыре взгляда на человека

1. Ницше научил нас отличать полных людей от пустых. Для этого он придумал метод философствования с молоточком. Этот метод практиковал Мамардашвили. Суть его в следующем. Когда-то было множество истуканов, золотых идолов. Одни из них были полными, другие — пустыми. Чтобы отличить один идол от другого, по нему нужно было постучать молоточком.

Ницше предложил философствовать с молоточком. Вот тебе встретился человек и тебе нужно узнать, какой он, полный или пустой. А у тебя лишь молоточек, то есть философия. Ты берешь его и стучишь: тук-тук. Простукивая людей своей философией, Ницше понял, что абсолютное большинство людей пусты.

Что же это такое — пустота? Обычно полными полагаются люди социально адаптированные, успешные, а пустыми — люди никчемные, лишние, к реальности не приспособленные. Во всяком случае, в каждом человеке есть что-то от природы, от папы с мамой, а еще есть что-то от среды, от социума, в котором тебе приходится жить. Но еще в тебе есть что-то от тебя и ни от кого больше. То, что ты сам вложил в себя, иногда называют стержнем, принципом или тяжестью, свинцом. И ты живешь с этим свинцом как Ванька-встанька. Тебя бьют, а ты не падаешь. Вновь поднимаешься. И тогда получается, что если в тебе есть эта тяжесть, если ты сам вложил в себя принцип, поработал над собой, то ты полный. А если забыл это сделать, то ты пустой. В тебе есть только социокультурная пленка. Но она легко протыкается и человек, как шар, легко сдувается.

Вышеизложенный взгляд, конечно, убедителен. Но в нем смущает преувеличенная роль принципа и непонятный статус сознания, бог весть знает откуда взявшегося. Вообще-то принципиальные люди ужасны, как киборги. В них много механического и холодного. А за осознанием принципа всегда стоит *Другой*, что не очень приятно.

Другой взгляд на человека ищет в нем позитивность, полезность. Внутри этого взгляда человек понимается как мешок с овсом, то есть с заранее данными свойствами. Эти свойства проявляются. Их, как способности,





нужно умело выявлять и использовать по назначению. И тогда полными могут считаться люди со свойствами и неполными — люди без свойств, то есть больные. В рамках этого взгляда на человека можно воздействовать как на организм, с заменой частей новыми элементами.

2. Еще один взгляд на человека полагает в нем что-то изначально незавершенное, недоделанное. Человек интерпретируется здесь как существо с ускользающей сущностью. Человек, от которого сбежала сущность, может быть назван пустым, а вот человек, которого завершил, доделал другой, может быть назван полным. Этот взгляд чрезвычайно популярен у философов. Но смущает его чрезмерная привязанность к фигуре *Другого*, к внешнему причинению, что делает проблематичным существование самости.

3. Есть какая-то прелесть в ином видении человека, которым вообще не принимается во внимание существование свойств человека, равно как и его убегающая сущность. Здесь человек понимается как сплетение символов, следов, рубцов и шрамов. Если ты выжил в мире, если ты принял его, а он принял тебя, то ты полный человек. Правда ты будешь весь, как римский легионер, в рубцах и шрамах. Но это не страшно, это не свойство твоей природы, а следы, оставленные на тебе сцеплением социальных сил. И ты не виноват, если ты жесток. Нет твоей вины в том, что ты подл и любишь брать взятки, потому что эта твоя подлость становится условием твоего существования в мире. Если же ты отказываешься принять мир, то ты пустой человек, ты не от мира сего.

4. Вот эти-то пустые люди и являются, на мой взгляд, полными, ибо они освобождают свое существование от необходимости отсылать к другому существованию. Они аутисты. Долгое время считалось, что произвольное действие себя на самого себя не очень важно, что без него можно прожить. Достаточно быть реалистом, а также совпадать с самим собой. Но оказалось, что пустой человек — это и есть реалист, человек с идентификацией. Вот он-то и может воздействовать только на *Другого* и не может воздействовать на себя. Вернее, он может воздействовать на себя как на то, что поименовано *Другим*. А значит, не может отличить себя от той роли, которую он выполняет в социуме. Хотя человек — аутист, но социуму нужны реалисты, люди без сознания, но с рефлексом.

Чтобы воздействовать на себя, с собой нужно не совпадать. Несовпадение с собой разъедает, как кислота, всякую определенность и устойчивость. Оно расплавляет вещественное, оформленное, превращая Я в симулякр одиночества, язык — в антиязык, слово — в антислово. Немая речь аутиста говорит в каждом человеке, извергая, как вулкан, на поверхность непредсказуемые поступки, немотивированные действия.

Если человека посадить на цепь логики и социальных норм, то у него пропадет подземный исток его творчества. Если же этого не делать, то нарушится социальная коммуникация. Вот в этой раздвоенности и пребывает самость человека.

Итак, человек не имеет иной причины своего происхождения, иного начала, кроме самого себя.

Глава I

Кризис реальности. Нервный срыв неандертальца

Краткое содержание главы

Реальность — это нечто объективное, упрямое, как вещи. То, с чем считаются, к чему приспосабливаются. Реальность мешает, сопротивляется. Она противостоит влечениям и желаниям. Животные — реалисты. Человек — аутист. Реальность для человека не данность, а задание. Хорошо устроиться в складках реальности — значит избежать встречи с абсурдом. Система защиты от встречи с абсурдом встроена в инстинкт, который запрещает тому, чего нет, воздействовать на то, что есть. Несуществующее может воздействовать на существующее обаянием абсурда, то есть столкновением в один и тот же момент в одном и том же месте взаимоисключающих друг друга сигналов. Силами реального инстинкта приводится к абсурду, к той редкой ситуации, в которой реальности не удастся уклониться от встречи с абсурдом. Существование человека есть плата за эту встречу, живое свидетельство разрушения реальности инстинкта.

Нервный срыв, ультрапарадоксальная ситуация, имитация и самонаушение — это следы движения реальности к абсурду, к тому месту, где вещи перестают существовать и начинают значить.

§ 1. «Жили-были»

Давным-давно жили-были обезьяны. Были они как люди. Звали их палеоантропами. Они имели две руки, две ноги и голову. Были они беззлобными и уживались со всеми животными. Их никто не боялся. Да и кому их было бояться, если они были тише воды, ниже травы. Питались они падалью и растениями. У них не было ни клыков, ни когтей. И было им тяжело. И тогда сжалилась над ними природа, научила их вместо зубов использовать камни. Обрадовались обезьяны. Найдут они, бывало, где-нибудь у реки останки погибших животных, стащат в одно место и долбят камнями кости, добывая себе любимый ими мозг. Время от времени им улыбалось счастье, и они находили трупы мамонтов. Тогда палеоантропы устраивали настоящее пиршество, наслаждаясь обилием пищи. И много ими было съедено костного мозга. То ли поэтому, то ли по каким-то другим причинам, развилась у обезьян способность к подражанию. Стали они обезьянничать, подражать голосам других животных. Так бы они и жили по сей день, и никто бы их не заметил. Не обратил бы на них внимания. Но вот однажды случилось страшное. Пришла беда. Реки обмелели. Крупные животные вымерли, и падали стало меньше. В это время всем было плохо. Даже



саблезубым тиграм, махайродам. Не выдержали они. Погибли. И обезьяны бы погибли. Так как начался среди них страшный голод, как в России после гражданской войны. Если бы не одна старая обезьяна, которая смотрела-смотрела на своего близкого родственника, на его муки, а затем не выдержала, взяла его и съела. И стали обезьяны есть друг друга. А нервная система у них была еще слабая, незакаленная. И у многих психика не выдержала. Начался у них нервный срыв. И все, что для остальных обезьян было нормальным, для них стало ненормальным. И наоборот. То, что для обычных палеоантропов было патологией, для необычных стало нормой. Все смешалось в жизни обезьян. Они разделились на тех кто ест, и на тех, кого едят. Ели в основном ненормальных, умников, тех, кто, как экстрасенс, научился гипнозу, т. е. стал странные звуки издавать. И эти звуки обладали какой-то магической силой. Тот, кто их слышал, — цепенел. Или повторял сигналы. Но враги умников не дремали. Они научились обходить эти сигналы и при каждом удобном случае продолжали ловить умников и есть. И приобрели низколобые над умниками большую власть. Нарожают умные палеоантропы обезьян, а низколобые выждут момент, когда они повзрослеют, вес нагуляют, налетят на них и заберут себе на прокорм. Думали-думали умники с расшатанной нервной системой и придумали. Сами стали сдавать своих детей на прокорм злым палеоантропам. Но по норме, как подразверстку. А тем все мало. Что только не делали обезьяны-невротики, чтобы спастись от своих родственников. Некоторые из них даже переселились в Америку, а самые умные — во Францию. Но всюду за ними шли хищные палеоантропы, которые как колдуны, посылали своим собратьям неодолимые сигналы, подчиняя их себе. И тогда стали умники следы замечать, прятаться по пещерам, обмениваться сигналами, понятными только им. И долго продолжалось это истязание, пока не случилась с ними депривация. И у них не появилось первое, а затем и второе слово. Пока они не сказали «мы» и «они». Но были это уже люди, хотя похожие на обезьяну. Низколобых палеоантропов они потом, конечно, отлавливали, как животных. И убивали их. И всех убили. Так, что никто не может найти предка человека¹.

В «Политике» Платон рассказывает о двух братьях — Атрее и Фиесте². Атрей был женат на Аэропе. Аэропа понравилась Фиесту, и Фиест соблазнил ее. Атрей бросил свою жену в море, убил детей Фиеста, изжарил их и накормил ими своего брата.

Факт людоедства перевернул мир. Из-за него, говорит Платон, солнце изменило свой путь, закат стал восходом, а восход — закатом. То есть в отношениях между людьми есть вещи, на которые наложен абсолютный запрет. Нарушение табу имеет космические последствия. Оно время заставляет течь в другом направлении. Боги спасли людей от взаимного пожирания, поместив их в пещеру. «Когда прекратилась... забота богов о людях, им пришлось самим думать о своем образе жизни и заботиться о себе»³.

¹ Поршнева Б.Ф. О начале человеческой истории. М., 1974.

² Платон. Соч.: В 3 т. М., 1972. Т. 3. С. 27–28.

³ Там же. С. 33.



§ 2. Дарвин

В 1859 году Ч. Дарвин опубликовал книгу «Происхождение видов путем естественного отбора». В это время Фохт, атеист и друг Герцена, еще не пробудился от научного сна. Вместе с ним мирно спали друзья Дарвина: Гексли и Геккель, хотя Бог строго-настрого наказал ученым не спать, а бодрствовать, ибо истина может прийти во всякое время. Всех их разбудила теория эволюции Дарвина. И они спросонок объявили, что человек произошел от обезьяны. Строго говоря, человек перестал быть падшим ангелом совсем недавно: в 1863 году. В этом году Европа поняла, что человек произошел от обезьяны. Дарвин не хотел происходить от обезьяны. Он долго молчал, а потом (через 12 лет), издал две книги: «Происхождение человека и половой отбор» и «О выражении эмоций у человека и животных». И в общем, согласился с тем, что все мы — орангутанги. Этот вывод он сделал на том основании, что обезьяна курит, пьет чай и кофе с таким же удовольствием, что и человек. Что наши эмоции восходят к простым биологическим актам. Например, улыбка человека — это проэволюционировавшее гримасоподобное выражение спокойствия и примирения у животного. Все человеческие качества вредны для биологического организма. И самое вредное качество — это, конечно, ум, ибо он разрушает биологическую систему приспособления к среде. Значит, эти качества появились вне связи с естественным отбором. Дарвину казалось убедительным последнее утверждение. Поэтому наряду с естественным отбором Дарвин ввел еще и биоэстетический фактор эволюции. Например, у петуха нет ума, но у него есть красивое оперение. Само по себе, это оперение бесполезно. Но его можно использовать как приманку для привлечения особей противоположного пола. То есть, умен не петух, умна природа.

Человек, как ангел, падал-падал и упал. Обезьяна поднялась и стала человеком. Поскольку делать ей было нечего, она стала делать орудия. «Это уже дело серьезное, потому что изготовление орудий есть первый шаг, принципиальный шаг на пути к очеловечиванию»⁴.

И делала она их довольно долго, оставаясь по уму обезьяной, а по виду — человеком. Ведь для того чтобы делать орудия, — ума не надо. Для этого достаточно рефлексов. Что такое рефлекс? Теорию рефлексов придумал И. Павлов. Например, собаке в эксперименте дают мясо. В ответ на это раздражение собака выделяет слюну. Это — безусловный пищевой рефлекс. Если перед тем, как давать собаке мясо, включать звонок, то через некоторое время у нее будет выделяться слюна в ответ на звонок. Это условный рефлекс. Если перед звонком включить свет, то она будет реагировать слюной на свет. И это будет уже условный рефлекс второго порядка. Над условными рефлексами надстраивается ступень интеллектуального поведения животных.

§ 3. Сигнал

Павловский звонок для животного — это сигнал, при котором Жучка выделяет слюну, Полкан скалит зубы, а Шарик вообще не обращает на

⁴ Гальперин П.Я. Лекции по психологии. М., 2002. С. 102.



него никакого внимания, подтверждая тем самым вывод Мерло-Понти, что у сигнала самого по себе нет никакого значения. Нет никакого значения и у знака. Хотя последний тезис безуспешно оспаривают логики вместе с лингвистами. Сигнал — это не слово, не знак. Он относится к вещам, заменяя одну реальную вещь другой.

§ 4. Игра в войну между обезьянами

Согласно зоопсихологии, обезьяны любят играть в войну. Возьмут обезьяны палки и наступают друг на друга, рычат, скалят зубы, размахивают палками. Сблизившись, они затем удирают друг от друга. И очень довольны. Но если одна обезьяна стукнет другую обезьяну сильнее, чем это у них принято, то тогда начинается настоящая драка. Обезьяны бросают палки и действуют своими конечностями. То есть палка — для игры. Зубы и прочее — для жизни. Хотя палка может быть эффективнее конечностей обезьяны, она в порядок инстинкта не вписана⁵.

§ 5. Проблемные клетки

Э. Торндайк в книге «Ум животных» показал, что никакого ума у них нет. У них есть навыки. Или то, что Павлов называл условными рефлексами.

Вот пример. Животных помещают в клетки так, что они всегда могут выйти из нее. Но для этого надо открыть дверь, а дверь всегда на запоре. Значит нужно открыть запор. Чтобы его открыть, нужно запрыгнуть на дощечку. Но животные этого не знают. Их помещают в проблемную клетку, а они отвечают на это хаосом движений. В хаосе есть и то движение, которое им нужно. Методом проб и ошибок они его находят. И когда нашли, то уже без суеты и с чувством собственного достоинства выполняют найденное движение. К примеру, прыгают на дощечку и тем самым открывают дверь.

И все было бы хорошо, да теоретик стал менять условия освобождения животных. То есть все было как прежде, только запор помещался в другом месте клетки. А животные этого не знали и подходили к месту, где ранее был запор, и прыгали на дощечку или ударяли по пустому месту. И ничего. Дверь не открывалась. И снова они начинали беспорядочные движения.

Животное учится в режиме абсолютно определенной среды. Оно научается выходить из этой клетки, а не из клетки вообще. Оно изучает выход из данной ситуации, а не из возможных ситуаций подобного рода.

Разумность поведения животных попытался доказать в своих опытах Келер. Для этого он помещал обезьяну в клетку. Перед клеткой висел банан. Достать его руками было невозможно. В клетке лежала палка. Обезьяна брала палку и притягивала к себе банан. Если палка была короткой, то она соединяла ее с другой палкой. Удлиняла. Обезьяна могла нагромождать ящики друг на друга, чтобы достать фрукты, подвешенные

⁵ Гальперин П.Я. Лекции по психологии. С. 106.



к потолку. Все это позволяло говорить об интеллекте обезьян, «о зародыше чисто человеческих форм разумного поведения»⁶, о действии, которое нельзя не назвать разумным⁷.

Но если это разумные действия, то и действия бобра, построившего плотину, должны быть разумны. И действия дятла тоже разумны. Ведь для того, чтобы раздолбить еловую шишку, он выдалбливает углубление, в которое вставляет эту шишку. А за ней и многие другие.

Но вся эта работа относится к инстинкту данного вида. Как, впрочем, относится к инстинкту и вся интеллектуальная деятельность обезьяны в опытах Келера. У животного нет никакой модели потребного будущего, нет никаких целей. У него есть модели потребного прошлого, т. е. оно воспроизводит прошлую реакцию в изменившихся обстоятельствах.

Келер в своих опытах моделировал прошлое обезьяны, а она узнавала это прошлое в наличных обстоятельствах. И то, что при этом открывались двери клетки — это не заслуга обезьяны, а заслуга экспериментатора. Весь интеллект обезьяны состоял в том, что она узнавала свое прошлое. Об этом прямо говорит А. Выготский. «Обезьяна только потому могла догадаться прибегнуть к палке, чтобы завладеть плодом, что еще в прошлой жизни, в лесу, ей очень часто приходилось, видя плод, висящий на конце ветки, приближать за другой конец ветку, чтобы захватить плод. Таким образом, в опыте обезьяны очень часто встречается ветка вместе с плодом. В эксперименте Келера плод без ветки лежал по одну сторону решетки, а по другую лежала ветка без плода, и все изобретения обезьяны сводились только к тому, что она восстанавливала в новых условиях ситуацию, встречающуюся в ее прежнем опыте неоднократно, т. е. в том, что она соединяла ветку и плод»⁸. Но если это так, то ступень интеллектуального поведения животного не выходит за пределы инстинкта, держится на нем и возможна благодаря ему. Обезьяна не изобретает новых форм поведения, а продлевает старое поведение в новых условиях. Интеллектуальное поведение обезьяны ограничено зрительным полем. Все, что выходит за пределы зрительного поля, обезьяна не может включить в план своего действия.

§ 6. Гуси и сокол

То, что сигнал — это не знак, а пусковая причина рефлекса, подтверждают и гуси. Каждый зоолог знает, что гуси боятся сокола. Причем боятся они его не так, как боятся орла. Орел и сокол — это для них два разных сигнала. Чтобы подтвердить эту идею, один биолог стал залезать на дерево, запуская с него поддельного сокола. Его муляж. А поскольку гуси еще ничего не знали о симулякре, постольку они на муляж реагировали, как на сокола. Но недолго. Вскоре они стали реагировать не на симулякр, а на биолога. Как только он полезет на дерево — они разбегаются, то есть реагируют на экспериментатора как на сигнал боевой

⁶ Выготский А. С. Мышление и речь. М., 1996. С. 29.

⁷ Гальперин П. А. Лекции по психологии. С. 101.

⁸ Выготский А. С. Мышление и речь. С. 30.



тревоги, подтверждая тем самым вывод о том, что сигнал — это не знак. Что у сигнала нет никакого значения. И что все дело в рефлексе, а не в понимании. Ибо понимают тогда, когда нет рефлексов. А чтобы не было рефлекса, надо убрать его внешнюю пусковую причину. В свою очередь,⁵ чтобы избавиться от пускового сигнала требуется абсурд⁹.

§ 7. Неадекватный рефлекс

Как заставить животное, у которого, естественно, много рефлексов, сойти с ума? Для этого важно понять, почему рефлексы не взрывают организм животного. Рефлексы — не спички, а животное не коробок. Рефлексы зависят друг от друга и действуют по принципу: все за одного, один за всех. В организме животного много степеней свободы. У механизма — всегда одна. Значит и у человека много механизмов реализации свободы. Но в каждый момент действует только одна машина. Все остальные заторможены. Например, животное ест. Еда сковывает животное, которое в момент работы этой машины тела слабо реагирует на изменение среды. Если что-то возбуждено, то что-то обязательно заторможено.

Пища возбуждает два реципрокных (связанных) центра: пищевой и чесательный. Один адекватный. Другой — неадекватный. На адекватный поступает меньшая часть возбуждений. На неадекватный — большая. Все, что относится к еде — в одну сторону. Все, что не относится — в другую. К чесанию. Чтобы осуществить одно действие, нужно чтобы все остальные действия были заморожены. Значит надо возбудить второй центр. И он будет доминантен по отношению ко всем другим раздражителям. Кроме одного. В момент столкновения двух противоположных импульсов, в поведении животного возникают неадекватные рефлексы. Они как бы из него выскакивают. И вместо нормальной реакции появляется какая-нибудь несуразная.

Неадекватный рефлекс можно вызвать у собаки, если приучить ее к туалетной прогулке. А затем, когда она подаст сигнал к туалетной прогулке, на него не надо обращать внимания. И собака сойдет с ума.

Неадекватный рефлекс одного животного может вызвать имитативный рефлекс у другого. И тогда у этого другого животного затормозятся все иные реакции. То есть неадекватный рефлекс может получить значение интердикции, запрета на действие. Вызывая дистантными звуковыми сигналами имитацию, можно было корректировать поведение другого животного.

§ 8. Ультрапарадоксальная ситуация

Ультрапарадоксальная ситуация все переворачивает с ног на голову: возбуждение — тормозится, торможение — возбуждается. Например, ты хотел есть, а не чесаться. Но ты перенервничал. И потому тебе уже хочется не есть, а чесаться. То есть ты попал в ультрапарадоксальную ситуацию. Каждый человек всякий раз заново осуществляет переход от бодрствования ко сну и обратно через ультрапарадоксальную ситуацию.

⁹ Бородай Ю.М. Эротика, смерть и табу. М., 1996.

§ 9. Нервный срыв

Пример. Обезьяна в камере. В ней две кормушки. Одна напротив другой. Раздается сигнал: поступила пища. А куда? Если обезьяна идет к одной кормушке, то она уходит от другой. Наступает нервный срыв. Обезьяна зевает или чешется, но не ест. Зевание близко к засыпанию. Хотя биологически оно бесполезно. Можно животное заставить поднять лапу, но нельзя его научить зевать. Виляние хвостом тоже нельзя превратить в условный рефлекс. Зевание, виляние хвостом — это как крик новорожденного ребенка, т. е. тормозная доминанта, характеризующаяся возбуждением.

Человек также в момент нерешительности, неуверенности или ест, или пьет, или чешет затылок. В ситуации нервного срыва люди кричат, швыряют предметы, хлопают дверью, чтобы ослабить напряжение.

§ 10. Оправдание Декарта

Любое животное — это автомат. То есть у каждого животного есть внешний сигнал, запускающий рефлекторную цепочку. И нельзя сделать так, чтобы она не запускалась. Поэтому животное является материалистом. Оно не грезит, не мечтает само по своему почину. Ведь если бы оно грезило, то оно было бы идеалистом. То есть существом политкорректным. Что биологически неприемлемо. Конечно, и у животного могут быть галлюцинации, то есть неадекватные действия. И кот может быть идеалистом, то есть вступать в схватку с несуществующей мышью. Если ему в мозг ввести электрод. Или накормить его наркотиками. Но никакого идеального у кота не будет. Как не будет его и у голодного скворца, выбрасывающего в эксперименте определенные рефлекторные движения по ловле мух.

Животные не могут грезить сами, по своему почину, самопроизвольно. Для самопроизвольности им нужны будут образы, идеальное, которое запустит рефлекс и выбросит действие во внешний мир. Но откуда у бедного животного образы? У него одна лишь психика и нервы. И ничего сверхчувственного. А это значит, что для животного слово ничем не отличается от сигнала. Если бы обезьяна поняла смысл слова «пожар», то она, как заметил Бородай, при слове «пожар» стала бы спасаться бегством. Потому что у нее нет зазора между идеальным и реальным. А ведь речь могла идти о пожаре в душе поэта. Для нее «пожар» — это не слово, а всегда реальность. Для человека — это слово, которое иногда сбывается в реальности. Поэтому животное — автомат, а человек — монада.

§ 11. Имитация

В непоименованном существовании реального происходит полное взаимодействие субстанций и поэтому в нем нет места для симуляции. Реальное не симулирует, а имитирует, ибо симуляция выходит за пределы реальности, а имитация остается ее частью.

Имитация обычно понимается как зрительное или слуховое подражание, повторение звуков или движений другого. Так например, младшие, не будучи взрослыми, подражают взрослым, потому что они хотят быть





взрослыми. А пожилые, не будучи молодыми, подражают молодым, потому что хотят быть молодыми. Здесь мы имеем дело с подражанием-уподоблением.

Но из двух камней, брошенных в воду, не один из них не повторяет другого. А вот обезьяна, которая обезьянничает, повторяет действие другой обезьяны без уподобления. Без игры. Животное может подражать только тому, на что оно уже способно, что у него уже есть. Если подражают движениям, то это называют эхокинезией. Если подражают звукам, то эхолалией. Повторение слов, речевокативная эхолалия проявляется во время истерии или патологии у олигофренов. Имитатогенным свойством обладает зевание и улыбка. Да и ребенок усваивает речь бессмысленно, как идиот, механически подражая взрослым. Персеверация — это подражание себе. Многократное повторение одного и того же, настаивание на чем-то. Например, в фильме «Человек дождя» Дастин Хоффман играет роль человека, страдающего персеверацией.

Рецепция звукового сигнала занимает у человека 100 миллисекунд. У животного на рецепцию уходит примерно то же время. 150 миллисекунд уходит на беззвучную имитацию звуков. Эта имитация уже предваряет появление человека. 400 миллисекунд — звуки распознаются по фонемам. Что характеризует понимание речи современным человеком. Согласно Жинкину, усвоение языка — это результат не подражания, а самонаучения. Аргументы Жинкина таковы. Подражать — слишком сложно. Для подражания у ребенка нет мотивов. Ребенок пользуется речью до речи. Что и является самонаучением. Если исключить самонаучение, то мы уберем пространство самоопределения человека в мысли. То есть язык будет, и высказывания будут, а смысла не будет. Самонаучением птицы летают, звери бегают, а человек говорит. Но человека выделяют из животного мира две вещи — эмоция и знак. Эмоция — это то, чем человек действует на себя по своему произволу, а знак — это речевой знак, повелительно обращенный к Другому. Поэтому, если не будет речи, то не будет и самонаучения речи у детей. Огромные серии палеолитических изделий свидетельствуют не об уме их создателей, а о механизме имитации, автоматическом характере их действия. Если от рождения Христа сменилось 70 поколений, то на нижний палеолит приходится 50 тысяч поколений. Это значит, что на долю каждого поколения приходится нулевой сдвиг в обработке камней. А значит и нулевое существование сознания. Возможно, обработка камней придумана одним поколением, а остальные 50 тысяч поколений воспроизводили изобретение. В среднем палеолите на малейший сдвиг в технике обработки камней уходит 300 поколений. Что несоизмеримо с речевой коммуникацией. То есть ты сказал, а ответ тебе будет идти 1000 лет. Это время рассеивает возможность речи и сознания. Поскольку в палеолите много недоделанных камней, постольку можно полагать, что палеолиту еще не хватало ума их доделать, что новые поколения начинали действия с самого начала. Что относится не к уму, а к этологии.

Имитативные способности обезьяны позволяют ей по образцу, предлагаемому экспериментатором, выбрать нужную фигурку, собрать пирамидку, аналогичную образцу. Ребенок, согласно наблюдениям Пиаже, хочет

открыть коробку, но открывает и закрывает рот. Ребенок уподобляет себя коробке, обезьяна копирует образец. Действие ребенка является символическим, действие обезьяны механическим. Имитация может быть скрытая. Тогда она носит ментальный характер. Отсроченная ментальная имитация, т. е. имитация в отсутствие модели, есть не что иное, как язык.

Чтобы подражать, нужно удваивать, повторять. Например, отражение в зеркале удваивает отражаемое. Карта представляет остров. А вот содержание картины оказывается представленным благодаря представлению. И театр представляет благодаря представлению. Подобие не есть подражание. Чтобы уподобиться, нужно отождествить себя с тем, что к тебе обращено, стать с ним одним целым.

Цыпленок клюет зерно в инкубаторе, не подражая при этом курице. Обезьяна роется в дыре, в которой рылась другая обезьяна, в силу непреднамеренной координации. Валлон приводит пример с собакой, которая смотрит туда, куда смотрит ее хозяин. Но она будет прыгать около пальца хозяина, указывающего ей цель. В реальности возможно также псевдудвоение, такое как эхо: эхокинезия у обезьян и эхολалия у попугаев. Но эхо это — это эхо, а не подражание.

§ 12. Человек как обезьяна

Человек начинал не как охотник, а как гиена, как пожиратель трупов. С некрофагии. Так думал Б. Поршневу. И у него для этого были основания. Силами реального неандерталец был приведен к абсурду. Поршневу назвал этот абсурд адельфофагией. В этом именовании абсурда есть плюсы и минусы. Плюс — это его содержательность. Минус — это его случайность. У Ю. Бородаю человек начинал как онанирующая обезьяна. Достоверно одно: ничто кроме абсурда не могло привести к возникновению человеческого рода.

Палеолитические камни, галлюцинации, огонь, речь, мозг — все это следы абсурда, пронесшегося по земле, как вихрь, и растворившегося в культуре. И теперь, после него мы видим много вещей, которые существуют не на своем месте, которые вообще непонятно почему существуют. И никто не знает, как искать и где найти для них место. Вот Поршневу и Бородаю и искали хоть какие-то внятные объяснения. Они полагают, что, к примеру, камни палеолита оббивала обезьяна, она же получила огонь, а вместе с огнем она приобрела *диэструс*, постоянную сексуальную готовность. Хотя человек мыслит, у его мозга нет центра мысли. У него есть центры речи: зоны Брока и Вернике. Но мыслить — это не значит говорить. Мыслить — значит воображать, а воображать люди стали до того, как они научились говорить. Способность мыслить возникает не в точке связи человека и вещи. Эта связь регулируется рефлексамии. Она возникает в интеракции абсурда между обезьянами. Абсурд ломает инстинкт обезьяны, разрушает ее рефлексии. Освободившееся пространство уже готово для новых форм коммуникации. Вернее, любая интеракция обезьяны со сломанным инстинктом реагирует на галлюцинацию, на то, что реальностью не является. Коммуникативная функция обезьян реа-





лизуется на материале, малопригодном для этой реализации. Изменение морфологии материала, на котором реализуется интерактивная функция обезьян со сломанным инстинктом, и приводит к слову, к речи, к столкновению слов.

5 Человек — это обезьяна, которая подчинила себя идеальному. В речи человека важна была не истина, не соотносительность с предметом, а возможность воздействия на *Другого*, минуя реальность. Поэтому центр речи не внутри человека, а между людьми, в сфере их взаимных действий. Внутри человека — аппарат, принимающий эти воздействия.

10 Речь, сознание и эмоция нужны были человеку, живущему в неестественной среде, при малых скоростях событийной жизни, чтобы воздействовать на самого себя. При больших скоростях виртуальной жизни психика отказывается работать, речь сбивается, язык дезориентирует, а сознание становится клиповым. Растет число немотивированных действий людей. Речь остается
15 только внешней. Возможности появления мысли становятся ничтожными, ибо мысль приводила в действие образы, чтобы ими человек воздействовал на себя и на *Другого*. И эти образы не были связаны с перцепциями наличного, то есть были свободны от привязанности к тому, что наблюдаемо. Сужение поля мысли оставляет пустоты, заполняемые визуальными образами, которые не
20 вовлечены в процесс воздействия на самого себя в силу их связности с перцепциями наличного.

А поскольку восприятия непригодны при чрезвычайно большой скорости смены одного события другим, постольку мысль заменяется клипами, хаотически тасующимися фрагментами зрительных и звуковых образов.

Глава II

Функции воображаемого. Пещера депривации

Краткое содержание главы

Силы реального, очертив круг присутствия, загнали в этот круг жизнь и, доведя ее до абсурда, сломали защитный механизм жизни. Эти силы разрушили инстинкт как тип жизни, освободив место силам воображаемого, возможности самому воздействовать на себя по своему произволу. Зрительный образ потерял связь с референтом. Возникла ситуация пещеры. Реальность удвоилась, создавая ситуацию возможного зеркала. Воображаемое заменило инстинкт и стало новым фильтром для желаний, импульсов и влечений. Абсурд, удвоив реальность, создал поле конфликта между воображаемым и реальным. Реальное проникает внутрь воображаемого, создавая для него угрозу. Воображаемое просачивается в область реального, предпуская любой возможной последовательности, актуализацию виртуального целого. Образ видят, на него смотрят, хотя его и не всегда называют.

Депривация для человека — это то же самое, что и отнятие младенца от груди матери. Это травма, шок. Разрыв с вещами. Депривация отнимает человека от природы и передает его воображаемому, символическими средствами которого преодолевается биологическая беспомощность человека. Воображаемое помогает достроить тело до целого, собрать его из рассеяния. Оно привязывает человека к тотему, к образу *Мы*, к *Я*. Абсурд заставляет человека идентифицировать себя с образом того, чего нет в составе наличного.

Воображаемое научает человека играть в прятки с реальностью, затрудняя различие сна и яви. Человек воображения перестает хорошо видеть не только ночью, но и днем. У него появляется боязнь темноты. Он становится невротиком, подчиненным порядку символизации сил воображаемого. В горизонте воображаемого начинают эмоционально понимать до того, как станут говорить. А говорить начинают вне связи с пониманием. *Уже-понимание*, немая речь, дословное письмо, депривация, дипластия — все это следы работы воображаемого и его символа: пещеры.

Воображаемое одной своей частью противостоит реальному, а другой — символическому. В пространстве воображаемого вещи не существуют, а значат вне связи со знаками¹⁰.

¹⁰ Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда. М.: Логос, 1997. С. 54–87; Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию Я, какой она нам открылась в психоаналитическом опыте // Мазин В. Стадия зеркала Лакана. М., 2005. С. 54–74.



§ 1. Прологомены, или Карты на стол

Все по себе знают, что есть некая Самость и еще есть *Другой*. И нужно решить, как все это соотносится в твоей жизни. Если я решу, что Самость и *Другой* параллельно существуют, то это будет один дискурс. Мне он не нравится, ибо он предлагает тебе сидеть на двух стульях. А это неудобно.

5 Если я решу, что Самость — это никакая не самость, а нечто производное от *Другого*, то это будет еще один дискурс со всеми его посылками и следствиями. Этот дискурс выбрали Выготский и Ильенков. Но мне он тоже не нравится. Потому, что в нем за тобой все время кто-то наблюдает и тебя опекает. Остается предположить, что *Другой* — это производная Самости.

10 Этот дискурс выбрали Пиаже и Бородай. Мне он нравится. Ибо в нем ты делаешь себя сам, а не *Другой*. А это, помимо прочего, значит, что воспитание ребенка не может быть моделью понимания того, как в мире образуется горизонт понимания человеческого.

15 Для того чтобы нащупать поле смыслов этого горизонта, надо отказаться от опекающей фигуры взрослого, от идеи *Другого*. Ведь *Другой* — это внешнее причинение, а я выбрал самопричинение. Но *Другой* — это не только другой, который тебя видит или который на тебя смотрит. *Другой* — это и язык. То есть речевые знаки. Следовательно, я должен, редуцируя *Другого*, вынести за скобки и язык со всеми его знаками, оставив

20 в стороне понятия и приблизиться к чистому, то есть архаическому полю смыслов человеческого в человеке. Но и этого мало.

Поскольку мир врос в человека и кажется, что «человек-в-мире» это неопровержимая философская очевидность, постольку надо избавиться и от этой очевидности. Человек и мир не прорастают друг в друга. Если бы

25 это было так, то были бы невозможны многие проблемы, например экологические. Человек обволакивает мир и душит его в своих искусственных объятиях. Я думаю, что формула «человек-в-мире» — забавное заблуждение европейской философии, и это заблуждение существует только потому, что его создатели обладали невероятным талантом философской суггестии, внушения. Признать, что человек немислим без мира — это то же самое, что признать связь между мыслью и волосами, которые иногда

30 растут на голове у человека вверх, а иногда внутрь черепной коробки. Поэтому в них запутывается наш мозг и наши мысли. А философы как будто бы нужны для того, чтобы их распутывать. Так вот мир не имеет к человеку никакого отношения. Человек существует вопреки реальности.

35

Приближаясь к первосмыслу человеческого нужно подвергнуть редукции реальность, расплавить предметность мира, натуральность его референтов. Что же тогда останется? Ничего и одновременно все. А именно: Самость без Я, сознание без знания, аутизм беспредметной мысли, симулякры, воображаемое, антиязык. Все это — фрагменты самоорганизующегося бульона, в котором эмоции являются аттрактором. Иными словами, за Самость архаическому человеку нужно было заплатить аутизмом. Конечно, мы можем отказаться от поисков первообраза и согласиться с внешним причинением, но за это нам нужно будет заплатить идеей приспособления

40 к реальности. И в этом смысле согласиться с тем, что человек — это одна

45

из форм биологической целесообразности. Я выбираю искушение дискурсивного отказа от дискурса, перехода от понятий к симулякрам, сохраняющим смысл и образы зыбкой Самости человека.

Классическое мышление стремилось найти противоречия и разрешить их, поддерживая устойчивость, стабильность системы, в которой изменения идут медленно. Но на границах целого, на его пределах изменения идут быстро. Во время перехода от одной устойчивости к другой нет стабильности, порядка. Здесь действуют парадоксы и противоречия. Чтобы помыслить этот переход, нужно отказаться от понятий с их референциями и репрезентациями, нужно перестать опираться на бинарные структуры и смыслы, так как эти структуры хороши при описании того, что находится вдали от границ, на которых то, что есть перестает быть тем, что оно есть и начинает быть тем, что оно не есть. В переходах, на краях нужно мыслить не линейно, а парадоксально. На краях системы нет места оппозиции истины и лжи, внешнего и внутреннего. На них есть смеси бытия и небытия, есть хаос, в котором случаются чудесные превращения. Для того чтобы мыслить, нужны понятия. А их нет. Значит, края, границы мысли являются инстанцией, заполняемой не понятиями, а чем-то другим. Делез думал, что она заполняется смыслами, тем, что не имеет референта. Возможно, это и так. Но я думаю, что лучше говорить об «уже-сознании», об актуализации произвольного действия самости и, следовательно, о симулякрах. Хотя все это и не противоречит Делезу, а указывает на то, что смыслы живут на границе, а бессмыслица живет вдали от пределов в виде чистой событийности.

Существует два типа действий. Один из них приспособливает человека к среде. Другой — конституирует в человеке человеческое. В первом случае действия носят полезный, целесообразный характер. Во втором случае действия никакой пользы не приносят, к среде не приспособливают, с целью не соотносят. Ими создается новая реальность: внутренний мир человека.

Изначальные человеческие действия связаны не с приспособлением к среде, а с выражением внутренних состояний, с вулканическим выбросом человеческой самости. Первичными являются не практические действия, а символические. В символическом действии отношение к реальности свободно от мотивов внешней полезности. Между реальным и воображаемым, внешним и внутренним складываются отношения по типу «призыв — отзыв» (А. Мейер). Реальность призывает, самость отзывается, воспроизводя в себе действие тех сигналов, которые реальность обращает к человеку. Например, когда сотрясается земля, караибы видят в этом приглашение, зов, обращенный землей к человеку, и отвечают на него телодвижениями, пляской, вводящей их в общее смысловое поле, в один с землей образ. Уподобление сотрясающейся земле позволяет проникнуть внутрь самой реальности. Через подобие в себе человеку дается знание изнутри. Это знание онтологически предшествует практическому, внешнему знанию. Внутреннее знание выразимо не в знаках, а в символах. Например, чтобы дождь оросил землю, нужно ее окропить водой, т. е. направить небу призыв, на который последует отзыв. Залогом этого является уподобление человека космосу.





Итак, бесполезность предшествует полезности, знание изнутри предваряет знанию извне, символы появляются прежде знаков, а понимание обладает большей фундаментальностью, чем знание.

⁵ § 2. Невротический бунт

После того как обезьяны освободились от палеантропов, им улыбнулось счастье аутиста. Избавились они от принудительной каузальности, от внешней причины. Стали они жить, как люди, галлюцинаторно. Ни отца у них еще не было, ни матери. Так что некоторые даже увидели свет в конце туннеля. Им бы жить да поживать, да добра наживать, да не заладилась у них жизнь новая, человеческая. Им нужно было самими собой начинать новый ряд явлений, а как его начать, если в каждом из них еще сидела обезьяна-реалистка и требовала удовлетворения своих желаний. Реалистами же манипулируют вещи, которые действуют на них, как змея на кролика. Если обезьяна увидит банан, то она не может не подойти к нему и не съесть его. Аутисты говорят «нет» этим своим побуждениям. И это было непонятно для трезвомыслящих обезьян. И начались трения между реалистами и аутистами. Реалисты полагались на инструментальный интеллект, на инстинкт. Аутисты — на воображение. Реалисты считали аутистов ленивыми, спящими на ходу, погруженными в дрему. Аутисты считали реалистов заземленными, плоскими. Обезьяны-практики всегда знали, что они искали. А аутисты изобретали. Действовали на «авось», играли. И были они, как лунатики. Биологическая беспомощность грезящих обезьян заставляла их сбиваться в коллектив, в группу. Ни один аутист не смог бы выжить сам по себе, поэтому изгнание из группы было для них подобно смерти. И первой потребностью аутиста стали не пища и не секс, как у прагматиков, а потребность в *Мы* — большой галлюцинации. Не прагматик, а грезящий аутист мог часами бессмысленно комкать, сжимать, разжимать, разрывать и соединять предметы. Из хаоса этих ни к чему не предназначенных движений рождалось новое инструментальное мышление. Обезьяны-реалисты мыслили действиями, они много делали, мало понимали. Обезьяны-аутисты мыслили образами, объединенными чувствами и обладающими аффективным значением. Они мало действовали, много понимали. Особенно они любили слушать самих себя. Подойдет к озеру дремлющая обезьяна, увидит утку и произнесет какое-нибудь «уа». И слушает себя. И это ей доставляло удовольствие. А прагматики злились. Потому что эти звуки были шумом. Они не несли никакой биологически важной информации. А аутисты стали теми же звуками называть и дождь, и лужу, и жидкость, и других птиц. Так возник у них особый автономный язык, отличающийся от языка обезьян с инструментальным мышлением. Если бы аутисты застряли на стадии автономной речи, то были бы они идиотами и афазиками. А они не застряли. Они шли дальше — к логической мысли. Не было в языке аутистов ни грамматики, ни предметных связей.

⁴⁵ У каждой вещи есть свой побудительный аффект. Тропинка требует, чтобы по ней пошли, пещера требует, чтобы в нее зашли, дерево — чтобы на него залезли. И реалисты, как дети, — шли, заходили, лезли. Аутисты —

играли. И в этой игре воображаемого они научились подчиняться правилам игры и не подчиняться побудительной силе вещей.

Желаний у аутистов было немного. Но все они были какие-то странные. Захотят они есть — а им мерещится, что они хотят есть себе подобных. И это их мучило и пугало. Но еще сложнее у них были отношения с сексом. И главная проблема — это *Другой*. Взыграло у них либидо, а порядки в удовлетворении полового голода еще не было, ибо не было у них никаких социальных структур, а были только хаос и желание. А голод — не тетка. Нет от него покоя даже аутисту ни днем, ни ночью. А тут еще вожак-реалист оказался жадным. Он как какая-нибудь обезьяна собирал вокруг себя всех приличных самок и развлекался с ними, а о народе не думал. Других нуждающихся к ним не подпускал. И это было обидно для аутистов, потому что были они как бы второго сорта. И не знал этот обезьяний практик ни покоя, ни отдыха. И никто не мог его отправить в отставку или на пенсию по старости. Многих аутистов возмущала такая несправедливость, особенно молодых. Но что они могли сделать? Ничего. Ведь был вожак самым злым, сильным и умным.

И тогда научились аутисты удовлетворять свои желания галлюцинаторным способом. Многие стали онанистами и первые однополые браки. Вот на этих галлюцинациях и симулякрах и строилась совместная жизнь первых людей. И не было у них никакого угнетенного бессознательного, а было только зыбкое беспредметное сознание.

И все бы у них устроилось, если бы не пришла к ним новая беда — стали аутисты различать ночь и день. И стали их мучить одни и те же видения. Много раз они съедали во сне своего полового тирана-угнетателя и со многими его подругами вступали в интимную связь. А за это их с позором выгоняли из коллектива. И приносили эти последние галлюцинации аутистам особенно сильные страдания. Все было бы хорошо, если бы не надо было им просыпаться — ведь ночь коротка, а день длинный. И вместе с утром возвращалось к аутистам чувство реальности. И долго аутисты жили этой двойной жизнью, а психоаналитиков у них еще не было. Так бы и мучили их днем ночные ведения, если бы однажды они не подняли бунт против реальности и не устроили ночь днем. Никому не хотелось страдать ни за что ни про что. И тогда без вины виноватые аутисты решили, что если уж страдать, то за дело. Поймали они своего реалиста-вожака и съели его. И совопились, кто с кем захотел. И не было им стыдно. И было это для аутистов началом первой мистерии. А потом было продолжение. И было раскаяние в содеянном. И после раскаяния к ним вернулся их предок — тот, кого они съели. Только был он уже не такой, как они. Он был зверем, а они — людьми. Они смотрели на этого зверя и видели в нем предка. И стал он для них тотемом. А взгляд, который они на него бросали, был уже философским, ибо в нем совместились идеальное и реальное, чувственное и сверхчувственное. И научились тогда аутисты поступать вопреки своим аффектам. Научились себя ограничивать. Зверя же они любили и ненавидели, к нему их тянуло и от него отталкивало. С тех давних пор каждый человек носит в себе свою шизофрению. А это значит, что у истоков сознания стоял реалист-отец и его убийство аутистами. А бессознательное у людей появится



позже, вместе с языком. Только будет это бессознательное, как сирота, связано с безотцовщиной.

И решили люди не убивать больше тотемических родственников и не вступать с ними в половую связь. Женский же вопрос каждый должен был решать на стороне — кто как может. Так появилось табу. А вместе с ним появились стыд и совесть. Научились люди сами себя ограничивать. Если бы они не научились этого делать, то погубили бы себя. Кто нарушал правило аутиста, тот открывал в себе баллон высокого давления, в котором хранились архаические галлюцинации и начинали эти галлюцинации душить человека, доводить его до исступления. Людям становилось жарко, у них затруднялось дыхание и они сгорали от стыда от сознания своей неминуемой смерти. Никого не щадило это удушие. У многих разорвались сердца, прежде чем воображаемое пересеклось с языком и возникло суггестивное действие звуковой речи. Наконец, и мужчины сообразили, что политкорректно похищать женщин из другого тотема. И обрели мужчины над этими женщинами полную власть. Потому, что если поделиться с ними этой властью, то они гендерную революцию устроят, новый невротический бунт против реальности совершат. А людям захотелось жить мирно, тихо, так, что сознание архаическим людям нужно было не для познания, а для самоудушения нарушителей воображаемых запретов. Для произвольного проведения в действие механизмов смерти. Что и стало основным правилом жизни человека-аутиста, о котором рассказал Платон в мифе о пещере.

§ 3. Нонсенс

Нонсенс — это бессмыслица. Но это не антоним смысла. Если бы это был антоним смысла, тогда бы в нем отсутствовал всякий смысл. А в нем смысл есть. В нонсенсе нет главного смысла, определяющего. Поэтому нонсенс — это бессмыслица с точки зрения определенного смысла. На самом деле он состоит из множества доопределяющихся смыслов того, что не может быть определено. То есть нонсенс — это ризома смыслов, движение которых задается семантической пустотой на месте главного смысла. Бессмыслица всякого абсурда противостоит не смыслу, а отсутствию смысла, которое не может подарить себе присутствие. Абсурд в силу своей абсурдности может подарить себе и смысл. И проблема абсурда состоит не в том, чтобы себе что-то подарить, а в том — чтобы удержать подаренное.

Бессмыслица означала бы отсутствие смысла, если бы мир был один и линейно упорядочен. Тогда в одном мире и смысл был бы один. И этот смысл не имел бы никакого отношения к разговорам о мире, ибо он конституировался бы иным образом. Вне связи с языком. А поскольку миров много и они нелинейно детерминированы, постольку смыслы одного мира могут выглядеть бессмысленными с точки зрения другого мира. И, следовательно, нужно различать две бессмыслицы — одну речевую, другую онтологическую. Одни миры рождаются в речи о мире, другие — вне речевой бессмыслицы. Хаосом. Например, слово «преданный» означает верность и одновременно измену. А между этими значениями полнота смысла, ко-



торая завершается бессмыслицей. Одно дело — существование и другое дело — речение о существовании. Бессмыслица относится к речи. К невозможности дальнейшего рассуждения. Существование как бы вылезает из-под навалившегося на него рассуждения. И вот появляется существующее само в его подлинности и очевидности.

Человек существует в невозможности существования. Как кентавр или химера, как бесконечный тупик.

Антропологический смысл существования нонсенса в том, чтобы сделать возможным рождение невозможного. До парадокса жизнь течет одним образом. В точке парадокса поток жизни поворачивается. И обращается к самому себе с вопросом о своей сути. В этой точке язык становится объектом для самого себя.

§ 4. Платон

Вот пещера. Но пещера — это не кинотеатр. В ней тьма и мрак. Сырость, холод и крысы. Непонятно, как люди попали в пещеру, что их туда привело, отчего они в ней укрылись. Сами они об этом ничего не говорят. То ли потому, что не помнят, то ли потому, что хотят забыть. Какая-то неведомая сила связала им руки и ноги и теперь они, даже если и захотят, не могут выйти из пещеры. Но они и не хотят. Они привыкли. Им и в пещере хорошо. Во всяком случае лучше, чем было раньше. Быть в пещере — значит быть за пределами наличного.

Одна стена у входа в пещеру, как экран в зрительном зале, освещена солнцем. По этой стене двигаются какие-то тени. На них приятно смотреть. В пещере слышится эхо каких-то голосов. Но жителей пещеры мало волнует свет. Они почти не смотрят на вход. Их взоры обращены вглубь пещеры, в мрак забвения. Один житель пещеры, прочитав Сартра, решил освободить себя. Он не выдержал и покинул пещеру. И канул в лету. Стал животным.

Смысл мифа о пещере прост. Либо пещера — и в ней наша жизнь, определяемая невозможным. Либо мы вне пещеры и тогда смерть от яда возможного. Пещера — это первая остановка на пути убегания от абсурда, вызванного силами реального. И, следовательно, убегание от реальности.

Пещера полна антонимов. Но здесь они уже разведены и опосредованы. И между ними, как между молотом и наковальней, можно жить. Пещера — это мир теней. Но в этом мире не надо сходить с ума и ничто не ломает твою психику. Пещера переводит абсурд в речь, в слово. И спасает тело.

В мифе о пещере Платона описана депривация.

§ 5. Пещера

Пещера может быть понята как пространство, в котором нет ничего ни естественного, ни искусственного. Это пространство сверхъестественного, место развертывания культа, пребывания в образе, созданного аутистическим воздействием человека на самого себя в танце, в пении. Это гиперреальное подвергает человека различным формам депривации и, следовательно, требует групповой аскезы. В нем формируется иконический, незнакомый характер человека, его повседневной жизни.





Пещера — это не только пещера в физическом смысле этого слова. Первый человек сам по себе является ходячей пещерой, некоторой емкостью, сосудом, в котором накапливаются реакции на то, что отсутствует, на авось, на удачу. Человек — это пространство, в котором рождаются галлюцинации как причина действий во внешнем мире. И прежде всего как причина архаических отношений к себе подобным. У первобытного человека сломалась пусковая причина для рефлекса в отношении к таким же как он. Вот эта неудача и составила горизонт человеческих возможных состояний. Этот кошмар галлюцинаторных притяжений и отталкиваний, этот хаос действий, коренящийся в первобытном аутизме, благодаря которому никто заранее не мог сказать, что ему несет встреча с *Другим*: то ли его кто-то съест, то ли он кем-то пообедает. Из хаоса взаимных галлюцинаторных действий по отношению друг к другу рождался порядок, коллективная галлюцинация.

Для того чтобы жить в пещере, нужно было уже не просто видеть, а воображать. Если чувства поставляли только узнаваемое, то воображаемое разгадывало неузнанное, сообщая со сверхчувственным. Воображение ведет вообразивших, как слепой ведет слепых на картине Брейгеля. Нет никакого закона природы, который бы установил соответствие между фантазмами воображаемого и реальностью. Слепой может полагаться на слепого, то есть на произвольное соединение материала его чувственности в предмет. Слепой видит не предмет, а предметом. Этот идеальный предмет, как трость слепого, позволяет ощупывать реальные предметы. Идеальность воображаемого закрепляется средствами языка.

В пещере происходит дрессировка без дрессировщика. Здесь воображаемое одомашнивается, и у человека появляется чувство ритма. Пещера — это символический барьер для реальности, для того, что требует немедленной реализации желания. Пещера отсрочивает, откладывает реакцию на потом. Она ломает машину желаний. Конечно, не все могут ждать, не все переносят давление времени. В пещере возможны истерики несогласных ждать. Истеричных, как животных, подвергают остракизму, изгнанию. Оставшиеся могли играть в изгнание.

§ 6. Игра

«Надо, — говорил Платон, — жить играя. Что же это за игра? Жертвоприношения, песни, пляски, чтобы уметь снискать к себе милость богов, а в рагов отразить и победить в битвах»¹¹.

Человек — это игрушка богов, кукла, то что следует одному и отклоняет другое. Отклонив другое, мы можем только играть. Поэтому чтобы быть человеком каждому нужно жить играя. Таково наше назначение: «беспременно петь для самого себя очаровывающие песни»¹², т. е. быть аутистом, уподобляя себя тому, что изображают священные хороводы, песни и пляски. Разрыв между немедленно не реализуемым желанием и желанием

¹¹ Платон. Сочинения. Т. 3. С. 283.

¹² Там же.

немедленной реализации ведет, как показал Выготский, к игре. Пещера — это пространство игры. Но чтобы играть, нужны эмоции, аффект.

Игра — это поле воображаемого, на котором иллюзорно реализуются нереализуемые желания¹³. Поскольку животные не воображают, постольку они и не играют. Игра, как и эмоция, дело сугубо человеческое.

Ведь играть — это значит перевоплощаться, то есть делать то, что не умеют делать звери. Волк не может быть и волком, и зайцем, которого он хочет съесть. Для этого ему надо было бы стать аутистом, неким «волкозайцем», научившись одновременно существовать на двух прямо противоположных эмоциональных полюсах. Но волк не играет в зайца. Поэтому он вообще не играет. Постольку его ярость — не эмоция, ибо в ней мы не наблюдаем амбивалентности. Игра связана не с условностью «als ob», как если бы, а с ускользанием значений в пространство дипластии, в котором любое значение становится двусмысленным. Эмоциональная дипластия делает возможной игру, перебрасывание знаков, переодевание, карнавал, присвоение признаков другой, противоположной стороны. Поскольку человек играет, постольку он андрогин. В космохаосе андрогина уничтожается содержательная определенность, и *то*, и противостоящее ему *это*. Дипластия выделяет в них общее, отдавая ему предпочтение. Поэтому, например, близнецы в Риме были священные, а в Австралии они считались опасными и подлежали уничтожению. В пространстве дипластии невозможна однозначность знака. В нем возможен образ и возможна игра. В том числе игра знаков языка.

Но игра не исчерпывает воображаемое, ибо игра это воображение в действии. А воображаемое бездействие — это уже-сознание. Это мнимость, которая например, удовольствие от сосания соски помещает на то же поле, что и удовольствие от игры в прятки. Это мнимость эмоционально-однородного и континуального поля. Игра дает предмет беспредметному аффекту. Поскольку игра пульсирует вокруг мнимого, а не реального, постольку она предназначена не для познания, а для собирания себя из рассеяния для эмоционального испытания возможностей воображаемого. Игра носит не знаковый характер, а симулятивный. Если бы она носила знаковый характер, то она была бы связана с реальностью, с приспособлением к реальности. Следовательно, благодаря знаку реальность доминировала бы над игрой, устремляя к нулю воображаемое. Семиотика игры — это насилие над игрой. Это реванш реальности в борьбе с воображаемым.

Игра опирается не на знаки, а на симулякры, на образы мнимого, которыми она реализует нереализуемое. Если бы это было не так, то ребенок с комплексом своей неполноценности, затравленный коллективом, не стал бы бить зеркала и стекла, чтобы не видеть в них свое изображение. В игре совершается трансгрессия реального. Что дает эта трансгрессия человеку? Ничего кроме правил. В реальности нет никаких правил. Например, сидеть прямо за столом — это правило, пользоваться ножом и вилкой — это тоже правило, обмениваться женщинами с соседним племенем — тоже правило. В реальности никто не свободен. Здесь свобода — это необходимость. Но



¹³ См.: Выготский А.С. Психология развития ребенка. М., 2004. С. 203.

и в игре есть правила. И их надо соблюдать. А это значит, что и в игре человек несвободен, ему не все можно. Его аутизм ограничивается игрой. Вернее, игра придумана для того, чтобы можно было ограничить произвольность аутистического мышления первых людей. Чтобы они могли свободно 5
 делать то, что иным образом сделать нельзя. А поскольку символическая фигура взрослого отсутствовала, постольку первые люди жили как дети без родителей. Они могли сами себе навредить. И им некому было сказать: «нельзя», «не трогайте чужих вещей», «слушайтесь свою мать», «мойте 10
 руки». Следовательно, одно дело, когда тебе взрослые говорят «нельзя», когда реальность тебе запрещает что-либо делать. И другое дело, когда люди сами себе запрещают что-либо делать. Это будет их свободный запрет, или свободная необходимость, которая устанавливается в игре людей с нестабильной идентичностью.

Не социум принуждает людей к какому-либо действию, а имманентное 15
 самоограничение, возникающее в процессе их самоорганизации дает начало социуму. Из этих самоограничений и строится социальный порядок. Поэтому игра существует для извлечения правил самоограничения. В игре человек действует в воображаемой ситуации, а не в реальной. На эту ситуацию социум не может повлиять. Здесь идут мотивы и побуждения не от вещей, а от симулякров. Поэтому они носят спонтанный характер, а не внешний. 20

Игра позволяет человеку видеть одно, а действовать, исходя из воображаемого, то есть независимо от реального. Но эта независимость и дает ему свободу. Палка, как лошадь, в игре ребенка — это не знак лошади, а симулякр игровой самоорганизации. Видеть в куске дерева куклу — это тоже 25
 симулирующая галлюцинация, а не означивание.

§ 7. Ритуал

Язык на игру смотрит скептически. Как на дурачество. Напротив, ритуал 30
 всегда серьезен. В нем все должно быть солидным, настоящим. Ритуал является, по существу, машиной социальности, определяющей последовательность действий. Отношения к себе подобным изначально ритуальны.

Санскрит понимает ритуал как приказ, как повеление, которого должен 35
 придерживаться человек в пространстве гиперреального, сверхъестественного. В мистериальном порядке нет ни субъекта, ни объекта, ни зрителей, ни актеров. В нем желание нуждается в субъекте, а эмоция ищет объект эмоции. Этот порядок не создается человеком, не является результатом его усилий. Если бы он был результатом этих усилий, то встраивался бы в искусственный порядок бытия человека, т. е. был бы культурой до самой культуры. Что нелепо, ибо в ритуале учреждается человеческое в человеке, которое только начинает здесь быть. Иными словами, ритуал самоорганизуется из хаоса действий аутиста, пребывать для которого в порядке мистерии — значит быть, т. е. давать в себе место сверхъестественному. 40
 Позднее и у ритуала, и у игры появится зритель, которого они станут притягивать к себе и не будут отпускать. 45

Существуют различия между теми, кто вовлечен в ритуал, и теми, кто стоит вне ритуала. В ритуале встречаются с гиперреальным, пребывают в



нем, переживают его. Чтобы переживать, первым людям нужно было непременно участвовать в коллективном действии, например, нужно было танцевать или петь. И только позднее появится возможность созерцания, благодаря которому станет возможно не участвовать в танце, а переживать его, т. е. возможность быть зрителем и, следовательно, быть актером. И зрители, и актеры уже выпадают из пространства сверхъестественного, гиперреального и оказываются в пространстве культуры, в котором уже представляют, обозначают и имитируют реальное. Коммуникация между зрителем и актером основана на симулякрах, тогда как мистерии предполагают уподобление сверхъестественному.

И в ритуале, и в игре есть правила. Но в игре есть еще мнимости, а в ритуале нет мнимостей. Мнимость вариативна, непредсказуема. Отсутствие мнимости в ритуале заполняется серьезностью, предсказуемостью. Например, в ритуале вручения диплома по необходимости вручается диплом. Иной исход исключен. Игру нельзя превратить в способ жизни, потому что игра, как говорит Выготский, «негатив жизни». Игра существует не для чего-то, а сама по себе. Но и ритуал нельзя превратить в способ жизни, потому что жизнь всякий раз заново обновляется. Язык говорит на языке логоса, игра говорит на языке мифа. Язык любит играть с самим собой, требуя от себя ритуальности. Например, грамматика ритуальна. Никуда не деться от родов и чисел. Выбор лексем — игра. Поэтому говорящий является сторонником игры, слушающий склонен к ритуальности.

Ритуальное действие невыразимо в слове, ибо оно упраздняет любые границы и перегородки, существующие в мире. В ритуале рождается хаос. А это значит, что истоки мирового беспорядка — не в мире, а в человеке, в его аутистической попытке расплавить весь мир. Но одновременно ритуал организует, вносит порядок в мир человека, канализируя всеобщую готовность к насилию, фокусируя ее на отдельных членах общества, на жертве. Ритуал не имеет никакого практического смысла. В ритуале человек пытается создать самого себя.

§ 8. Эмоция

Эмоция — это единственный способ самоопределения человека. Его отличительный признак. Ни труд, ни прямохождение, ни какая-либо иная внешняя причина, а эмоциональный взрыв, освобождает пространство абсурда для воздействия человека на самого себя. Эмоция амбивалентна. В ней переживание неотделимо от языка понимания переживания.

§ 9. Самость

Самость обладает свойством самоактуализации, а также несовпадения с собой и воздействия на себя. В ней создаются структуры без всякого воздействия извне. Самоактуализация не позволяет возможному быть шире актуального. Самость пузырится симулякрами, которые феноменальны, внеопытны.





§ 10. Филоктет

О важности различия между говорящим и слушающим, а также между мифом и логосом свидетельствует легенда о Филоктете.

На острове Лемнос жил Филоктет, герой войны, друг Геракла. Жил он один и не было у него ничего, кроме лука и стрел, подаренных ему Гераклом. Когда-то был Филоктет знаменит и уважаем греками. Но однажды ему не повезло. Его укусила в ногу змея. На месте укуса образовалась зловонная незаживающая рана. Филоктет вонял, как бомж. Рядом с ним невозможно было находиться. И греки решили избавиться от него. Нет человека — нет проблем. Одиссей высадил Филоктета на безлюдном острове и, оставив его умирать, уплыл.

Шло время. Война с Троей затягивалась. И боги сказали грекам, что они могут победить Трою, если у них появится оружие Геракла. И вот тогда-то греки вспомнили о Филоктете. И стали делать все, чтобы забрать у него оружие Геракла. Они привезли ему подарки, вспомнили о его бывших заслугах. Но что бы греки ни говорили, он не верил их словам и не понимал их проблем. Ибо они обращались к нему на языке логоса. И только в момент, когда Филоктету явился сам Геракл из мира мертвых со словом-мифом и напомнил ему о дружбе, о том, что боги хотят помочь грекам, а он, Филоктет, прислушавшись к воле богов, получит исцеление. Он прислушался к его словам и отдал грекам лук и стрелы.

Логос слышат. Мифу внимают. Язык — это всегда два языка: язык внешний и внутренний, божественный и человеческий, ритуала и игры, жреца и воина.

§ 11. Аутизм

Autos — значит «сам», то есть по своей воле, имманентно, а не по внешним обстоятельствам. Для психологии аутизм исчерпывается отклонением от нормы, болезнью, слабоумием. Для философии в аутизме важен отказ от идеи внешней причины и признания фундаментального статуса непредсказуемой случайности. Дисциплинарный ум психолога надзирает и наказывает за провинности, за самостоятельность. Он называет отказ от причины слабоумием. Для философии важно ускользнуть из-под надзирающего ока психологии, чтобы пересмотреть само понятие причины. Причину не следует понимать, как внешнюю причину. В терминах внешней причины невозможно понять, как образовался горизонт человечески возможного. Причину следует понимать как имманентный переход своего предела, как переход, на котором случаются срывы и падения, но также бывают и удачи. Ведь аутист — это человек, который освобождает свое существование от существования, которое его ограничивает. Для того чтобы освободить себя от реальности, человеку потребовался Бог, предел наличного, в опыте преодоления которого создается мир виртуальной реальности человека.

Аутизм — пространство тотальной симуляции сверхреальности. Реальность теперь состоит в невозможности соприкосновения с реальностью. Аутист пребывает в этой невозможности с присущим ему импульсом



собственной актуализации. А это значит его смыслы способны развернуться в понятийную сетку, всегда предшествуя мысли.

Для того чтобы привести в движение множественные смыслы, нужно не только заставить Бога играть в кости, но и отказаться от сознания того, что все, что ты делаешь, ты делаешь непременно с какой-то целью. Аутизм — это Самость, которая вычеркивает цели и предметность мысли. Поэтому Самость не может отсылать к чему-то еще, кроме своего присутствия. А поскольку для сознания человека нет внешней причины, постольку множественное движение его феноменов носит шизофренический характер. Архаический человек — аутист и шизофреник, мысль которого не приспособляется к реальности, а сама для себя создает реальность, которая реальнее реального.

Мысль человека возникает не для поисков истины, а сознание — не для познания чего-то отличного от сознания. Они возникают для удовлетворения желания. И поскольку мысль делает это быстро, постольку человек постоянно нуждается в мысли. Эти мысли всегда индивидуальны, а не социальные. А это значит, что их нельзя выразить в речи. Но их можно выразить в образах. Поэтому в любой мысли всегда есть то, что передается только через образы и символы, а не через знаки и понятия. Чтобы быть общенной, аутистическая мысль должна вызвать эмоцию, посредством которой образуются симулякр понимания. Чтобы дойти до корней мысли, есть только один путь — забыть то, что знали. Это понимали Блейлер и его друг Юнг¹⁴. Блейлер придумал термины «аутизм» и «шизофрения», а Юнг — «Самость». И в том, и в другом случае полагалось одно. Человек начинал как аутист, а потом уже у него появилось языковое сознание, реалистическая мысль. То есть появилась объективность, дыра в ткани Самости. Сначала была синергетика ума, а потом уже кристаллизовалась логика. То есть ум не связан с логикой. Можно быть умным и нелогичным, и наоборот.

Любой человек аутист. Все видят свои видения. Все проецируют то, что у них внутри — вовне. Только мера соотношения аутизма и сознательной мысли у всех разная. К явным аутистам относятся: дети, невротики, художники и первые люди. Тот, кто оторвал мышление от эмоции, по словам Выготского, «навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышления»¹⁵. Эту дорогу закрыл для себя Выготский, ибо он полагал, что нет нужды изучать законы аутистической мысли, ибо она индивидуальна, а не социальна¹⁶. При этом Выготский ссылаясь на Блейлера, который испугался своего открытия и отступил от него в пользу биологической реальности. Но если бы в мире не было множественной индивидуальности, то в нем не было бы возможности для самоорганизации и порядка. Всякий опыт ограничен реальным и принадлежащим ему возможным. Выйти за пределы опыта — значит выйти не к трансцендентным или трансцендентальным условиям опыта, а к опыту аутиста, пространству имманенции, в котором

¹⁴ См.: Блейлер Э. Аутистическое мышление. Одесса, 1927; Кречмер Э. Медицинская психология. М., 1927; Юнг К. Психологические типы. М., 1994.

¹⁵ Выготский А. С. Собр. соч. М., 1982. Т. 2. С. 32.

¹⁶ Там же. С. 29.



воздействуют на себя. Это воздействие на себя составляет условие выявления вещей в опыте реального.

Самость не факт, а виртуальность, не представимая в терминах причины и следствия, пространства и времени. Эта не представимая виртуальность является условием любого представления. Самость является тем, что представлением не представляется, хотя и принадлежит ему. Самость не похожа на то, что ее актуализирует, хотя у нее и есть импульс собственной актуализации. В аутистическом воздействии на самого себя содержится условие фактического опыта, а не всякого возможного. Здесь, как во сне, представление о предмете и есть сам предмет, т. е. условие не выходит за пределы обусловленного. Если бы они выходили, то тогда можно было бы видеть чужие сны, жить другой жизнью и не нужно было бы переживать чувства всякий раз заново. Не надо было бы, например, любить второй первый раз. Отказ от аутизма связан с отказом от воображения.

§ 12. Воображаемое

Воображаемое определено попыткой человека повторить галлюцинацию, эмоционально зацепив ее за что-нибудь протяженное, выставив ее вовне и впервые воочию увидев то, что мучило изнутри, а не то, что раздражало извне. Единица воображения — образ, составленный из чувственного и сверхчувственного по правилам дипластии.

Воображаемое позволяет развернуть внутри себя реальность уподобления, перевоплощения, именованная и симуляции. Результатом уподобления является мистерия, ритуал, которыми создается символическое тело человека. Результатом перевоплощения является игра, симуляции — симулякры, воображения — образы. Человек обречен осуществлять в себе подобие Богу, ибо тот, кто Ему неподобен, теряет с Ним связь и становится без-образником.

Действие по образу возможно двояко: в образе можно искать соответствие реальному, находить в нем что-то узнаваемое, похожее. Например, нет «избушки на курьих ножках», но есть избушка и есть ножки. Если в образе это все есть, то это хороший визуальный образ. Но ведь есть еще плохие образы, всякие призраки, фантазмы, галлюцинации. В них нет узнаваемого, подобного, они креативны и поэтому не соотносятся с реальностью. Эти образы, как мыльные пузыри, необъяснимо появляются и так же необъяснимо исчезают. В них дают себя знать эмоции, аффекты, которые расплавляют всякую предметность и дают возможность появления образов беспредметности. Например, появляются теплые цвета и холодные. Они дают возможность чему-то быть виртуально. Они позволяют визуализировать слышимое, ощущать невидимое, пробовать буквы, как это делал Набоков, на вкус. Но разве звук подобен цвету? Там, где заканчивается подобие, там начинается различие и появляется симулякр. Различия изгоняют сущность, которая безразлична к различиям, и дают место симулякрам, которые связаны друг с другом симуляцией.

Воображаемое — это мир без субъекта и без объекта. Этот мир возникает после абсурда, но до языка. Это сознание без знания, область безумия

или, что то же самое, мистериального всеединства. Мы — симулякр этого всеединства. Следовательно, воображаемое — это не изображение Я в зеркале, не образ на плоскости. Не то, что связано с нарциссизмом Я. И не то, что подчинено порядку языка. Это то, что подчинено порядку ритуала.

Воображаемое переводит абсурд в устойчивую дипластию образа, в разведительный синтез «и то... и это...». Дипластия является источником креатива воображаемого, которое однородно соединяет крайности и предстает, то как язык без речи, то как речь без языка. То есть оно пульсирует между безумием и неврозом, возможностью жизни и невозможным. Речь — это мост между воображаемым и языком. Под мостом течет река реальности. У языка самого по себе нет никакой креативности. И у речи нет креативности. Креативно воображаемое. Но воображаемое неустойчиво, нестабильно. Речь, соединяя воображаемое с языком, стабилизирует воображаемое и привносит креатив в язык.

Воображение, будучи спонтанным, бессознательным, не может быть функцией языка и речи. Оно самозамкнуто. Если бы воображаемое не было автономно, то тогда эмоции, аффекты и суггестия были бы встроены в порядок языка. А это значит, что переживания исчерпывались бы их словесным оформлением, а представленность желания в вербальной оболочке была бы исполнением желания. Но желания обитают не в языке, а в воображаемом. И нет никакой связи между желанием и языком. Чувства, эмоции находятся за пределами языка и действуют помимо языка. Поэтому невозможно никакое знание об уже-сознании, о воображаемом, ибо воображаемое как сознание без знания работало уже тогда, когда еще не была установлена связь с языком. И его желания случайно срастались с неязыковой материей. Речь может прояснять неглубоко вытесненные переживания того времени, когда человек уже владеет языком.

Подлинное воображаемое не поддается ни воспоминанию, ни осознанию, ни прояснению. Оно отделяет человека от животного, а не соединяет их. Воображать — это значит искать плоть для образа, разрядку для эмоции. Но мыслить — это значит воображать несуществующим то, что существует. Тогда как чувствовать — это значит воображать существующим то, что не существует. Поэтому воображаемое может быть понято как некое «мыслечувство», создание образа аффективной беспредметности, соединение сверхчувственного с чувством. Если бы мыслимое и познаваемое совпадало, то тогда воображаемое было бы не нужно. Достаточно было бы реального и языкового. Иными словами, то, что мыслится, предшествует тому, что познается. Это следует из самого факта существования воображаемого. Воображение находит в образе объект под давлением реальности, создавая пространство конфликта между телом и организмом.

§ 13. Тело и организм

Различие между телом и организмом устанавливается не понятийно, а социальное. Например, социум тебе говорить, что иметь ногу большого размера не очень красиво. И поэтому тебе приходится, чтобы быть красивым, иметь ногу маленького размера. Для этого ты заключаешь ее в колд-





ку. Нога в колоде — это уже не организм, а тело. Если девушке хочется быть бледной и не хочется быть розовощекой, то есть деревенской, то ей нужно пить уксус. Таким образом она приобретает социально приемлемое тело. Предпочитающие длинную шею, надевают на нее кольца и тем самым усваивают различия между организмом и телом, которые вписываются в невротический бунт против реальности.

Даже рыцари средневековой Европы, несмотря на их рыцарства, вели себя естественно, то есть неприлично. Они могли есть и справлять нужду в одном и том же месте. Потом культура ограничила привычки их организма и создала телесность культурного человека. У организма нет интимных мест, а у тела они есть. В племени, которое предпочитало ходить обнаженным, сфера интимного была сужена и объективирована в коже, на затылке, под волосами. Прикасаться к ней было запрещено. В XVIII веке в Европе неприлично было кашлять и сморкаться, а также не принято было говорить о том, что касалось нижней части тела. Последствием этого восстания против организменности стала драпировка ножек стола.

Невротический бунт против реальности — это бунт тела против организма. Воображаемое заставляет тело страдать от того, что оно не подготовлено к новой роли, к возможности быть телом без свойств. Свойства опредмечивают тело. Органы структурируют организм. И эта структурность необходима для движения сил реального. Абсурд обесценивает силу реального и превращает структурность в организменные пути для тела. У каждой структуры есть своя функция. Например, глаз существует для того, чтобы видеть. Рука существует для того, чтобы хватать. Что именно им нужно видеть и хватать определено гештальтом инстинкта раз и навсегда.

Мозг существует для того, чтобы выбирать в среде значимые причины и, отсеивая незначимые, отвечать на них в виде определенных действий. Воображаемое переносит причину из среды в область галлюцинаций, меняющаяся конфигурация которых заставляет всякий раз заново решать вопрос о значимых причинах. Чтобы отвечать на эти произвольные причины, телу не нужны заранее данные свойства. Ему нужно уметь рассеяться, чтобы затем сгуститься в виде функционального органа. То есть ему нужно быть достаточно неопределенным, чтобы двигаться по логике всякой воображаемой определенности.

Бунт против реальности освободил нестабильность воображаемого, открыл отсутствие реального, к встрече с которым организм был не готов. Ведь глаза должны были видеть невидимое, а руки должны были хватать пустоту. Организм столкнулся с тем, для чего у него не было структурности. Тело человека самоопределилось для того, чтобы быть не организмом, а телом того, что само действует на себя и следовательно не связано с побудительными причинами внешней среды. Между организмом и телом без органов встал аффект. Тело эмоции бесструктурно. В нем нет дискретно выделенных органов: одного для страха, а другого для радости. У эмоции один орган и для страха, и для радости, и для любви. Этот орган ситуативен. Эмоция удерживает тело вдали от равновесия, в стороне от организма, заставляя его быть страхорадостью. Тело эмоционального не идентично

организму. Эмоция мобилизует энергию тела в такой степени, что совершает агрессию против организма, нанося ему биологические травмы.

В теле воображаемого ничто не репрезентативно. Оно не имеет иного бытия, кроме ритуально символического и симулятивного. Это тело — не то тело, с которым имеет дело анатом, или физиолог. Для них тело как роман для критика — нечто структурное. Но анатом не может извлечь из структуры органов тела эмоцию, извлекаемую ритуалом. Из тела может извлечь плоть только воображаемое. Благодаря телесности воображаемого бушмен чувствует приближение человека, которого органы тела не могут ни слышать, ни чувствовать. Бушмен может показать на своем теле те места, которыми он чувствует и которые одновременно не являются органами тела. Например, место старой раны своего отца. Текучесть воображаемого позволяло человеку превращать свое тело во что угодно. Но телесность человека, забетонированного знаками, перестает быть телом без свойств и становится машиной желания. Поэтому у современного человека такой же организм, как и у бушмена, но тела у них разные: у одного без свойств, у другого тело-машина.

Свое тело человек изготавливает в обряде, в ритуале. Например, славяне клали младенца на хлебную лопату и помещали его в печь. Новое тело выпекали, как хлеб. На нем оставляла свои следы инициация, которая таутировала тело, раскрашивала его, одевала на него одежды и маски, иногда просто калечила.

Ритуальное тело человека носит карнавальнй характер. У него есть изнанка и лицо. При этом одно не существует без другого. То есть тело человека амбивалентно, как эмоция. Наше лицо может оказаться изнанкой, а изнанка — лицом. Воображаемое, встречая препятствия в виде тела, пытается им овладеть. В результате возникает письмо без знаков, т. е. жесты.

§ 14. Письмо без знаков

У обезьяны есть тело и органы, но у нее проблема с телом без органов. Об этом свидетельствует следующий факт. Шимпанзе отлучили от стада и вырастили в одиночестве. Затем его вернули к собратьям. Этот шимпанзе умел делать все, что нужно делать обезьяне. Он только не мог делать одно: спариваться, ибо не овладел программой брачных игр. Любовные послания его тела не прочитывались партнерами, ибо не содержали тех элементов, которые бы запускали половой рефлекс. Поведение обезьян структурировано реальным. У них нет произвольного действия воображаемого.

Воображаемое, как океан Станислава Лема, являет зыбь, текучесть и неповторимость. Для него нельзя найти общие законы и его нельзя осмыслить в общих понятиях. В каждый момент оно не повторяет себя. Его единичность противится всякой универсализации. В каждой точке воображаемое непредсказуемо ветвится. Кооперация непредсказуемых локальностей воображаемого образует желания и чувства, которые проявляются вдруг, как морщины на коже или как рябь на воде. Ни с того, ни с того. «Вдруг» — это случайность, скользящая по поверхности одного и того же; то, что всегда проезжает свою остановку и всегда выходит не на своей





станции. Воображаемое играет со случайностью и натывается на сопротивление тела. Тело — это не игра воображения, это его функциональный орган. В сопряжении воображаемого и телесного рождается письмо без знаков, без слов.

Письмо — это следы воображаемого, отставленные на теле без свойств. Эти следы — жесты, мимика, позы и танцы. Тело как письмо воображаемого самому себе комбинирует жесты вне стимулирующего действия внешней среды. Поэтому жесты не знаки. Первая попытка использовать тело как орган, противостоящий нестабильности воображаемого, открыла в нем нестабильность тела без свойств. Эта нестабильность была реализована в языке жестов, в кинетической речи Марра, в незнаковой коммуникации бушменов. А поскольку в них доминировал не звук, не речевой знак, а визуальный образ, постольку можно говорить о письме до речи, а также о жесте и символе.

§ 15. СИМВОЛ

Современная культура философствования такова, что она не видит большой разницы между знаком и символом, а если и видит, то как-то странно, теоретико-познавательное. Поскольку для меня символ менее всего связан с познанием, постольку идти к его таинственности нужно со стороны наименее темной, то есть со стороны познания.

В познании наиболее интересен момент приближения к пределу познания. В этот момент возникают всякие антиномии, и познание начинает исследовать само себя. А это очень увлекательно. Но это увлечение губительно для философии, ибо оно позволяет языку заниматься самим собой, а не тем, что вне языка. Занимаясь собой, язык обнаруживает в себе неязыковое. Откуда в языке неязыковое? На этот вопрос нельзя ответить в терминах самоописания языка. Неязыковое в языке из культа, ритуала, из игры. Об этом происхождении свидетельствует символ, ибо он тоже из ритуала. Что в свою очередь не могло сказаться на его природе. В языке всегда есть два языка. И символ всегда двуличен. Символ относится к двоичным, кентаврическим образованиям, к которым относятся также человек, образ, химера, андрогин. В нем есть чувственное и сверхчувственное. Как чувственное он есть знак. Как сверхчувственное — он отменяет свою знаковую, и, обнаружив в себе неполноту, обращается к тому, что может восполнить его неполноту.

Конечно, если я могу познать предмет непосредственно, то символ мне не нужен. Зачем же мне ехать в Париж через Жмеринку. А если не могу? Вот мозг я могу изучать непосредственно. А сознание я не могу изучать прямо, не могу объективировать его содержания, не могу поместить его в пространство представления как предмет. В этом случае мне нужен какой-то посредник, который бы намекал, наводил на сознание. Не являясь сознанием, он мне что-нибудь да рассказал бы о сознании. Это может быть мозг, язык или действие. Сам по себе мозг как биологическая материя не интересен. Он интересен как рассказ про другое. Как символ сверхчувственного.

Значит, в мире есть такая сторона, которая передается не понятиями, а символами. Символ — это след, знак сверхреального, напоминание о встрече абсолютного и относительного в мистериальном действии. Понятие рассказывает о том, что дано чувственно, об опытном, о наличном. Символы уводят к тому, что сверх опыта. Например, слово «стул». Это эмпирическое понятие. Я могу посмотреть на стул, минуя слово. Оно мне дано в пространстве. Я могу обнаружить причинные и иные зависимости. Они тоже относятся к опыту, хотя я их не вижу. Но они хотя бы схематичны.

Так вот символ — для того, что линейно не упорядочено, что в пространстве не созерцается. Он, как говорит Кант, для мира в целом, для Бога и для души. Если стул я могу увидеть, минуя слово «стул», то могу ли я посмотреть на свободу, минуя слово «свобода»? Конечно, нет. Свобода нам не дана, а предзадана. Нас еще не было, а она уже была. Первоначально из рассеяния собирается не самость, а свобода. Вот эта предрасположенность человека к свободе символична, ибо она освобождает свободу от речевого знака, предавая забвению реальность. Символ существует не в языке, а в поступке, в действии, в котором еще нет ни субъекта, ни объекта.

Можно ли в терминах пространства и времени отличить один поступок от другого и сказать, что в одном из них была свобода, а в другом ее не было. Конечно нельзя. Взглядам извне свобода не фиксируется. Можно ли в терминах языка отличить одну фразу от другой и сказать, что в одной фразе есть мысль, а в другой — нет мысли? Что одна фраза говорит о понимании, а другая нет? Этого сделать тоже нельзя. Потому что мысль — не дело языка. Для того чтобы ее узнать, ее уже нужно знать, нужно, чтобы она уже была у тебя. То есть мысль в языке не от языка. Но откуда она у меня? Она у меня появляется при условии эмоционального разрыва с реальностью. А это значит, что язык у меня предварен опытом воздействия на самого себя. И это воздействие на себя является условием появления мысли в языке. Мысль — это свободный поступок, то есть поступок, в котором на тебя перестают действовать вещи наличным схематизмом фактического, возможного, открывая возможность произвольного действия себя на самого себя.

Никто не может быть свободным от языка, но в мысли мы свободны от него. Мы действуем на самих себя во времени и этим действием отсрочиваем время, откладываем его, противостоим его рассеивающему действию. Помыслить — значит еще раз повторить архаический жест депривации, с одной стороны, освободив себя от фактического, возможного, в том числе и языкового, а с другой — предоставив в себе место для сверхреального, слабым напоминанием о котором является интуиция. Удивление, равно как и сомнение воспроизводят первобытный зазор между человеком и миром. В этом зазоре возможна свобода и, следовательно, становится возможен язык. Но в языке, как плата за его свободу, всегда теперь будет существовать неязыковое. И неязыковое всегда будет играть языком, полагая в нем в одном случае мысль, а в другом — отсутствие мысли. Хотя синтаксис фразы, ее лексическая часть могут быть при этом теми же самими.

Сознанию нужны символы и только потом уже понятия, ибо ему нужны свидетельства об отрыве от наличного и, следовательно, о возможности отклика на призыв невозможного. Этот отклик является не чем иным, как





безумием с точки зрения реального. Но без этого безумия не будет ума. И поэтому символы аккуратно упаковывают безумие в наше сознание. В безумии содержится первый шаг ума, но принадлежит этот шаг не субъекту, а мистериальному действию, растворяющему в себе всякую предметность и субъектность. Поэтому в каждом из нас есть что-то, что от нас не зависит. Если б «не мое» во мне было от мира, то оно извлекалось бы опытом. Для него были бы понятия. А оно не извлекается. Если бы «не мое» во мне было от меня, то оно было бы произвольным, выведенным из воли. А оно не из воли. Оно непроизвольно. Негация непроизвольности только и делает возможной волю. «Не мое» во мне сделано из материи того, что существует как одно и то же в ритуале, игре, мистерии.

Две темы

Пробел в существовании без «чтойности» заполняется симулякрами, тем, что существует исполнением своего бытия. Симулякры устойчивы во времени благодаря тому Подобному, которое удерживается мистериальным танцем.

Символы — вневременны, ибо в них совпадает символ и символизируемое. Поэтому символ действует как граница познания для понятийного мышления, как предел бесконечной цепочки означающих, как калитка во внутреннее знание. Символ образует бесконечный тупик познания, в пространстве которого язык не поворачивается что-либо сказать. Символ заставляет тебя прикусить язык. От него исходит то, от чего язык отнимается и слова застывают.

Конечно, «Я» — это не понятие, это симулякр. Мы его мыслим без усмотрения объекта. В свою очередь «Я» заставляет язык обратиться к себе, совершить рефлекс и сказать — это не «Я». В языке нет имени для «Я», а это значит, что язык — это тоже симулякр.

Для сказуемого существуют знаки. Для несказуемого — символы. Знаки помещают сознание в линейную последовательность и удерживают его в ней, образуя знаковое сознание. Символы смотрят на время свысока, открывая для сознания вертикаль одномоментной координации целого. Символическое сознание интуитивно, а не дискурсивно. В символе совпадает значимость и существование. Поэтому он требует бесконечной интерпрегации. Например, если смотреть на статую Юпитера, то увидишь здорового мужика средних лет. Если же смотреть на нее символически, то увидишь, что это не мужик, а сила, равная мудрости. То есть Юпитер — это символ не различной мудрости и силы.

Встреча сказуемого и несказуемого — это встреча фактического и идеального, относительного и абсолютного. Если бы человек был сказуемым, то он исчерпывался бы конечным множеством высказываний, сводился бы к последовательному набору знаков. А поскольку человек не факт, а невозможное, постольку для его описания недостаточно понятий, метафор и аллегорий. Ибо в них фиксируется возможное, и не фиксируется факт встречи сказуемого и несказуемого, реального и идеального. Сама эта встреча является тайной. Тем, что отменяет понятийный язык и показывает начало



языка мифов. Невозможное, или тайна, требует символа, сила которого состоит в уподоблении, в воспроизведении в материи самости того, что обращено к ней извне. Отзыв самости происходит сначала в слове-движении, в кинетической речи, в письме, которое затем венчается словом-речью. То, что сокрыто внутри, не может быть выявлено извне. Чтобы открыть тайну, нужно войти вовнутрь, преобразиться. Но тайна не перестает от этого быть тайной во всей своей таинственности. Она не допускает разоблачений, подобно тому, как допускают разоблачения закодированные знаки. Знаки языка вступают в войну с символами воображаемого, заменяя тайну кодом.

Символ связывает, соединяет то, что между собой не имеет ничего общего. Общее — результат обобщения, познания. А поскольку воображаемое складывается до встречи с языком, поскольку оно беспредметно и находится вне опыта встречи с общим. Воображаемое питается различиями, как заяц капустой. В символе отождествляется символизирующее и символизируемое. Символ указывает на неподобное, на другое, на то, что ему недостает. Противоположности, составляя целое, становятся символами друг друга. Символ, благодаря упакованному в него абсурду, открывает ворота идеальному.

Если бы в человеке не было того, что от него не зависит, то ему были бы не нужны символы. Ему было бы достаточно опыта, в котором все могло бы исполниться. Воображаемое по ту сторону реального и возможного. Оно беспредметно и благодаря этой беспредметности актуально исчерпывается любым предметом. Символ — это способ соотнесения себя с тем, что в тебе от тебя не зависит. Со своей идеальностью. Символы существуют для схватывания не объектов, а идеального — того, что нельзя представить, но, что является условием представления. С символами связана мысль, то есть способность самому себе дать идею без ее объективации. Редукция символа к языку, к знаку означает редукцию воображаемого и сопряженного с ним идеального к возможному. Сознание вообще — это то, что не редуцируется к языку. Бессознательное — это язык. Поэтому можно мыслить и не познавать. Тогда же как познавать — вовсе не значит мыслить. Символ — это не знак. Если бы символ был знаком, то тогда символ и символизируемое не могли бы создать тождество. И в таком случае воображаемое, вернее такая его актуальность как «уже-сознание», потеряло бы свои репрессивные функции по отношению к самому себе и у человека не было бы возможности самому действовать на себя. То есть у него не было бы сознания, смысл которого передается формулой «стыжусь, следовательно, существую». И не было бы идеального, а было бы бессознательное языковое автоматическое устройство. Речь стала бы ненужной и она за ненадобностью бы умерла.

Знак отсылает к другому знаку. Символ — не калитка, которая открывает вход к другому символу. Символ — это символизируемое. Тогда как знак — это не означаемое. Например, лабрис — это символ Зевса. То есть этот символ и есть Зевс. Хотя Зевс может быть и быком, и лебедем, и даже змеей. Знаки знают, символы понимают. Если бы однажды символы стали знаками, то люди знали бы все, но перестали что-либо понимать. А также прекратилось бы существование наивных, шизофреников и детей.

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Если символ любви — это огонь, то шизофреник воспринимает этот огонь реально, а не знаковым образом, не понарошку. Этот огонь его обжигает. А нормальный человек уклоняется от огня, объявляя его знаком. Но тем самым он уклоняется от любви. Борьбу с символами вел Гегель, объявивший, что мыслить и познавать — это одно и то же, что чувства — это подготовительная ступень понятия. Он же впервые представил символ как недоделанный знак, как суррогат понятия. Чем, конечно, сильно навредил философии. Символ — это не знак. Символ обрастает симулякрами, как днище корабля обрастает кораллами.

§ 16. Симулякр

Чтобы ввести тему, я приведу один пример. Вот ребенок, играя, берет палку и скачет на ней, как на лошади. В каком же качестве существует палка в игре ребенка? Если я скажу, что палка — это образ лошади, то это будет неверно. Ребенок может заменить ее веником, веткой и чем-то еще и ничего не изменится. То есть в данном случае вещь следует уже за состоявшимся смыслом. Это как фигура коня в шахматах. Сама фигура может быть чем угодно, но ходить ее можно будет только по правилам.

Итак, палка — это не образ лошади. Но палка это и не знак лошади. Иначе ребенку пришлось бы скакать на знаке, а не на лошади. По тем же соображениям палка не является и символом лошади. Палка — симулякр игры. Если мы ее уберем, то игры не будет. Она рассыплется. Или будет другая игра.

Поскольку между палкой и лошастью нет никакого сходства, нет подобия, постольку палку можно назвать образом без подобия. Или симулякром. Ведь скакать на палке и скакать на лошади — это все же не одно и то же. Но симулировать — это не значит одно выдавать за другое. В симулякре нет обмана. Это не подделка, не имитация. Это просто тело фантазма. Материя, реализующая воображение. Палка не претендует на родство с лошастью. Но и сама по себе палка не является симулякром. Она становится симулякром игры. Но для того, чтобы она им стала, ребенку нужно покончить с ее фактичностью, нужно извлечь ее из мира реального и перенести в мир воображаемого, гиперреального. В этом мире происходит дипластия палки и лошади. Но за дипластией стоит мистериальный акт, который не очень удачно назван французскими философами симуляцией. Главное состоит в том, что в акте игры вызывается к жизни то, чего нет. Вот этот акт выведения и будет симуляцией. Благодаря симулякру ребенок становится наездником, а палка — лошастью. Симулякр строится не на различии, как думал Делез, а на уподоблении неподобного, на симуляции. Не потому палка становится лошастью, что есть между ними различия, и не потому, что есть какое-то трансцендентное Одно и то же. А потому, что есть усиление уподобления, симуляция сверхреального.

Внешний наблюдатель не может схватить всю глубину симулякра, редуцируя его к наличному, ибо он вне мистерии, вне игры. Он в пространстве фактического, наличного. Для него палка — это палка, а ребенок — это ребенок.

Но внутри игры наблюдатель перестает быть наблюдателем. Он играет и поэтому перевоплощается. Симулякр отнимает у наблюдателя свойство наблюдения и включает в себя его точку зрения. Наблюдатель становится частью симулякра. В симулякре угол зрения наблюдателя включается так, что в любой точке, где находится этот наблюдатель в процессе игры, вос- 5
производится подобие, которое воспринимается как иллюзия. При этом никакого разрыва с реальным образом не происходит. Симулякр строится не на едва заметном искажении, не на разрыве с реальным образом, а на подобии, удерживаемым мистериальным порядком игры, ритуала или, как говорят французы, симуляции.

Если бы не было разъединительного синтеза дипластии, то не было бы мистерии и палка не стала бы образом без подобия. В любом образе есть галлюцинации, склеенные эмоциями. Они есть и в образе справедливости, которая узнается как справедливость в разных точках наблюдения только потому, что справедливость — симулякр социальной игры. То есть это По- 10
добное, о котором у нас есть внутреннее знание.

В симулякре резонируют все возможные заранее не согласованные сингулярные точки зрения. Поэтому низвергнуть платонизм — это не значит за- 15
ставить симулякр выйти из глубины к поверхности и утвердить свои права среди образов, икон и копий. Это значит показать, что Одно и то же возникает и существует в мистериальном порядке уподобления, в симуляции сверхреального, в которой нет ни объекта, положенного заранее как общий для всех точек зрения, так и нет привилегированной точки зрения. Подобное и Одно 20
и то же являются не внешним причинением, не моделью, а спонтанным общением без сообщения, кооперацией до всякой социальной упорядоченности. Симулякр мысли — это последний бастион мысли, это мысль до мысли.

Всякое общение предполагает сообщение. В свою очередь сообщение невозможно без понятий и знаков. Но архаическое общение строится без сообщения, ибо сообщения базируются на предметных обобщениях, 25
которые в рамках уже-сознания невозможны. Общение без сообщения строится не на знаках, а на симулякрах. Симулякр — это тело дословного, крот бессубъектного. Смерть субъекта, как бы сдвигает культурную плиту, за которой обнаруживается невидимая работа симулякра, знака наоборот. Примером симулякра является смех. Или улыбка. Где существует смех о смешной ситуации? Нигде. Он всякий раз заново возникает и 30
исчезает. Смех ситуативен и одновременно заразителен, ибо в нем срабатывает эффект наложения сиюминутных коммуникативных коннотаций. Если бы язык был тотальным и исчерпывал все переживаемое человеком, то симулякры были бы не нужны. Коммуникации были бы нужны понятия, прочные значения и смыслы. А поскольку язык не тотален и есть еще воображаемое, постольку не всегда можно опереться на понятия. И однажды 35
решающей может стать кооперация неустойчивых коннотаций. В ситуации становящейся самости не понятия, а симулякры являются средством общения, ибо эта ситуация линейно не детерминируема. Как не детерминируема, например, коммуникация между детьми.

Симулякры возникают в общении людей со смещенным из центра Я. Например, симулякры обеспечивают разумное поведение Иванушки-ду- 40
45





рачка в неразумных ситуациях. Все, что существует, лишь только для того, чтоб люди могли быть вместе, также относится к симулякрам. Симулякры пусты, мгновенны и открыты. Их нельзя с чем-то сравнивать или соотносить с какой-то вне их реальностью. К примеру ложь — это симулякр общения, а не то, что противостоит истине. Симулякр не может быть ложным, у него нет референта, обеспечивающего его устойчивый смысл. Аутизм, как мыльная пена, пузырится и лопается симулякрами, оставаясь открытым для любых конфигураций воображаемого.

Симулировать — значит делать вид, создавать видимость, иллюзию существования того, что не существует. У видимости нет референта. Она пуста и представляет только себя, то есть делает видимость своей профессией. Симулякр обычно понимается как нечто негативное, как китайская подделка, как что-то неподлинное. И в этом понимании есть своя логика, передать которую можно следующим образом. Чтобы воздействовать на себя, человеку не нужна никакая реальность, не нужны ни тела, ни их смеси, ни язык. Для этого ему достаточно импульса собственной актуализации, чтобы симулировать самость и тотем.

Но одно дело пребывать в действии уподобления гиперреальному, а другое дело переживать действие извне. Одно дело танцевать, а другое — переживать танец, наблюдая его. Одни выражают что-то идеальное, сверхъестественное, другие его переживают. Со временем это идеальное человек передает забвению, имитируя его. И тогда художник начинает самовыражаться, а зритель — самопереживать. Тем самым из наблюдаемого действия изымается сверхъестественное и остается что-то искусственное, неестественное, т. е. остаются какие-то культурные артефакты. Например, наскальная живопись. Поскольку эти артефакты с неба не падали, постольку их надо было производить, им нужно было давать бытие, статус реальности вне зависимости от переживаний и выражений идеального. Но кто наделяет вещи статусом второй реальности, когда они переживаются или когда они производятся? Текст существует, когда он написан или он существует, когда он опубликован и о нем заговорили критики? По словам В. Мартынова, в пространстве производства и потребления художественные произведения сами по себе не существуют. Им бытие даруется, их помещают в ряд таких же артефактов, присваивая им рейтинг. Нечто не потому публикуют, что оно произведение искусства. Наоборот, оно производится искусством, потому что его публикуют в качестве произведения искусства, актуализируя тенденции рынка. Кто выставлен на всеобщее обозрение, тот и художник. Вот это современные художники и стали называть симулякром, в основе которого лежит забвение идеального, сверхреального. А поскольку искусственное не может существовать без него, постольку поддерживается иллюзия его существования.

Существует два типа симуляций. В одном случае симулируется сверхреальное и симулякры, производные от этой сверхреальности. В другом случае симулируется реальное. В первом случае благодаря технике имитации передается забвению реальное. Во втором случае благодаря этой же технике передается забвению сверхреальное, а имитируется реальное. Симуляция первого типа возникает внутри ритуала, в момент пребывания

человека в мистериальном акте, который отделяет реальное от сверхреального, зрителей от участников мистерии. Зрители, теряя подобие с участниками ритуала, переживают ритуал. Результатом симуляции ритуала являются симулякры. Они порождаются трансгрессией пределов, трением различных общностей. Но архаическое назначение симуляции в другом. Симуляция актуализирует аутистическую способность самому действовать на себя. Импульс собственной актуализации самости, ее действия на себя рождает такие симулякры, как смех, улыбки, совесть, красоту. В акте именования мы защищаем себя от действия на себя извне и одновременно используем имя, знак, речь для воздействия на другого. И в этом смысле великим симулякром является язык.

Симулякр — это не понятие, и не символ, а галлюцинация, фантазм. Он — результат произвольного действия себя на самого себя и одновременно способ существования свободы, которая дана вместе с абсурдом и поэтому выражается во сне, в бреде, в языке. Симулякры создаются воображением, чувственными видениями. Их источник не концепт, а симуляции самости, которая существует исполнением своего несуществования. Если бы самость не симулировала, то ее просто бы не было. Результатом симуляции самости являются образы. Всякое пребывание в уже сознании обеспечивается симулякрами, которые размазывают его по всему пространству пребывания в невозможности соприкосновения с реальностью. Поэтому уже-сознание нельзя свести к одному какому-то привилегированному взгляду, к трансцендентальной точке зрения. Уже-сознание скорее выражает себя в клипах, чем в понятиях.

§ 17. Уже-сознание

Эмоциональное понимание предела, реализованное симулякрами, можно назвать «уже-сознанием», которое, в свою очередь, размазано по всему пространству пребывания в невозможности соприкосновения с реальностью. «Уже-сознание» нельзя свести к одному взгляду. В нем нет места для привилегированного взгляда, для трансцендентальной точки зрения, линейно упорядочивающей события наличного существования. «Уже-сознание» чувствует себя в хаосе, как рыба в воде.

«Уже-сознание» — это деперсонализированное сознание человека, способ его множественного воздействия на самого себя. Самоосуществление такого сознания происходит вне связи с Я как точкой его кристаллизации. Уже-сознание не находится под массивным воздействием речевых знаков. Отсутствие языка Другого заполняется симулякрами сознания, которые выполняют функцию антиязыка. Разрыв между индивидом и самостью, между самостью и субъектностью делает невозможным существование языкового сознания, а это значит, что существование феноменов уже-сознания нестабильно и вариативно. Они не могут получить статус знака и постоянного значения. В уже-сознании нет устойчивости циркуля, в нем сдвигаются обе ножки этого инструмента, поэтому образцы уже-сознания не идентичны, а копии не подобны. То есть не понятия служат средством фиксации опыта становления в человеке человеческого,





а симулякры, которые возникают на первом шаге сознания, когда оно еще не узнало себя и не воспроизвело себя, не повторило. Ибо после повтора уже возникают нормы и законы языкового сознания.

Уже-сознание питается энергией эмоций и аффектов, снимаемых с того, что переживается. По мере того, как речь установит связь между воображаемым и языком, понятия начнут вытеснять симулякры. Напротив, восстание экранной культуры против языка освобождает симулякры из плена понятий. И прежде всего из ловушек в виде дуальных структур, двойное отрицание которых показывает нам просторы патового пространства. Примером работы уже-сознания является и связка «есть» в антониме, поселяющая в нем хаос. Независимость, дарованная каждой стороне антимической дуальности, заставляет изобретать симулякры новых понятий, в которых, например, реальному противостоит уже не идеальное, а гиперреальное.

Если понятия знакового сознания проделывают в аутистической мысли выходы к реальности, то симулякры заделывают эти щели, заставляя двигаться к сверхреальности. Итак, инстанцию, в которой действует диплантия и, следовательно, невозможно формирование оппозиций бинарного типа, можно назвать уже-сознанием. Уже-сознание карнавально, ибо эмоционально. В нем нет места для истины, отличной от лжи. В нем нет места для репрезентаций и референций. В нем пребывают смыслы, актуализируемые импульсом собственно аутиста.

§ 18. Депривация

Абсурд превращает реальное во что-то страшное, опасное, в то, от чего хочется убежать, спрятаться, сделать вид, что тебя нет. Невозможность уклониться от встречи приводит к агрессии, к вспышке страха и злобы.

Депривация удаляет от вещей. Лишает контакта с ними. Переводит их в план отсутствия, в горизонт репрезентации следов. Она помещает человека в мир теней, как в сурдокамеру. Будто готовит его к полету в космос. Она окружает его запретами, табу. Всюду тотем. Везде контроль. Ничего нельзя хватать. Ни к чему нельзя прикасаться. Ни на что нельзя смотреть. Если посмотришь, то станешь рабом восприятия. А посмотреть хочется. И нужно выбирать: или ты в группе — и тогда запрет на вещи, или — разрешение на вещи, но вне группы.

Полная депривация как бы погружает человека из мира вещей в мир пустоты, которая вяжет и связывает его по рукам и ногам. Нарушитель запрета подвергается остракизму, изгнанию из пещеры. Указательный жест — это жест изгнания. Но не всех изгоняли из коллектива. Тем, кто не выдерживал непосильного торможения хватательных и тактильных рефлексов, и нарушал запрет, прикасаясь где-нибудь в темноте пещеры к неприкасаемому, могли отрубить фаланги пальцев. Физическим шоком подкреплялась власть слова. Палеолитические изображения говорят о том, что в случайной линии, в естественном выступе скалы человек мог уже увидеть контуры зверя. И прикоснуться к ним магически. Закрепить их линией. Сенсорный голод заставлял людей трогать руками мягкую

глину, проводить по ней пальцами, оставляя линии, которые сохранились до сих пор.

Депривация может быть сенсорной, эмоциональной, символической и коммуникативной.

5

§ 19. Изображение

Искусство — это обход депривации, щель в пещере. Символический выход из нее. Изображение как тень. Оно вроде бы есть, и в то же время его нет. Природа на такие тени не реагирует.

10

Изображение можно трогать. На него можно смотреть. Кто-то, как в тире, бросает в него копья и дротики. Кто-то виртуально прикасается к неприкосновенному. Изображение стоит. Не убегает. И не делает тебе никаких пакостей. Оно не опасно. И всегда с тобой.

Изображение вещи — это не вещь. Это как улыбка на лице. Что-то нереальное, нетелесное. Невероятно, чтобы обезьяна когда-либо увидела графический знак в цветовом пятне. Или оставила какую-нибудь царапину на песчанике, которую можно было бы принять за изображающий рисунок. Изображение — не раздражитель для рефлекса. В нем нет причины для того взгляда, который на него бросают. Это просто камень, скала или охра. На искусстве природа отдыхает.

15

20

Изображения обращены к воображаемому, к эмоции и к уму. К коллективному представлению. Пещера работает антонимично: или ты сам по себе — и у тебя нормально работает сенсорный аппарат, или ты не один, а в коллективе — и у тебя сенсорный голод. И твои рецепторы не работают. Им мешает депривация. Зато у тебя есть образы. Либо слово, либо рефлкторное движение. Или образ, или жизнь в изгнании, как у врубелевского (или лермонтовского) Демона. Либо — либо.

25

30

§ 20. Искусство

Искусство основано не на мимезисе, не на подражании реальному, ибо подражать реальному — значит быть нереальным и скрывать это, то есть обманывать. Искусство — это жизнь в пещере воображаемого. Это плата за большую галлюцинацию, за то, чтобы люди могли быть вместе. Возможность для искусства возникает в момент подмены гиперреального реальным, модусом которого является искусственное. Искусство как модус реального указывает на сверхреальное, заставляя его выражать и переживать. И в этом смысле оно ничем не отличается от знака. Искусство и язык возникают одновременно, указывая на то, чем они не являются.

35

40

Наскальные изображения — это, конечно, не искусство. Это письменность. Первые письмена души человека. Момент, когда все еще только начиналось. А все начиналось с жеста. Поэтому жест письма предшествует речи. Кинетическая речь относится, если верить Марру, к нижнему палеолиту. Звуковая — к верхнему. А наскальные изображения появились тогда, когда человек еще почти не говорил. Сначала люди стали писать, а уже по-

45





том — говорить. Изображения — это тренировка речи. Протописьмо, как логопед, ставило произношение, учило различать звуки.

Рисовать и разговаривать люди стали одновременно. Но прежде они танцевали, устраивали спектакли, водили хороводы.

5 Вот, например, Сибирь. XIX век. Здесь охотники, как неандертальцы, отрезают голову и лапы медведя и прячут их в медвежьи амбары. Зачем? Затем, что у них еще живо чувство принадлежности к целому, к группе. То есть какие-то вещи в мире делаются не для чего-то, не интенционально, а сами собой. Как плата за то, что когда-то были вместе. Жили в одной пещере. Вместе сенсорно голодали. И это знаки палеописьма. Многие эти знаки уже рассеялись, растворились в том, что называется культурой. А некоторые еще живы.

10 Захоронения медвежьих голов и лап нашли в мустьерских пещерах. В эпоху среднего палеолита. Перед последним оледенением. Мустьерцы отгораживали камнями часть пещеры и хранили там кости. Иногда они 15 делали для них каменные сейфы, в которых хранились не кости, а смысл племени, символы другой, не обезьяньей жизни.

У славян название медведя осталось в древней табуированной форме: «мед ведающий», а исконная запретная форма была, видимо, близка к северо-индоевропейской. Например, у немцев медведь — это «бер» (beer). Зимнее жилище медведя русские называют «берлогой», т. е. логовом «бера».

20 Наскальные изображения могут быть контурными, процарапанными или обведенными одной красочной линией, барельефными или полихромными. Среди изображений: животные, сцены охоты и другое. Сохранились как рисованные, так и скульптурные изображения животных, с вонзенными 25 ми в их тела нарисованными стрелами. Позже стали изображаться люди, мечущие копья в животных.

Депривация заставляет не только рисовать, но и изображать в танце то, чего не хватает. К чему нет доступа. Например, давно не появлялись горные бараны, значит, танец их может компенсировать. В танце их можно 30 заменить, изобразить.

В одной из пещер была намеренно сооружена полукруглая площадка для танцев. Глиняный пол пещеры Тюк д'Обудер сохранил отпечатки босых ног людей.

35 Поздний период эпохи Мадлен оставил отвлеченно-геометрические изображения. Перед неолитом реализм изображения уже утратил свою силу. Символы пещеры сделали свое дело: оторвали человека от природы и передали культуре.

Древнейшим изображением является рука, обведенный краской контур руки с расставленными пальцами¹⁷.

40 В начальной стадии Ориньяка животные изображались пальцем на мягкой глине. В то же время появились изображения женщин: это был овал с небольшой чертой посередине. Позднее возникли изображения женщин из камня и кости. Женщины изображались часто без рук и ног, а зад, бедра и груди были сильно увеличены.

¹⁷ Первообытное искусство. Новосибирск, 1971; Гуцин А.С. Проблема происхождения искусства. М., 1937; Поршнева Б.Ф. О начале человеческой истории. М., 1974.

Животные на рисунках изображались хорошо. Фигура человека передавалась плохо, неотчетливо. Видно только как он действует. Человек — это рука человека. Первобытные люди — как дети. Они занимают себя тем, что удваивают мир. Одевают ожерелья из зубов зверей, делают татуировки на теле, совершая тем самым трансгрессию границ своего тела, вступая в символический контакт с недостижимым.

§ 21. Современное искусство

Современное искусство ищет точку совпадения образа и знака, в которой оно слагает свои полномочия перед первобытной эмоцией аутиста. В этой точке оно перестает быть, редуцируя реальность человека к его первоформам, в которых мало реальности и много аутизма, раздражения самого себя своими галлюцинациями. Точки, цветовые пятна, линии — все это еще не составляло предметности и требовало эмоционального напряжения, которое, как аттрактор, притягивало их к себе и составляло из них образы.

Поскольку искусство производит, а культура воспроизводит, постольку искусство антикультурно и в этом смысле нереалистично. Современное искусство использует пафос антикультурности в перформансе. Искусства нет, а антикультурность осталась. Художник, как дикарь, превращает самого себя, свое тело в эстетический объект рассмотрения, в знак своего творчества. Перформанс — это реализация антикультурности без пафоса искусства.

Современное искусство превращает вещи в знаки вещей, открывает возможность инсталляции, ибо знак вещи сам может быть вещью. Смысл инсталляции состоит в редукции к тем формам первобытия, в которых не слова обозначали предметы, а предметы обозначали имена вещей. Не имена шли за предметами, а предметы за именами.

Театральная деструкция современных форм жизни обнажает первичность письма, архаические формы которого составляют смесь жестов, слов и движений, объединенных скольжением смысла в ритуалы. При этом театр обнаруживает архаическую важность безмолвия, окружающего любое слово, а также естественность бессмысленности и непонимания в отношениях между людьми.

В литературе подвергаются деструкции образы первого плана и на первый план выдвигается то, что было на втором. То, о чем не прилично было говорить вслух, что относилось к табуированным фрагментам жизни. И это неприличие выдает себя за освобождение запретного и одновременно представляет себя как искусство, как вызов реальности и культуре.

Современное искусство может быть понято как индикатор того факта, что в мире много стало телесного и мало сознательного, как симптоматика безэмоциональности существования человека, как способ измерения глубины самого сознания. Тоскуя о беспредметности, искусство напоминает нам о наших аутистических корнях. Равно как устранение человека из мира восприятия, его распад означает лишь только то, что субъектность каких-то процессов реализуется не обязательно в точке присутствия человека.



Современный человек как и первочеловек не субъектны. Человек может при определенных условиях выполнять функции субъекта. И следовало бы, как говорит Фуко, выяснить, в каком именно поле человек является субъектом и субъектом чего. Понимание этой мысли деформирует образ человека, размывает его. Смещение центра субъектности в сторону от местонахождения человека ставит под вопрос и субъективизм художественного модернизма. Ни экспрессионизм, ни импрессионизм, ни символизм, ни ультраязычество не могут помыслить себя вне связи с Я. Для них Я — это то, чему нет замены и нет равных. И поэтому всякий человек должен держаться за свое Я как причину самого себя. Но Я — это не причина самости. Из Я не следует «я сам», так же как «он сам» не обозначает место сгущения субъектности. Самость может быть понята вне связи с Я. Я — симулякр единственности, неповторимости, неписанности. Бессубъектность Я давит на Я, расщепляя его на множественность феноменов уже сознания. И это давление чувствует современное искусство. Поэтому Ходасевич имел полное право написать в «Зеркале»:

Я, Я, Я. Что за дикое слово!
 Неужели вон тот это Я?
 Разве мама любила такого
 Желто-серого, полуседого
 И всезнающего, как змея?

Тогда как Г. де Торре в «Ультраманифестах» еще упивается этим словом: «Я сам, ты сам, он сам. Так, отринув множественное число, станем читать молитву Ячества».

§ 22. Я

Я дано чувству, а не уму. Если бы оно было дано уму, то ум никогда не увидел бы Я, не собрал бы его из текучих феноменов времени. Чувства дают плоть галлюцинации, ставят ее перед нами, действует ею на нас, заставляет страдать нас от нее и тогда мы представляем себя.

Первопредставление себя связано с возможностью быть причастным к имени. А имя — это симулякр идентичности самодвижущейся множественности. Имя, как вещь, имело свою пространственность. К нему можно было физически прикоснуться, но символически прикасаться было нельзя. Архаическое Я — это тотем, который дан внешнему чувству. Я, освобожденное от пространственных характеристик, уходит от внешнего чувства к внутреннему, к необходимости воспринимать себя во времени. Архаическому сознанию не нужно было зеркала. Ему было достаточно стадии пещеры, чтобы увидеть тотем. Его Я, как священная корова в Индии, бегало по улице. И от этого сознанию было и жутко, и сладостно. И каждый был сообщен с каждым в силу причастности к тотему. Благодаря такому сообщению бушмен у Канетти мог почувствовать чувство охотника, идущего за добычей.

Забвение пространственных характеристик Я заставляет взглянуть на себя по-новому. Эта новизна создается стадией зеркала. Но если Я не вещь, а нечто временное, то как можно, проецируя галлюцинацию во временную последовательность, получить Я? То есть как получить нечто од-



номоментное и одновременно множественное? Ведь смена ощущений не ведет к синтезу надвременного Я. Я не наглядно. Наглядна пространственность. Например, никто не слышит звук как таковой. Если это скрип, то он соединен со скрипом сапог или со скрипом пола, то есть с каким-то предметом. Предположение о том, что время само по себе синтезирует из последовательности ощущений образы не убедительны. Ощущения склеивает не время, а эмоция. Ни у кого нет возможности воспринимать из настоящего будущее под именем целей. Ведь будущее можно помыслить и как цель и как крушение целей, как надежду и как разочарование.

Я воспринимает себя как Я, когда Я страдает от себя. Когда оно подвергается внутреннему воздействию на себя. Поэтому дело даже не в зеркале, а в страдании. Цитата из Канта: «Мы представляем самих себя наглядно лишь постольку, поскольку мы внутренне подвергаемся воздействию; мы при этом страдаем от самих себя»¹⁸. В понимании Я взгляды Канта и Достоевского совпадают. Иными словами воображаемое — это художественная самодеятельность архаического человека, от которой он страдал и, страдая, выстрадал свое Я.

Если будущее определено, то у Я не может быть чувства времени. Если же оно не определено, то у Я есть цели и чувства времени.

§ 23. Галлюцинации

Галлюцинация, как архаическое означающее, не соотносится ни с какой реальностью. Единственная реальность, которая отражается в галлюцинации, это реальность самой галлюцинации. Галлюцинация навязывает свою эфемерную логику, то есть логику добинарных ощущений, образов до различения истины и лжи, добра и зла.

Галлюцинации относятся к внешнему плану. Они восполняют в нем то, что в нем отсутствует. Галлюцинирующий человек видит, слышит и полагает, что у видимого и слышимого есть реальный референт. Ведь если бы этого референта не было, то его бы не видели. А поскольку его видят, постольку он есть. Хотя вещи видят не потому, что они есть, а потому, что они тематизированы воображением.

Палеолитические изображения — результат зрительных галлюцинаций, возникающих при сенсорной изоляции. Галлюцинации — это плата за жизнь в группе, за право реагировать на то, что тебе говорят не твои органы чувств, а коллективные представления.

Галлюцинаторные состояния есть и у животных. Например, голодные скворцы в изолированном помещении ловят мух, которых там нет. Куры клюют отсутствующее зерно. Но курица не аутист. Она сама себя произвольно не раздражает галлюцинацией. Ее галлюцинация имеет внешнюю причину в виде экспериментатора. Всякая реакция требует, чтобы был организм, которому что-то нужно, и был раздражитель этого организма. Сумма этих факторов и составляет реакцию, т. е. единицу, ниже которой или выше которой — нельзя, реакции не получится. Было замечено, что

¹⁸ Кант И. Собр. соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 3. С. 108.



если нет внешнего раздражителя, а спусковой крючок организма уже взведен, то выстрел произойдет. Реакция состоится. Только раздражителем будет иллюзия, представленная самой себе нервной системой организма. Пустые реакции можно вызвать введением гормонов. И тогда кошка, на-

5 пример, может среагировать на галлюцинацию мыши.
 Но галлюцинации — это не образы. А животные не аутисты. Произвольность галлюцинаций составляет мистическую сторону человеческого бытия, его неозначенное, которое особенно отчетливо видно в первобытной культуре. А также в современной культуре симуляций.

§ 24. Большая галлюцинация

15 В галлюцинации мир потерял свой стебель и стал ризомным. Ризома не боится разрывов, в ней все может быть связано со всем. Галлюцинация как ризома начинает ветвиться в точке разрыва, ускользя в пустоту.

Большая галлюцинация возникает в хаосе взаимных действий аутистов, придавая им непреднамеренную скоординированность. Мыслящий хаос — это не броуновское движение, не то, что противостоит линейной упорядоченности, а то, что само из себя без внешних причин порождает порядок. К мыслящему хаосу не приспосабливаются, в нем живут. Суггестивное действие тотема — одно из возможных ветвлений большой галлюцинации, которая в тебе действует на тебя. Большая галлюцинация является неузнанным действием самости, которое характеризуется тождеством символа и символизируемого, проекцией грезы вовне. Большая галлюцинация ограничивает произвол аутистической мысли людей, делая возможным их совместное существование.

§ 25. Чувство

30 Чувство — это несколько галлюцинаций, склеенных эмоцией. Чувство возникает в ритуале или в игре как привилегия немногих. Эмоция не принадлежит никому и поэтому она может быть у каждого. Она может показать себя у одного человека или у группы людей. Эта группа может быть большой или маленькой. Она может быть связанна симулякрами или интересами. В чувстве мир раскрывается таким, какой он есть. Архаическое чувство амбивалентно, в нем всегда существует два чувства и туннель между ними. Если бы не было синергии чувств, то тогда одному чувству соответствовало бы одно существо, а другому другое и вместе им было бы не ужиться. Благодаря беспредметности между чувствами совершается однородный переход. Чтобы вы-

40 *разить амбивалентное чувство в языке, нужно складывать слова. Например, страхорадость* — это слово-бумажник. В нем страх неотделим от радости, а радость — от страха. Дифференциация чувства принадлежит культуре, ее знаковым фильмам.

45 § 26. Тотем

Идея реальности разрушает идею присутствия в сверхреальном. Сама реальность может пониматься как окаменение идеального, опредмечива-



ние импульса собственной актуализации аутиста. Но любая реальность не может служить местом пребывания человека в самом себе. Она может лишь обозначать, указывать на него. «Я сам» — языковая формула аутизма. Архаическая формула самости — тотем, который одним тем фактом, что он есть, указывает на то, что люди могут что-то сами. Тотем не субъект, но та случайная материя, зацепившись за которую эмоционально нестабильные процессы могли стабилизироваться. То есть люди могли самими собой начинать новый ряд явлений.

Галлюцинация — это глина самости. Эмоции — клей, которым произвольно склеиваются галлюцинации. И создаются образы. Их видят. И видимое, как в кино, проецируется на экран природы. Эмоция возникает не в отношении к предмету, а в отношении к самому себе и в отношениях к таким же, как и ты.

Первосознание нужно для того, чтобы вызвать галлюцинацию *смерте-жизни* и прочесть ее как смерть, если были нарушены большие галлюцинации. То есть правила отношения к тотему, к архаическому образу *Мы*.

§ 27. Стыд и симптом

Чувство стыда является жалким остатком архаического чувства в том смысле, что ты в нем действуешь на себя. Вот это самодействие и составляет смысл всякого чувства, являясь напоминанием о нашем аутистическом начале. Стыд действует на тебя изнутри. Он затрудняет твоё дыхание. От него можно умереть. Внутреннее самодействие может разрешиться в неадекватное внешнее действие или в физический симптом. Например, в физиологически необоснованную хромоту. То есть симптом — это не знак внутреннего состояния, а результат его действия. Само внутреннее состояние нельзя зафиксировать физически, а его результат — можно. Например, возможна истерическая слепота, причиной которой является идеальное, а не физическое. Воображаемое, а не языковое.

Объектом репрессии воображаемого является воображающий. То есть воображаемое возникает как надзиратель, как полицейский в гражданском обществе. С тем отличием, что этот полицейский сидит у каждого внутри, как идея.

§ 28. Радость узнавания

Реализованная галлюцинация — это первобытный театр, образ, способ представления вещи и одновременно способ узнавания себя. Вовне головы архаического человека совершается то, что будет потом у него внутри. Галлюцинация, как первосубъективность, принадлежит коллективу. Она обладает социоразличительным эффектом. Без нее нельзя отличить своих от чужих. С появлением образа появляется возможность быть в качестве *Мы*. Это бытие впервые обнаруживается в магическом танце, в первобытном хороводе, в депривации пещеры или дольмена.

В состоянии депривации часть вещи принимается за вещь, за само целое. Поэтому возникают действия, направленные на часть, чтобы воздей-





ствовать на целое. Эти действия называют магическими. Чтобы воздействовать на человека, можно воздействовать на его тень или на его имя. Магия имеет две формы: изображения и заражения. Изображение восполняет то, чего нет. Оно должно быть подобно оригиналу. Над изображением, например фигуркой из глины, можно колдовать. Заражение действует, как в детской игре в пятнашки, через прикосновение. Прикасаясь, передают сущность от одного человека к другому. Заражают его.

Освобожденные силы воображения образуют символический порядок действия. Например, они делают возможным похищение души. Человек, узнав, что у него похитили душу, умирает.

В Южной Африке бушмены устраивали моления о дожде. Эти моления сопровождалась жертвоприношениями. Жертву — ребенка — кладут в центр круга, накрывают полотном, произносят заклинания. Затем колдун снимает покрывало. Все видят: ребенок мертв. Такова сила коллективного представления и, следовательно, сила эмоционального переживания. В этой ситуации действует не слово-перекресток, а слово-галлюцинация.

Галлюцинация всегда кому-то принадлежит. Она чья-то. Образ одних сплачивает, других отделяет. Разрыв между людьми связан с запретом на прикосновение к тому, что стало образом, реализованной галлюцинацией коллектива. Образами дифференцируется изначальная эмоция-монолит. Появляется радость узнавания. В копии, в двойнике вещи узнается вещь. Искусство начинается с радости узнавания, с реализма. Чем дальше от галлюцинаторного начала, тем слабее радость, тем меньше узнавания. Абстрактно-геометрическое начало искусства указывает на забвение истока, на дефляцию изначальных образов и доминирование слова. И всякий раз, когда люди перестают реализовывать галлюцинацию, теряя контакт с образами, искусство вновь возвращается к началу, к первобытному, переживая радость рождения эмоции. Искусство начинает с реализма, а заканчивает абстракцией, пульсируя между бытием и ничто. Попыткой вернуться к первобытной радости узнавания вещи и самого себя, к архаическому чувству принадлежности к целому, переплавляются знаки культуры, составляются новые конфигурации образов.

§ 29. Образы

Образ — это чувственно воспринимаемая вещь, за которую зацепилось зыбкое сознание аутиста, его галлюцинация. И вместо того чтобы рассеяться во времени, эта галлюцинация застряла в пространстве. Образ становится точкой выпадения сознания из потока времени. В образе сознание уже не поток. Напротив, оно в нем противостоит времени.

В образе совершается дипластия, соединение чувственного и сверхчувственного. Существование человека носит иконический характер, и в этом смысле оно противостоит семиотическому коду, сопротивляется редукции к знаку. Более того, образ противостоит мысли. Если бы не было такого предстояния образа, то мысль была бы невозможна. Ей неоткуда было бы взяться. Мысль не рождается из мысли. Она появляется из образа, а не из знака. Поэтому тому, кто хочет помыслить, нужно суметь еще

сообразить. Галлюцинация, не зацепившаяся эмоционально за какую-либо случайную материю, составляет не образ, а фантазм.

Воображаемое начинается в абсурде, проходит от пещеры до стадии зеркала и заканчивается в раздвоении инстанции Я. Всякое Я настолько же принадлежит языку, насколько оно принадлежит и порядку воображаемого. Я — предмет распрей между воображаемым и языковым, между образом *Мы* и образом *Другого*. Это спорная территория. Воображаемое производит Я от образа *Мы*. Символическое заставляет узнавать себя в *Другом*. *Другой* — это не тело. Это — язык. Говорить — значит быть в порядке *Другого*. Образ немет в порядке языка, ему неудобно в языке.

Я — пустое слово языка и одновременно представление воображаемого. Воображаемое видит. Язык называет то, что увидели. Не все, что можно увидеть, можно рассказать, поименовать. Воображаемое смотрит и показывает. Язык говорит и доказывает.

Агрессия языка состоит в том, что он полагает в существующем только то, что названо, обозначено. Тем самым язык берет на себя функции фильтра, сита, отделяющего то, что существует, от того, что не существует, то, что названо, от того, что просто увидено. Инстанции Я в порядке языка уготована роль центра сопротивления воображаемого. В пустом Я воображаемое опустошается и заменяется виртуальной реальностью пустых знаков.

Образ — это не представление. Ибо представление предполагает то, что представляется. Образ лежит у истоков репрезентации, как ее условие. Идея о том, что образ — это всегда образ чего-то, вводит в заблуждение, ибо она образ уподобляет фотографии, у которой был референт, оставивший след на снимке. Образ — это не след объекта, существующий в памяти. Образ полагает отсутствие референта и, следовательно, он должен мыслиться не в терминах реального отсутствия или присутствия. Образ — это не образ чего-то, не след и не представление, а определенное эмоциональное переживание, галлюцинация, закрепленная в материи случайного. Образ открывает поле воображаемого, символического, того, чего не было, но что уже эмоционально существует. Образ — это объективированная галлюцинация. Необъективируемая галлюцинация существует как фантазм, как то, что нас беспричинно тревожит, беспокоит.

У животных нет образов. Образы появляются во тьме пещеры, в забвении реального. В образах находится какая-то часть первобытной бессмыслицы. В каждом образе уже упакован мини-абсурд.

Образ — это возможность действовать не под воздействием непосредственного восприятия вещи, а по имманентному смыслу. По словам Выготского, ребенок до двух лет, глядя на девочку, которая сидит, не может сказать, что она идет. Сказать не то, что есть — это болезнь, которую получили люди на стадии пещеры. Говорить бессмыслицу «снег черный» значит для человека быть нормальным. А невозможность говорить бессмыслицу указывает на то, что ты ненормальный, больной. Что у тебя нарушение речи. Благодаря воображаемому, человек может смотреть на небо и называть его морем. Больной, умея писать левой рукой, не мог имманентно написать фразу «я хорошо пишу правой рукой», ибо он не мог допустить расхождение между идеальным и реальным, между видимым и смысловым.





Вещам присуща побудительная сила. Это знали Икскуль, Левин, Выготский, Кляйн. Например, стог сена побудителен для овцы, капуста — для кролика. Кролик и овца обладают побудительной силой для волка. Не может волк пройти мимо овцы и не задрать ее. Побудительная сила вещей, как магнитное поле реальности, притягивает и отталкивает, но не отпускает. Во внешнем всегда есть то, что соответствует внутреннему плану организма. В нем есть, как говорит Икскуль, значения.

Обладают побудительной силой вещи и по отношению к людям. Дверь требует, чтобы ее открыли и закрыли. Звонок, чтоб в него позвонили. Лестница, чтоб по ней спустились или поднялись. И дети, как правило, подчиняются этой силе. В игре происходит депривация — отделение от вещей. То есть реальность заставляет подчиниться побудительной силе вещей, а воображаемое отвечает ей игрой. Ситуационная связность основывается на связи восприятия и эмоции реализуемой в действии, а игра разрывает эти связи, переключает эмоции. Всякая эмоция стремится воплотиться в образы, а не знаки. Если бы образы стали знаками, то они перестали бы вызывать в нас эмоции. Поэтому первообразы соответствуют не реальности, а эмоциональному потрясению, переживаемому людьми. Образы склеиваются, объединяются, если они соответствуют одному эмоциональному настроению.

Наскальные рисунки — это попытка первочеловека изобразить галлюцинацию. Поймать ее зыбь, прояснить тусклое мерцание чего-то зримого. И если это зримое померещится в каком-нибудь изгибе камня, в линии рога, то остается там его и пометить, слегка поправив. Вот этот трансфер, перенос галлюцинации вовне, на стену, в камень, в глину и создает образ. И одновременно искусство. Ибо этот образ не у тебя в голове, не в твоих ощущениях, а там, в пещере, на скале. А между ним и тобой сознание.

И тебе можно передохнуть, сбросив нервное бремя. Образы нужны для этого сброса. В этот предметный образ уже можно всматриваться. Его можно потрогать. К нему могут прикоснуться и другие. Этот образ видит все племя. Все люди пещеры. У натурального объекта появляется копия, двойник. И этот двойник будет вмешиваться в отношение человека к тому, двойником чего он является. Двойники-образы, двойники-знаки начнут окружать архаического человека, создавая для него видимый мир культуры.

Речь позволяет человеку освободиться от непосредственных впечатлений о предмете. Дистанцироваться от него. Образовавшаяся пустота заполняется образами. Если я смотрю на желтый карандаш, а мечтаю о зеленом, то я воображаю. Смотреть на снег и говорить, что он черный, — это тоже воображать. Увидеть в одном пере всю птицу — значит воплотить образ.

В теории образа важны два понятия: след и сила. Сенсорный след ускользает. И мы захвачены его поисками. И он, как навязчивая мелодия, нас теперь не отпускает, не выходит у нас из головы. Навязчивое ускользание следа сопровождается усилием по его воспроизведению. Чтобы настичь то, что оставляет след, нужно сойти со следа, устроить засаду и воспроизвести его копию. И это будет образ, который дан не только в виде двойника, но и в форме деятельной способности по его воспроизведению.

Образ — это активное нащупывание копии оригинала. Воображение тренирует аутизм: грезы, мечтания, игры. Нужно заметить, что теория образа П. Гальперина противоречива и неоправданна. Гальперин связывает образ и наличное существование, приписывая образу предикаты идеального и материального одновременно. В психологии Гальперина волки полагают идеальных овец и решают проблему перехода от абстрактного к конкретному.

§ 30. Дипластия

В «Законах» Платон анализирует очевидный факт: на нас действует множество внутренних влечений и каждое из них тянет нас в свою сторону. Это стадия хаоса, несовпадения с собой. Затем появляется бинаризм: два противоположных друг другу влечения. На этой стадии нам нужно в один и тот же момент совершить два исключаящих друг друга действия. Но это невозможно. Так из хаоса возникает абсурд. Эти действия нужно, во-первых, разграничить и, во-вторых, разъединить во времени. Платон полагает, что каждый человек должен следовать только одному из влечений, ни в чем от него не отклоняясь и одновременно тормозя действия остальных влечений. Что это будет за влечение — пьянство или воздержание от пьянства — неважно. Важно от него не отвлекаться. Это и будет священным руководством разума. Для того чтобы разум управлял человеком, нужно человека уподобить кукле. Если человек — кукла, он следует одному влечению. А поскольку их всегда два, постольку можно разграничить порок и добродетель. Если же человек не кукла, то тогда боги не дергают его за ниточки. Человек теряет разум и, следовательно, перестает различать добро и зло, не следуя чему-то определенному. В итоге наступает хаос, эмоциональная дипластия. Поэтому, пока мы куклы — мы добродетельны, но за нашей добродетелью скрывается абсурд человеческого существования. Если мы когда-нибудь захотим устранить дуальность, двоицу и попытаемся показать, что есть только одно-единое, то у нас ничего не получится. Вместо одного-единого выскочит двоица, и мы вернемся к абсурду, а не к абсолюту.

Дипластия — это не дихотомия. Дипластия сдваивает в одно целое прямо противоположное, совмещает несовместимое. Дихотомия делит на двое, раздваивает. Дипластия является способом существования воображаемого, которое действует на человека очарованием абсурда. Поскольку дипластия не делится на противоположности, постольку она не допускает возможности существования ноля. Ноль существует в символическом порядке и работает по принципу «либо — либо». Либо положительное, либо отрицательное. Он не терпит никакого совмещения несовместимого. Ноль своей прозрачной нейтральностью убивает в дипластии абсурд. Он пуст. А дипластия есть то третье, что старше первого и второго. Было бы наивно усматривать дипластию в субстанции без модусов, в трансцендентальном субъекте.

Дипластия — это укрытие для абсурда, для двух исключаящих друг друга тотемов. А где два, там и один, и это одно составляет целое, в котором ра-

5

10

15

20

25

30

35

40

45





ичность оказывается древнее двоичного¹⁹. Всякий порог между полярностями долго остается сакральным. Если есть полюса, и они меняются местами, то есть и точка их перекрещивания. Пункт, где они сливаются. И эта точка древнее их полярности. Это дипластия. Сдвоенность полярного в точке слияния реализуется в сакральном ритуале. Это та двоица, которая рождает единицу. Согласно Валлону, или ничего нет в мире, или сразу два. И эта двоица начинает мир человеческого мышления. Она его атом, далее неразложимый элемент, а не те элементы, из которых двоица состоит. То есть суть дела в реке, в том, что соединяет берега, а не в самих берегах. Без реки берега были бы невысмыслены. Поэтому мысль начинается с целого, с атома, а в нем две единицы, левое и правое. И одно не существует без другого. Как *Мы* не существует без *Они*. А потом еще единица, т. е. уже три.

В дипластии упакованы два исключаяющих друг друга явления. Отождествление несовместимого — это абсурд. Сначала абсурд, т. е. двоица, а затем смысл, т. е. единица. И тройка, как осуществленный смысл. Из онтического порядка дипластия перемещается в речь. Появляется речевая дипластия, изобразительная, бытовая.

Клей дипластии — в эмоции. Всякое чувство человека — амбивалентно. Монотонное повторение одного и того же убивает чувство. Дезактивизирует эмоцию. Дипластия срывает нормальную жизнь животного и создает условия для жизни человека. Дипластия противостоит дихотомии. Дипластия — это абсурд. Дихотомия — антонимична. В ней — выход из абсурда. Метафора — цветок абсурда. Его реализованная плодотворность. Монотонное повторение одного и того же, конечно, логично. Но можно быть логичным и неумным. В тавтологии абсурд увядает, засыхает. Деабсурдизация дипластии требует усилий по осмыслению бессмысленного. Но смыслы могут появиться только потом, после бессмыслицы. Абсурд невыносим для психики животного. Но в силу выворачивания вывернутого он создает вариант нервной системы для человека.

Первые слова ребенка, как и четыре первых слова Н. Марра, содержат в себе дипластию мысли и эмоции, образа и жизни. Дипластия раскрывается в андрогине Платона, в том, до чего ничего нет. Андрогин — исток и одновременно ключ, открывающий деабсурдизацию сущего. Он не пребывает в том, что следует после него: в мужском и женском. Он рядом с ними, но не в них. Что образует совершенство троичности. Отождествление мужского и женского дает не андрогина, а гермафродита. Или кентавра, т. е. существо вне собирающего истока. Существо случайных отождествлений. Сдвоенность дипластии заменяется раздвоенностью бинарной оппозиции. Правое — левое, или — или, вверх — вниз, *Мы* — *Они*. Дипластия может вырождаться в пару одинаковых элементов. А это уже повтор, серия, которая отражается в орнаменте, в ритме. Но она может дать начало и для нетождественного, противоположного. Что может быть основанием для социальной дифференциации.

В дипластии нет ни знака, ни значения, ни плюса, ни минуса. Соединение двух дипластий дает трипластию. А совершенство троичности в том,

¹⁹ Валлон А. От действия к мысли. М., 1956.

что в ней появляется общее. То, что можно сообщить. Если в трипластии один элемент общий, то два других оказываются взаимозаменяемыми. Взаимозаменяемое будет выступать знаком для общего элемента. Два знака и одно значение. И это будет один горизонт развертывания трипластии. Другой горизонт — это когда в трипластии образуется один знак и два значения. Или две вещи, обозначаемые одним понятием. В трипластии мыслимы обобщения²⁰.

§ 31. Счет

Приравнивание нулю есть начало счета и перечисления. Ноль позволяет поставить объект в счетный ряд. Палеолитическая культура знает украшения из одинаковых костяных бусин. Следовательно, ей была известна процедура установления неотличимости одного предмета от другого. А это уже приведение к серийности полных подобий, которое известно в орнаменте и танцах. Бесконечность серии достигается хороводом, а также колесом или обручем.

Перечисление не является еще счетом, оперированием числами. И только серии полного подобия дают возможность счета. Одно дело, когда тебе нужно перечислить, что у тебя на столе, а другое — построить серию из одинаковых объектов и сосчитать. Для этого должно быть начало и конец. И главное, нужно считать не предметы, а интервалы, ибо они абсолютно тождественны. Поэтому когда я говорю «раз», мне уже нужно два предмета, число «два». Два значения предполагают три предмета. Тройка выражает различие предметов. Двойка — безразлична к ним. Поэтому есть четные и нечетные числа, различие которых указывает на неустранимый след первичной противоположности двойки и тройки. Чет — это два. Первичное — это не качество. Если бы это было качество, то оно не имело бы никакого отношения ко вторичному. Второе — это не безразличие к первому. Первому не удастся быть первым только благодаря своим усилиям. В этом ему помогает второе всей силой своего запаздывания. Первое является первым при содействии второго. Следовательно, второе обладает первичностью по отношению к первому, нуждаясь уже в третьем²¹.

²⁰ Поршнев Б. О начале человеческой истории. М., 1974.

²¹ Декомб В. Современная французская философия. М., 2000. С. 140.

5

10

15

20

25

30



Глава III

Символический порядок. Синонимия знаков

Краткое содержание главы

Воображаемое начинается в абсурде, проходит стадию пещеры, заканчиваясь зеркальным раздвоением инстанции *Я*, которое создает нестабильную, хаотизированную среду жизни. Воображаемое удваивает реальность. Символическое удваивает *Я*. Всякое *Я* настолько же принадлежит языку, или порядку символического, насколько оно принадлежит и порядку воображаемого. *Я* — предмет распри между воображаемым и символическим, между образом *Мы* и языком *Другого*. Это спорная территория. *Я* нуждается в воображаемом. Воображаемое не нуждается в *Я* как своем субъекте. Зеркало создает субъект из ничего. Оно являет тебе тебя, дает возможность сказать — это *Я*. Зеркало раскалывает мир всеединства. В одной его части *Ты*, в другой *Он*. Тем самым теряется чувство тотальной вины и всеобщей ответственности. Воображаемое производит *Я* от образа *Мы*. Символическое заставляет узнавать себя в *Другом*. *Другой* — это не тело. Это язык. Говорить — значит быть в порядке *Другого*. Значит покинуть воображаемое. Образ немеет в порядке языка, не помещаясь в нем.

Я — пустое слово языка и одновременно представление воображаемого. Воображаемое видит. Язык называет то, что увидели. Не все, что можно увидеть, можно рассказать, поименовать, поместить в пространство языка. Но и не все поименованное можно найти в порядке воображаемого. Воображаемое смотрит и показывает. Символическое говорит и доказывает.

Агрессия символического состоит в том, что оно полагает существующим только то, что названо, обозначено. Тем самым символический порядок берет на себя функцию фильтра, сита, отделяющего то, что существует от того, что не существует, то, что названо, от того, что увидено воображением. Инстанции *Я* в порядке символического уготована роль центра сопротивления воображаемому. В пустоте *Я* воображаемое опустошается и заменяется виртуальной реальностью пустых знаков. *Я* становится местом означивания и, следовательно, силой, производящей реальность.

1. Человека можно мыслить вне связи с языком, как нечто безъязыкое. А язык можно мыслить вне связи с человеком, как что-то нечеловеческое. В первом случае мы имеем дело с антропологией. Во втором случае — с лингвистикой. Указанный разрыв мысли преодолевается в идее человека говорящего, т. е. в философской антропологии, в психолингвистике и т. д.

2. «Человек говорящий» — это событие, типологически тождественное тому, что философы называют «бытием в мире». Только бытие философов — это ловушка для простодушных, т. е. пространство незаметных

подмен и замещений в порядке существования. Когда в ловушку бытия попадает наивный, он прозревает и начинает говорить о себе, как о «человеке в мире», в котором никто не существует сам по себе. Но этот разговор затруднителен для психолога, ибо в его разговоре сталкиваются две независимые друг от друга фигуры: фигуры речи и души. И психологу надо чем-то поступиться, чтобы не умножать сущности без нужды. Этот же разговор затруднителен и для лингвиста, которому нужно выбирать между синтагмой и человеком. Затруднителен он и для философа, ибо философу нужно выбирать между антропологией и онтологией, между локальным и универсальным. То есть философ всякий раз заново решает один и тот же вопрос, а именно: можно ли помыслить мысль вне связи с тем, что мыслит человек. И можно ли в мысли полагать то, что делает человека человеком.

3. Радикальное вопрошание не боится даже поставить вопрос о том, чтобы узнать, а откуда он взялся, этот «разговаривающий человек»? Что? Приставили речь, как пистолет, к голове обезьяны и она заговорила? И из нее получился человек? Или обезьяна долго созревала? Самый смелый ответ на этот вопрос сформулировал Б. Поршневу. Человека сделал абсурд, который сломал инстинкт обезьяны, изолировал ее от вещей, и она сначала стала видеть свои видения и потом заговорила. У нее не было иного выхода.

4. Но тогда речь человека нужно понимать как губку, которая вбирает в себя всю бессмыслицу мира, удаляя человека от абсурда и одновременно сохраняя его в себе. Можем ли мы опираться на такую речь, на такой язык? Не подведет ли он? Стоит ли язык понимать как «дом твоего бытия» или же его следует рассматривать как «проходной двор»?

5. Речь состоит из знаков. Из различий. Знаки тянут за собой сознание, в котором, как в кладовой, хранятся значения. Связано ли необходимостью сознание со знаками или же его можно помыслить вне знаковой связи? Сознание вне связи со знаками — это просто эмоции. А знаки вне связи с сознанием — это следы случайных внутриязыковых коммуникаций.

6. Можно ли, следуя за словом, прийти к истоку слова, к его *архе*? Повидимому, вряд ли. Слово не приведет к истоку. Слово отсылает к слову. Значит ли это, что у слова нет истока? Что вербальный круг нельзя разомкнуть? Вслед за Поршневым мы можем утверждать, что исток есть. Он не рассеивается взаимными отсылками слов. Этот исток в антислове и, значит, в антиязыке. Антислово делает возможным движение к слову. Точно так же, как источник движения к добру лежит в пространстве зла. *Архе* добра — антидобро. Идея антислова порывает с привычкой наглядного мышления, которое демонстрировал Диоген в момент, когда он стал ходить, опровергая тезис о невозможности движения. Антислово — это слово, выставившее свои внутренности наружу. Это дыхание и одновременно письмо, состоящее из жестов, мимики, сенсорных схем и интонаций. То есть антислово существует вне звуковой речи и вне графических изображений фонем как их условие. Это архиписьмо, а не мычание. То, что предшествует членораздельной речи, а не изображает ее.

7. Стадия антислова воспроизводится ребенком в его движении к слову. Возможно, его следы сохранились в обращении к животным, а также в том, что можно назвать немой речью «уже-сознания».



8. Знаки всегда дуальны, т. е. существует либо два знака и больше, либо ни одного. Обмен знаками рождает значение. Следы, символы и симптомы — это не знаки. Следы и симптомы — это нетелесный эффект взаимного действия тел. Символы — это свидетельство встречи двух исключаящих друг друга субстанций.

9. Если значения являются результатом обмена между знаками, то в этом обмене может участвовать либо два, либо бесконечно много знаков. Знаковый хаос устраняется антонимией, благодаря которой для любого знака найдется другой знак, который его не может заменить.

10. 10. Знаки могут быть пустыми, постъязыковыми, индивидуальными и коллективными. Пустой знак — это знак, у которого есть денотат, но нет референта.

11. Замыслы рождаются немой речью. Но поскольку они не высказываются, постольку переводятся на язык внутренней речи и связанной с ней внешней речи.

12. Каждый человек проходит стадию немой речи и соответствующего ей дословного письма. Немая речь лежит в основе внутренней речи. Дословное письмо — в основе внешней речи. Знак — второе после эмоций изобретение, которое отделило животное от человека.

§ 1. Язык-аутист

Язык — это великий аутист, который говорит о себе с помощью самого себя. Языковой абсурд показывает, что в языке есть нечто, ускользающее от языка, но, тем не менее, принадлежащее языку, как например, хрип — то, что может быть названо антиязыком. Если бы не было антиязыка, то язык, высказав все, что в нем есть, просто бы умер, ибо не мог бы уже быть иным.

Почему язык способен обозначать и выражать нечто? Потому что, как печень производит желчь, так язык производит различия. Эти различия ничего сами по себе не означают. Как ничего не означают различия между листьями деревьев. Кроме одного: все знаки языка связаны друг с другом в систему, которая сама себя порождает. Это система самопорождающихся различий. И неважно, будут ли реализованы эти различия на каком-то материале или не будут. Язык как аутист. У него внутреннее доминирует над внешним. Для самоустройства языку не нужны значения. Значения — это не кирпичи, из которых складывается язык. Если бы значения были бы кирпичами, то тогда из них получился бы не язык, а космос. Постольку язык — это чистое различие, постольку в нем, как в математике, нет физических констант. Но именно поэтому математика — это не физика, а язык — это не слова. И то что язык существует как предметный язык — не дело языка, а дело случая. И так же как жест соединяет воображаемое и тело, так речевой знак соединяет воображаемое и язык. Две самозамкнутые и самодостаточные сферы, которые характеризуются имманентными версификациями своих форм. Им нет нужды выходить за свои пределы.

Воображаемое воображает, а язык говорит с самим собой. В воображаемом время ветвится событийностью, в языке различиями. Пример ветв-

ления из Борхеса: «В большинстве времен мы не существуем; в каких-то существуете вы, а я — нет; в других есть я, но нет вас; в иных существуем мы оба. В одном из них... вы явились в мой дом; в другом — вы, проходя по саду, нашли меня мертвым...»²². Если бы язык был предназначен только для познания, то он не был бы аутистом, в нем не было бы складок и парадоксов. Он был бы гладким, прозрачным и противным, как американская философия. Но язык еще и утешает, и как карта, ориентирует, служит путеводителем и одновременно создает уют. Иногда язык рвется, в нем появляются разрывы, парадоксы, как будто его надевают на что-то превосходящее его по размерам. Искусственные языки существуют только для познания, а не для утешения. Они прозрачны. Но в них нет прочности. Они часто рвутся. Естественные языки непрозрачны, но в них больше гибкости. Они меньше рвутся, ибо в них всегда есть что-то, что не связано с познанием. Эти языки для жизни, а не только для чтения книги природы.

§ 2. Знаки

Знак всегда что-то обозначает, к чему-то отсылает. Он знак чего-то, какого-то означаемого, непохожего на означающее. Знак, который ничего не обозначает, отсылая к самому себе, перестает быть знаком. То есть сам по себе знак — ничто. У знака нет своей сущности.

Знак выполнен всегда в какой-то материи. Знак — это предмет. Например, есть банки с ленточками и банки без ленточек. В банках с ленточками лежат конфеты, а банки без ленточек — пусты. Так вот ленточки — это знаки. Но знаки чего? Какого референта? Они могут обозначать то, что в банке лежат конфеты, то, что в банке вообще что-то лежит, что банка не пуста, что ее нельзя использовать. Знание вариативных значений открывает в знаке возможность означать что угодно. Сами по себе они ни на что не указывают. Для того чтобы они на что-то указывали, их нужно связать с тем, с чем они не связаны по природе. Если бы они были связаны по природе, то эта связь лежала бы на поверхности в поле наблюдения. А знаковая связь — это связь между тем, что наблюдаемо, и тем, что не наблюдаемо. Для того чтобы появилась эта связь, нужно, чтобы было уже-сознание. «Уже-сознание» — это граница натуральности, точка ее негации и одновременно точка расширения того, что подвергается отрицанию. Только в этом расширении появляются содержания, которые не зависят от натуральности. Например, знаковая связь. То есть «уже-сознание» обязательно своим существованием не знакам, а депривации, разрыву с натуральностью, изоляции от вещей. Напротив, знаки обязаны своим существованием «уже-сознанию», которое как исток, как *архе* знаков подлежит знаковому забвению.

Знаки указывают и выражают. Чтобы выражать, знаку не нужно указывать. Чтобы указывать, ему не надо выражать. Вот этот знаковый разрыв лежит в основании оппозиции языка и речи. Если бы никто не хотел что-то сказать, то у знака не было бы и смысла, не было плана выражения.

²² Борхес Х.А. Двойник Магомета. СПб., 2002. С. 57.





А было бы только указательное движение к *Другому*. Всякая коммуникация строится в плане указания. К этому же плану относятся и письмо. То есть всякая письменная речь коммуникативна, диалогична. Хотя *Другой* в ней может быть представлен репрезентативно, а не презентативно.

5 Выражение без указания относится к монологу. Но монолог — это не лотмановская аутокоммуникация. Потому что аутокоммуникация — это обращение к себе как к *Другому*. Монолог — это нулевая коммуникация. В монологической речи может быть выражено все, может быть высказан
10 стираются следы и различия метафизики отсутствия. В ней знаки не представляют, а показывают то, что есть. А поскольку монологи некоммуникативны, постольку в них знаки перестают быть знаками, рассеиваясь перед сознанием присутствия смысла. Монолог — это не речь, или речь, стремящаяся к молчанию. В присутствии смысла молчат. В отсутствие смысла
15 говарят с *Другим*. Вступают в диалог. Иными словами, бесконечность значений знака делает невозможной пробегание по всей цепочке означающих, чтобы сделать остановку у означаемого. Поэтому любая встреча с означаемым происходит за пределами языка. То есть в горизонте как бы уже пройденной бесконечности, в пространстве воображаемого, в точке
20 совпадения имени и именуемого.

 Животные, как известно, не говорят, а издают звуки. Звуки — это фонетическое средство дать о себе знать. Например, волк воет. Или рычит. Этот рык является для многих животных раздражителем. Но физико-акустически он неотличим от свистка паровоза. Кухаханье курицы имеет ту же физиолого-
25 вокативную сторону, что и кваканье лягушки. Некоторые исследователи пытались составить словарь знаков птиц и животных. В том числе и куриного языка, в который вошло 16 знаков, а именно: хозяин близко, опасность далеко, ястреба не видно и т. д. Другие исследователи, изучая обезьян, насчитали в их языке 32 слова. Этот список пришелся по душе Л. Выготскому, полагавшему,
30 что у животных есть речь. И что это эмоциональная речь. Более того, согласно Выготскому, голосовые реакции животных лежат в основе возникновения и развития человеческой речи²³. Но речь человека произошла не из этих звуков. Для того чтобы появилась речь, нужны были знаки, нужна онтическая инверсия, в результате которой «уже-сознание» расщепляется на переживание и
35 независимый от переживания язык его понимания. Если язык будет зависеть от переживаний, то знаки в нем не появятся. Поскольку они будут выражать состояния, а не обозначать их. Поскольку язык создавался для «уже-сознания», а не для мысли, постольку в нем были невозможны планы выражения и указания. «Уже-сознание» не выражает, а внушает. Условием существования
40 знаков становится эмоционально нейтральный язык и поселение в этом языке пустоты Я.

 Знак — это предмет, который обозначает или представляет другой предмет. Между знаком и объектом не может быть никакой иной связи, кроме знаковой. Если между знаком и обозначаемым предметом сущест-

²³ См.: *Выготский Л.С.* Собр. соч. М., 1982. Т. 2. С. 100; *Кондратов А.М.* Звуки и знаки. М., 1966; *Лурия А.Р.* Лекции по общей психологии. М., 2004.



уует причинная связь или отношения подобия, то этот знак не может вступить в отношения с другим знаком. Таковы, например, отношения между громом и молнией, дымом и огнем. Содержательные связи мешают обменности знаков. Этот тезис не отменяет так называемые звукоподражательные слова: всякие «ку-ку», «мяу-мяу» и т. д. Для них всегда найдутся параллельные слова в других языках, а также древние формы мотивированных звучаний слов. И хотя в русском языке насчитывается до двух тысяч звукоподражательных слов, было бы глупо думать, что язык возник из подражания звукам. Что «аукать», «жужжать», «фыркать» и «шуршать» раскрывают природу языка. И то, что в речи ребенка машина называется «бибикой», указывает, во-первых, на аутоэхолалию, а во-вторых, на доминирование искусственных звуков, а не на корни происхождения языка. Видеть в подобии дремлющий знак, значит быть Дон Кихотом, который видел врага в ветряной мельнице. Из того факта, что самолет подобен птице, не следует, что птица — знак самолета.

Звуки животных атомарны. Они не имеют никаких отношений между собой ни по подобию, ни по различию. У животных нет синтаксиса. У них нет ни речи, ни эмоций. Ибо эмоция всегда амбивалентна, а животные и амбивалентность несовместимы. Тогда возникает вопрос: почему животные понимают, как настроен человек? И каким образом человек понимает настроение животных? На эти вопросы легче ответить, допустив, что и у человека, и у животных есть что-то общее. Это интонации. И они узнаются по форме проявления. Поэтому между животным и человеком складывается невербальная коммуникация, равно как она складывается между цивилизованным человеком и туземцем. Хотя у животного есть только нервно-психическая реакция на ситуацию, но нет эмоций, нет того, что переживается. Ведь для переживания должен быть экран удвоения, создаваемый депривацией. А его-то как раз у них и нет. Животное реагирует на звуки, запахи, интонации, тембр, на позы, но не на знаки. Между животным и человеком нет общей предметности образов. Возникновению этой образности мешает инстинктивный тип жизни животного. Для животного все звуки лежат в одной плоскости, в том числе и звуки, произносимые человеком. Для человека — речь лежит в одной плоскости, все остальные звуки — в другой.

§ 3. Звук и смысл

Звуки мы слышим. Цвета мы видим. Связан ли звук с цветом? Можем ли мы однородным и непрерывным движением перейти от звука к цвету, от цвета к форме и наоборот? Если мы ощущаем форму, то это ощущение дискретно, атомарно. Оно никак не связано с ощущением звука. Между ними нет никаких переходов. Но все-таки эти переходы существуют. Если бы их не было, то не было бы образов. Мы бы перестали видеть предметы. А видели бы только разрозненные штрихи, черточки, пятна и звуки, то есть были бы погружены в хаос.

Эмоция — это как тоннель хаоса, подземный переход между ощущениями. Эмоции притягивают к себе все эти штрихи и пятна, звуки и цвета.

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Но чтобы склеивать все это в образы, эмоция должна быть однородной, беспредметной, как настроение.

Беспредметная эмоция континуальна. Она как лента Мёбиуса, включает в себя всю бесконечность возможных дифференциаций. В ней слиплись за-
 5 родыши всех эмоций, их верх и низ, плюс и минус. Если бы эмоции потеряли бы свою амбивалентность, они потеряли бы и свойство клея, то качество, которое позволяет им быть однородным переходом между противоположным. Поэтому мы можем нырнуть в эмоциональный тоннель со звуком, а вынырнуть — с формой. Звук будет эмоционально переживаться как форма. А это
 10 уже образ, то, что не существует само по себе. Это сознание. То есть переживание не действия, а отношения к действию. Например, низкий звук соответствует темному цвету потому, что у них одна эмоция. Тогда как резкий звук эмоционально тождественен возбуждающему цвету красного.

Имеет ли звук сам по себе значение? На этот вопрос существует два
 15 ответа: 1) не имеет, 2) имеет²⁴. Согласно Выготскому, звук и значение едины. Если разорвать это единство, то будет разорвана связь между мышлением и речью. Поэтому Выготский полагал, что у слова есть внутренняя сторона, то есть значение. И значение от слова неотделимо. Если бы звук сам по себе имел значение, то можно было бы иметь дело не со звуками, а
 20 со значениями. Звуки стали бы знаками значений, т. е. перестали бы быть звуками, что нелепо. Звуки можно встречать в метро, в автобусе. Но нельзя ехать вместе со значением звука. Звуки мы встречаем, а значения, которые бродят сами по себе, еще никому не попадались на глаза. Мир переполнен искусственными звуками, которые вытесняют естественные звуки.
 25 Я не слышу, как журчит ручей, зато я слышу, как работает сигнализация, установленная на автомобиле моего соседа, которая не только кричит по ночам, но еще и подмигивает, подает световые сигналы. И звук, и свет взаимно заменимы. Они говорят мне о том, что у меня будет бессонная ночь, а хозяину они говорят о том, что его автомобиль в опасности. Таковы их ситуативные значения. Но эти значения существуют не сами по себе, а в моем сознании и в поле сознания, структурированного соглашением между хозяином автомобиля и изготовителем сигнализации. Для первого — это сигнал об опасности, который требует нервно-психической реакции владельца
 30 автомобиля. Для второго — надежда на прибыль. Сигнал — на улице. Значение — в голове у человека. То есть опасность может быть упакована не в понятие, не в адекватную форму, а в различные материальные вещи: звонки, звуки, замки, запоры, камеры слежения и т. д. Не будет опасности, не будет и значений, хотя звуки останутся.

Почему же люди предпочитают одни звуки другим? Предпочтение зависит от того, как человек установит себя в мире, от случайности его доопределения, а не от объектной структуры мира. У звука появляется смысл в горизонте «уже-сознания». Возьмем любимое психолингвистами стихотворение А. Рембо «Гласные». В нем А — черно, Е — бело, У — зеленое, И — ярко-красное, О — небесного цвета. «Вот так, что ни день, что ни час, Ваши скрытые
 45 свойства беру я на цвет и на глаз, Вас на цвет и на запах я пробую, гласные».

²⁴ Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М., 2001.



Рембо попробовал «А» и понял, что оно черное. А я попробовал это гласное на вкус и понял, что оно красное. То есть на вкус и цвет товарищей нет. Л. Толстой видел людей геометрически, т. е. в форме геометрических фигур. Один — круглый, другой — овальный. Третий — треугольный. А Рембо видел буквы в цветах. А. Скрябин усматривал уже звуки в цветах. Сопряжение цвета и звука существует в воображении композитора. В своей книге «О духовном в искусстве» Кандинский попытался найти связь между звуком, цветом и геометрической формой. Например, он полагал, что желтый цвет, заключенный в геометрическую фигуру, напоминает звук трубы²⁵. К. Петров-Водкин считал, что цвет, заключенный в форму, уже сам по себе дает образ.

Конечно, можно исследовать стереотипное восприятие разных звуков — спрашивать, какой звук грубее «р» или «л», интересоваться, что больше «о» или «и». Но, если бы мы задали эти вопросы представителям разных культур, разных географических зон — леса, пустыни, гор, степи и т. д., — то увидели бы решительное несовпадение ответов. То есть мы увидели бы разные стереотипы. Еще более интересными могли бы стать исследования ответов на эти вопросы жителей больших городов и сел, а также каких-нибудь племен. Стандарты восприятия звуков здесь показали бы еще больший разброс в оценках. Как разнообразна реакция на слово «хлеб» в разных культурах: у русских это слово вызывает ассоциацию с солью, у французов — с вином, у немцев и американцев — с маслом, у узбеков — с чаем.

Семантика цвета и запаха этноцентрична. Чукча удовлетворен запахом рыбы, которую он вялит на солнце для собак. Постороннему этот запах кажется крайне неприятным продуктом гниения рыбы. Современные писатели норовят не понимать мир, а приноживаться к нему. Как В. Сорокин. И в этом смысле Л. Толстой кажется ретроградом, которого сумел опередить П. Зюскинд, ибо Толстой не описывал, как пахнут подмышки и прыщи Болконского, не приноживался к интимному белью Элен.

Для русских красное — это красивое, а желтое — листья деревьев осенью. У французов желтое вызывает ассоциацию с золотом и яичным желтком. У американцев — с маслом. Для русских белое — снег, для узбека — хлопок, а у казаха — это молоко²⁶. Но существуют языки, в которых вообще нет слов для обозначения семи основных цветов спектра, а есть только три слова, одним обозначается черное, другим — левая часть спектра, а третьим — правая.

В Индии, чтобы польстить женщине, ее нужно сравнить с коровой, а ее походку — с походкой слона. В России — ласковое название для девушки — голубка. А бестолковый человек — ворона. Японку нужно сравнивать со змеей, татарку — с пивкой. В Египте женщину нужно называть гусыней. В России — это оскорбление.

²⁵ Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М., 1992. С. 49.

²⁶ Залевская А.А. Введение в психолингвистику. М., 1999; Залевская А.А. Слово в лексиконе человека. Психолингвистические исследования. Воронеж, 1990; Залевская А.А. Психолингвистические проблемы семантики слова. Калинин, 1982; Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. М., 2004; Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М., 1974.



Относительность семантики цвета, звука и запаха центрируется «уже-сознанием», которое вяжет и связывает человека не с предметами, а с интеракцией, взаимными действиями людей в ситуации депривации. Вообще-то «уже-сознание» не изобретение цивилизации. Оно скорее предназначено для жизни в ситуации разрыва с натуральностью.

Вопрос о соотношении звука и смысла, о семантике цвета и запаха имеет ту особенность, что он предполагает решение другого вопроса, а именно: можно ли видеть ушами, слушать глазами и приноживаться кончиками пальцев?

Звукоподражание несомненно. Но придавать значение звукам — значит ставить человека перед миром, как Робинзона, один на один. И кто кого означает. Но в этом противопоставлении еще нет ничего человеческого. Здесь достаточно рефлексов. Здесь неуместна речь. Ибо речь вяжет и связывает человека не с предметами, а с другими людьми под знаком идеального. Поэтому звукоподражание вторично. На нем лежит тень речи действия, а не подражания.

«Уже-сознание» имеет дело с вещами, а не с представителями вещей. С запахом, цветом, звуком, временем года. Депривация переводит вещи в план, скрытый от наблюдения. То есть запахи, цвета, звуки, характеристики времен года становятся не признаками вещей, а их воспоминанием, т. е. знаками. Как знаки они заменимы. «Уже-сознание» не различает, а эмоционально, то есть галлюцинаторно замещает цвет звуком, запахом цветом. Оно не знает, что глаза существуют для того, чтобы видеть, а уши для того, чтобы слышать. Поэтому «уже-сознание» видит ушами и слышит глазами, чувствуя всем телом, нутром то, что скрыто. Знаковое сознание приходит в ужас от хаоса и неразумия «уже-сознания». Оно негодует, а душа художника довольна. Скрябин сочиняет цветомузыку. Чюрленис создает звукоцветовую живопись. Рембо сочиняет стихи. Васильев ставит спектакли. Знаковое сознание предает забвению бытие «уже-сознания». Хотя язык по-прежнему хранит следы его бывшего присутствия в таких странных выражениях слов, как «кислая мина», «соленая шутка», «горькая радость», «круглый дурак», «острый ум» и т. д. При этом ум может быть только холодным и не может быть теплым. А чувства могут быть и теплыми, и холодными. Вот эта «абсурдность» чувства и указывает на то, что оно ближе к истоку, к *архе*, к «уже-сознанию», чем мысль.

§ 4. Синонимия

«Уже-сознание» — это не предметное сознание, а условие того, чтобы это сознание было. Оно есть условие возможной связи того, что есть, с тем, чего нет, с нехваткой бытия, которая образуется депривацией. Поэтому речевой знак — это всегда два знака. Или больше. И обозначают они один предмет. Если бы они обозначали разные предметы, то были бы именами. А поскольку их два, постольку они нетождественны. Поскольку они обозначают один предмет. Постольку они равны. И один знак всегда можно обменять на другой знак. Не имея содержательных отношений с предметом, они могут вступать между собой в отношения синонимии. Синонимия делает знак знаком.

Речевой знак — это знак вообще. Это первознак существования идеального. Либо не существует ни одного знака, либо их сразу два и между ними отношения переводимости. Если бы знаки бродили поодиночке — то не было бы идеального. И материей была бы переполнена вся природа. И денотат доминировал бы над знаком. Завыл ветер в печной трубе — знак. Каркнула ворона — знак. Собрались тучи на небе — знак. Знак стал бы каменной значения.

Вообще-то, знак все опосредует. Воображаемое — это невозможность языка. Оно дословно, как рефлекс. Между воображаемым и языком расположена инстанция «уже-сознания». Индивидуальный произвол в горизонте «уже-сознания» никакого значения иметь не может, ибо он устремлен к нулю. Знак существует в интеракции тех, кто помещен не в пещеру депривации, а в пространство языка. Он как мяч на волейбольном поле, который перекидывается между индивидами по правилам аутиста-языка²⁷.

Сами по себе, т. е. независимо от интерпретирующего сознания, знаки — это не знаки, а индексы, иконические образы, следы, симптомы, сигналы и прочее. Классификация знаков Пирса и Морриса напоминает китайскую энциклопедию, в которой «животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классификацию, и) буйствующих в безумии, к) неисчислимых, л) нарисованных тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти, м) и прочих, н) только что разбивших кувшин, о) издалека кажущихся мухами»²⁸. Эта классификация вызвала у Фуко смех, который поколебал все привычки европейского мышления. Незыблемыми остались знаки-индексы, иконические знаки и символы. Теория знаков Пирса и Морриса предполагает уже данным то, что хотелось бы объяснить. А именно: сознание и речь. Поэтому представление о знаках в семиотике является антропологически неподтвержденным.

Идея о том, что знаков либо нет совсем, либо их сразу два, что знаки ходят парами или кучей, — позволяет помыслить знаки независимо от значения, а значения вне связи с сознанием. Если знаки — это логически и исторически речевые знаки, то это значит, что никаких природных знаков нет. Животные нам не подмигивают и сообщений нам не отправляют. Существование существ с полувоображаемым или полуречью невозможно. Чтобы знак значил в отсутствие интерпретатора, нужно, чтобы было два знака. И чтобы один знак обозначал другой знак, значимость которому дает, в свою очередь, уже третий знак. Поэтому значение указывает не на объект, оно отсылает знак к другому знаку.

§ 5. Значение

У каждого знака есть объект, денотат — то, что обозначается. Воображаемое защищает от нападков языка вариативную множественность объекта.

²⁷ Волошин В.Н. Марксизм и философия языка. М., 1993. С. 26.

²⁸ Фуко М. Слова и вещи. М., 1997. С. 31.





А еще у знака есть значение. Только это значение ему дает не наблюдатель, а различие языка. Одно различие — два знака. Один знак языка всегда можно обменять на другой, одно слово объяснить через другое, с одного языка перевести на другой язык. Значение — это инвариант синонимического обмена между знаками, перевода одних знаков в другие и наоборот. Значения, как абстрактный труд, как то общее, что позволяет одну вещь обменять на другую. И наоборот, если обмен вещей произошел, то, значит, случилось и значение.

Значения меняются. Идеальное воображаемого неизменно. Если не будет обмена знаками, то не будет и значения. Есть вещи и слова, которым мы придаем значения. И тогда они для нас что-то значат. А есть слова, которым мы не придаем значения. И тогда они ничего не значат. Вещи могут быть и ничего не значить, а могут не быть и много значить.

Выготский пишет: «Необходимо отличать значение слова или выражения от предметного соотношения, т. е. от тех предметов, на которые данное слово или выражение указывает»²⁹. Например, я говорю: «Победитель при Йене», и затем говорю: «Побежденный при Ватерлоо». Предмет здесь один и тот же. Это Наполеон. А значения разные. Наполеон представляет точку абсурда, то есть то, что уже нельзя помыслить в рамках оппозиции «победитель — побежденный». Наполеон, как ходячая диплантия, делает возможным различие между победителем и побежденным, оставаясь вне этой дуальной структуры. Если бы в Наполеоне примирились различия между победителем и побежденным, то он потерял бы значение, оставаясь простым именем.

В пределах идеальности «уже-сознания» вещи стали не существовать, а значить. Следовательно, люди научились говорить не потому, что им захотелось сказать что-то друг другу, а потому, что, по теории Марра, случилось трение между племенными именами, звуковыми комплексами. И появились слова-монолиты, т. е. еще не членораздельные слова, а какой-то аффективный выкрик, письмо танца. Письмо — это тело, которое существует как орган воображаемого. Этому письму обучаются механически. Так же как обучаются ему дети. То есть без всякого смысла. Без воздействия дисциплинарного ума психологов, которые под значением понимают то, что понятно всем, то есть словарные толкования слов. Вот сказали «стул», и ты знаешь, что это то, на чем сидят. Назначение исчерпывает для тебя значение. А поскольку знак — это всегда два знака, постольку смысл не может быть приписан одному знаку. Он находится между двумя знаками, убегая по цепочке метафор от первого знака ко второму.

Если бы смысл можно было приписать одному знаку, то он был бы всегда на месте, всегда уже здесь. И текст потерял бы смысл, стал бы невозможен, ибо стало бы невозможным переопределение смысла, переозначивание знака. Благодаря тому, что смысл всегда уже не здесь, можно читать и перечитывать заново любые тексты. Значение, равно как и смысл, где-то начинается и где-то заканчивается. Начинается с тождества, заканчивается на пределе. Между существованием в начале и несуществованием в конце находится весь объем значений и смыслов.

²⁹ Выготский Л. С. Собр. соч. М., 1982. Т. 2. С. 162.



Пустой знак — это знак без значений. Когда от того, что есть остается только знак того, что было. Если бы не было пустых знаков, то не было бы и речи, то есть связи между воображаемым и языком.

В значении все мы видим одно и то же коммуникативное целое. Оно, как кухня в коммунальной квартире, принадлежит всем. А вот смысл такого значения всегда индивидуален. Смысл — это твое. К нему применимо притяжательное местоимение. О значении «стула» ты не можешь сказать, что это твое значение. А поскольку значение лишено притяжательных местоимений, а также прилагательных, постольку оно служит для понимания, для коммуникации. А смысл противится коммуникации, избегает ее. Например, при слове «стул» у меня в сознании возникает образ деревянной табуретки. У другого — изящный изгиб венского стула. У третьего — канцелярский стул с прямой спинкой. То есть все мы имеем свои образы, которые отделяют нас друг от друга, создают границы. Если значения универсальны, то смыслы воображаемого локальны. В языке собраны значения. В сознании — смыслы. Речь — это безнадежная попытка смысла проникнуть в язык. Смысл — как бабочка, которая летит на огонь и гибнет. Знаки языка, проникая в поле воображаемого, вытаптывают смыслы, объективируют их, делая абсурдной речь для себя³⁰.

Если знаки — это вещи, то значение — это не вещь³¹. Значение слова «лошадь» — не вот эта данная лошадь. Значение яблока — не это яблоко. Мы едим яблоко, но не едим значение. Умирает лошадь, но не значение лошади. Знаковое различие языка фиксирует идеальное содержание воображаемого. Значения создаются отношениями между людьми, между *Мы* и *Они*. И только потом отношением человека к природе. *Они* — это, конечно, неандертальцы и людоеды. *Мы* — люди. Язык возникает как жест отстранения от них, от тех, кто не такие, как *Мы*. Между *Нами* и *Ими* должно быть непонимание. Если у *Нас* понимание, то *Мы* — это *Они*. *Мы* такие же, как *Они*.

Проблема же состоит в том, что мы все-таки что-то понимаем. Если бы мы ничего не понимали, то мы были бы какими-то инопланетянами. Язык как жест непонимания встречает, все-таки, свой предел в понятности универсально-предметного кода. А это значит, что *Мы* и *Они* где-то пересекаются. И среди *Нас* есть *Они*, но такие же, как *Мы*. И среди *Них* есть *Мы*, но такие же, как *Они*. Так появляется категория тех, кого называют *Вы*. *Вы* — это не *Мы*, но это и не *Они*. *Вы* — это *Они*, которые с *Нами*. Для женщин — это мужчины, для взрослых — дети, для бедных — богатые.

Но если есть пересечение или даже касание между *Нами* и *Ими*, то, значит, есть и те, кому приходится прятаться, а также скрывать, утаивать от *Нас*, что *Они* — не *Мы*, а от *Них* — что *Они* такие, как *Мы*. Двойственность пересечения *Мы* и *Они*, утаивание этой двойственности, порождает внутренний мир человека, который требует плана выражения. План выражения и план значе-

³⁰ Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999; Алиференко Н.Ф. Спорные проблемы семантики. Волгоград, 1994.

³¹ Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. М., 1993.

5

10

15

20

25

30

35

40



ния совпадают. А это значит, что отношения между *Нами* и *Ими* носят неозначенный характер «уже-сознания». Знаки изобретают те, кому есть что скрывать, кто одновременно отсрочивает свой рассказ, затормаживает его, отодвигает. Знаки выражают внутреннюю жизнь на фоне невыраженного. Только благодаря существованию несказанного, невыразимого, знаки что-то выражают. Получают значение. Внутренняя жизнь тех, кто входит в состав *Вы*, наделяет знак значением. Но это означивание предполагает обмен эквиваленциями между *Мы* и *Они*, благодаря которому возникает дипластия *Вы*.

Значение мыслимо либо в терминах переживания, либо в терминах обмена знаками, т. е. как скрещивание разных сил, как перекресток. Как переживание оно не нуждается в слове-перекрестке, в диалоге *Я* и *Ты*. В этом случае оно создается напряжением между означенным и неозначенным, между языком и воображаемым. Если я говорю «свинья», то я не имею в виду ту свинью, с которой имеет дело мясник или животновод. Для меня это ругательное слово. Существуют ли свиньи на самом деле или не существуют — для меня не имеет никакого значения.

Если отделить знаки от внутренней жизни человека, то мы получим язык, который существует сам по себе. Единицей этого языка будет предложение, сочетание слов или слово. Но все эти единицы будут носить грамматический смысл, а не антропологический. Если же знаки не отделять от жизни человека, то получится антропологический поворот лингвистики. Единицей речевого общения тогда будет высказывание.

Поскольку знак — это два знака, постольку у знака нет натурального объекта. У него есть то, что Бахтин называл «темой знака». Каждый знак имеет свою тему, которая специально акцентирована. Акцент темы межиндивидуален. В крике животного нет акцента, нет смещения в сторону других. Животное действует без оглядки на интеракцию. Лишь бы только ему было удобно, а как там устроились другие — неважно. Следовательно, крик животного — это чистое натуральное явление. Поэтому в нем нет даже зачатков знакового оформления. Язык антропоцентричен. Лингвистика деантропологизирует язык, культивируя его системоцентризм³².

§ 6. Индивидуальные знаки

Синонимия — это барьер, плотина, за которой могут гулять знаки-одиночки, знаки-изображения. Один знак — это ползнака. Это имя, вход в воображаемое. Язык с полным набором имен возможен. Но этим языком можно выражать только эмоции. Это будет язык воображаемого. На нем нельзя ничего сказать. В одном знаке нет смысла, нет информации. Если же один знак обладает информацией, то это бракованный знак. Например, знаки-индексы относятся к знакам по недоразумению. Ибо между ними и объектом есть содержательная связь. Причинно-следственная. Между дымом и огнем не знаковая связь, а причинная.

³² Степанов Ю.М. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975; Караулов Ю.Н. Язык и личность. М., 1989; Серебренников Б.А. Язык и порождение речи. М., 1991.

Знаки по сходству — это тоже не знаки. Это следы, которые много говорят о наследившем. И могут к нему привести. Хотя ни один знак не может содержательно привести к означаемому. Свойства знака не порождены свойствами объекта, которые он обозначает. И сигнал — это не знак, а раздражитель для рефлекса. Элемент объектной ситуации.

За одним знаком всегда скрывается сознание, которое наделяет его смыслом. За бинарными знаками нет сознания. Имя не относится к знакам. У имени нет значения. Имя — это неозначенный жест, т. е. граница, пролагаемая жестом между именуемым и всем остальным. В этом, возможно, состоит тайное значение имени. Имя, собственно, не зависит от обозначаемого. Оно стоит в современной речи как памятник архаики, напоминая о том времени, когда слова не имели значения. Племенное имя было одним на всех, как социоразделительный признак. Затем появляется индивидуальное имя. Вот у тебя родился ребенок. И тебе нужно дать ему имя. Но чтобы дать имя, его нужно у кого-то взять. Имена на дороге не валяются, нельзя взять имя напрокат, на время. Взять — это значит отнять, т. е. убить кого-то, чтобы овладеть его именем. Имя — это самое ценное, что есть у человека. Это то, что делает тебя элементом символического порядка, т. е. делает тебя нашим, в отличие от них, от чужих. У людей своего племени нельзя отнимать имя. Поэтому отнимают имена у чужого племени. Этим занимаются охотники за головами, которые отлавливают человека из чужого племени, заставляют его назвать имя, затем отрубают голову и хоронят ее в месте, о котором никто ничего не должен знать. После этого ребенку дается имя убитого. Это имя, кроме родителей, не знает никто. Его никому нельзя сообщать. Потому, что тот, кто знает настоящее имя человека, может сделать с ним все, что угодно.

Все знаки коммуникативны. Но если я завязал узелок на память, то это знак индивидуальный. Индивидуальные знаки антикоммуникативны. Они возникают как редукция перевознака. Как прерывание коммуникации.

Представление о том, что крик, с которым рождается ребенок, постепенно превращается в знак, основано на неразличении сигнала и знака. Крик — сигнал, рефлекторный импульс, которым научается пользоваться ребенок. И в этом смысле крик ничем не отличается от улыбки. Одичавший человек, изучив повадки животных, может своим криком управлять его инстинктом. Например, он, как Маугли, может заставлять животное принести ему пищу.

Роль знака может играть выразительное отсутствие знака. Тебя спрашивают, а ты молчишь. Не отвечаешь, т. е. говоришь «нет». Хотя в иной ситуации молчание — знак согласия. Или вот ты ожидал увидеть на лице улыбку, а ее нет. Есть выразительное отсутствие этой улыбки. Поэтому отсутствие знака в знаковой ситуации — это тоже знак.

В индивидуальном знаке нет никакой информации. Это метка. Информация есть в сознании, а индивидуальный знак напоминает об этом. Поэтому там, где речевое сознание, — там индивидуальные знаки, которые оно определяет. А там, где два знака, — информация не в сознании, а в обмене знаками. И этот обмен существует до сознания, как смысл без мысли. И это знаковый смысл. Здесь еще нет субъекта. Но уже есть матрица, пустое место на стороне смысла. И то, что его займет, будет субъектом.

5

10

15

20

25

30

35

40

45





§ 7. Антонимы

Без знаковой синонимии никак нельзя. Если бы не было синонимии, то не было бы и обмена знаками. Не было бы речи. И тогда ничего нельзя было бы понять. Ведь понять — это значит один знак заменить другим, синонимичным знаком. Синонимия делает возможным понимание без понимающего.

Но если все знаки обмениваются на все, то это не обмен, а хаос, в котором ничего сказать нельзя. Поэтому синонимии противостоит антонимия, которая ограничивает хаос. А это значит, что для любого знака есть знак, который его не может заменить, с которым невозможен обмен. Антонимия, исключая присутствие *Другого*, делает возможным негацию, отрицание. Она дает место для «ничто». Синонимия предполагает присутствие *Другого*, бытие.

Антонимы соответствуют контрарным противоположным понятиям, между которыми возможно третье понятие. Например, молодой—немолодой—старый, а также комплементарным противоположностям, в которых отрицание одного дает значение другого. Например, истина—ложь.

§ 8. Метафора

Результат борьбы синонимии и антонимии — метафора. Метафора происходит от древнегреческого глагола «переносить» и обозначает перенесенное слово. Сам термин ввел в философию Исократ. Метафора конечна и горизонтальна. И этим отличается от символа. Метафора — это полустершийся след абсурда, присущего существованию человека, отождествление двух элементов, которые исключают друг друга. В метафоре патология для животных (дипластия) становится нормой для человека. Всякий смысл контрастен, т. е. всегда найдется содержание, которое не попадает в инвариант смысла. Смысловой контраст делает возможным метафору, перенос значения.

Квинтилиан в свое время заметил, что перенос значения имеет место в случае нехватки имен, наличия пустых мест в речи. То есть когда слов мало, а предметов много, возникает потребность в переносе имен. Чтобы ни один предмет не оставался без обозначения. Возможна и другая техника заполнения пустого, а именно: обозначение нехватки слов предметами. Но тогда возникают сакральные предметы, магические знаки. Гоббс был недоволен метафорами, усматривая в них один из способов злоупотребления речью, излишнего украшения для мысли. Руссо настаивал на изначальной метафоричности языка, ибо язык изначально был обращен к чувствам, а не к мыслям. Метафора помещает человека в ситуацию пожизненного заключения в парадокс. Семантическая двусмысленность метафоры позволяет видеть в ней категориальную ошибку или таксономический сдвиг.

§ 9. Семиотический парадокс

Между знаком и предметом возможен свободный обмен, т. е. предмет может стать знаком знака, а знак — предметом. А поскольку все, что бесконечно «становится», — не существует, поскольку нет оснований для

существования знака. Разрешается этот парадокс при помощи указательных местоимений: этот, вот, там. Два знака и жест указывают на обозначаемый предмет. Правда, при условии, что обозначаемый предмет доступен и помимо знака. Указательные жесты не могут указать на означаемое, как это понимает Соссюр. И сколько бы человек не выходил за свои пределы к означаемому, выйти за означаемое он не может.

Но и обозначать то, что доступно, смысла нет. Указательный жест нужен тогда, когда объект наблюдаем, но неприкасаем. И его нужно обозначить. Встреча с означаемым означает, что язык выходит за пределы языка и становится воображаемым.

§ 10. Указательный жест

У животных нет указательных жестов. Им нечего связывать. У них нет ни знаков, ни воображаемого. Им достаточно хватательных движений. Хотя у них могут быть аффективные выкрики, выражающие сиюминутные состояния организма. У животных есть раздражители, которые находятся в причинной связи или в связи подобия с объектом раздражения. Разрыв между идеальным и наличным требует жеста указания, соотношения знака и объекта.

Указательный жест — орган воображаемого. Жест, в котором рождается мир запретного, неприкасаемого. Это как ребенка оставить дома и перечислить все, что ему нельзя. Возможно, что первые слова детей замещают указательный жест. Из направленности первых бессмысленных слов (жестов) на предмет возникает смысл, интенция.

О том, что люди говорят не для того, чтобы обрабатывать вещи, а большой палец человека отставлен не для того, чтобы хватать, а для того, чтобы им можно было указать, для воздействия на других людей, впервые ясно заговорил Поршнев.

§ 11. Постъязыковые знаки

Постъязыковые знаки — это знаки второго ряда, то, существование чего зависит от речевых знаков. Ко вторичным знакам относятся автомобильные знаки, ручная речь для глухонемых, стенографические знаки, ноты, математические и логико-символические знаки, знаки отличия, язык цветов и т. д.

Среди постъязыковых знаков вполне возможны индивидуальные знаки.

Языковые знаки — это знаки-барьеры. Знаки-плотины. Барьеры для коммуникации, способ ускользнуть от понимания и от внушения со стороны. Они не знаки, в том смысле, что в них нет программы поведения для *Другого*. Они не для *Другого*. Они для себя.

Моррис считает, что постъязыковые знаки лишены голоса. Что это беззвучные слова. Немота и молчание. Но молчание входит в состав внутренней речи. Молчание соединяет речь с воображаемым, у которого нет знаков, а есть жесты.



Откуда берется немота постъязыковых знаков, в которой растворяются слова? Ведь слова всюду проникают. Откуда это субвокальное, т. е. безголосое говорение? В какой момент разошлись голос и знаки?

Голос без речевых знаков — это мычание или крик. А речевые знаки без звука — это язык, а не внутренняя речь. Молчание может быть только дословным в речи. Речевое молчание — это отказ от выполнения того, что тебе внушают. Молчание в ответ на обращенное к тебе слово — это путь становления внутреннего мира человека. Пока есть молчание, может быть и воображаемое.

§ 12. Пирс

Цитата из Пирса: «Когда я почувствую на своем плече руку судебного исполнителя, у меня начнет образовываться чувство реальности»³³. Никто не спорит с Пирсом: конечно, действительность есть нечто грубое. Чем раньше исполнитель положит свою руку тебе на плечо, тем лучше. Тем быстрее у тебя появится чувство реальности. Но вот вопрос: а это чувство будет носить знаковый характер или нет? Рука исполнителя — это знак реальности или это сама реальность? Или, что то же самое, почему красное являет себя красным, а не знаком красного. И что делать, если воображаемое заставит тебя быть своим судебным исполнителем?

Согласно Пирсу, задавать эти вопросы чистое безумие³⁴. А вот полагать возможность быть красным до того, как что-либо во вселенной стало красным — это не безумие. Это нормально. То есть нормально говорить о возможности после того, как ты столкнешься с действительным. А безумие говорить о невозможности, равно как и о возможности до того, как ты почувствуешь сопротивление реальности.

Читая Пирса, приходишь к выводу, что в философии мало осталось безумцев. Что в ней много доктринеров и педантов, которые пытаются опутать мышление сетью прописных истин. Пирс против педантов и прописных истин. Он сочиняет язык, далекий от повседневности. Например, ему принадлежат слова: репрезентамен, квалисигнумом, синсигнумом и лесигнумом. В этих словах нет низкого просторечия. В них высокая ученость. Их нельзя неверно истолковать. Репрезентамен — это карта острова. Квалисигнумом — качество красного быть красным. Синсигнумом — это дерево, как знак дерева. Лесигнумом — это закон, как знак закона.

Пирс выделяет три типа знаков: индексы, иконические знаки и символы. В их основе лежат причинность, сходство и условность. Например, дым — это знак огня. Фотография человека — знак человека. Рыба — знак Христа. Флюгер — вырожденный знак, ибо показывает направление ветра, а не означает ветер.

У Пирса знаки сами по себе, человек сам по себе. На этом разрыве построена теория натуральных знаков Пирса. Природа у него кишит знаками. Потому, что она заполнена причинами и сходством. Но ни на одной вещи мира не написано, что она знак, у нее нет признака, чтобы быть зна-

³³ Пирс Ч. Логические основания теории знаков. СПб., 2000. С. 8.

³⁴ Там же. С. 11.



ком. Этот признак есть в голове у Пирса, т. е. знаки существуют дважды: один раз в сознании Пирса, а другой раз — они существуют натурально. Чтобы узнать знак, его нужно уже знать. Пирс использует факт сознания для того, чтобы объяснить знаки. Но это значит, что он не может знаки использовать для объяснения сознания. А поскольку знаки используются в антропологическом дискурсе для разъяснения сознания, постольку семиотика Пирса оказываются для этого непригодной. Она лишена антропологического смысла. Ребенок видит цветное пятно, а не знак этого пятна. Увидеть в красном знак красного — значит посмотреть, ослепнуть и снова прозреть. Или, что то же самое, предположить, что красное сообщает себе, что оно красное. А Пирс подслушал такое сообщение.

Дерево — это не знак дерева, как думает Пирс. Это дерево. Если бы оно было знаком, то у него распускались бы не листья, а знаки листьев. Качества принадлежат дереву. Знаки — сознанию. Согласно Пирсу, знак может иметь только один объект. Но почему он решил, что туча — знак дождя, а не знак грома или ненастного утра? Неизвестно. Натурализация знака опасна. Ибо она заставляет животных обмениваться знаками, посылать друг другу сообщения. Но крик гусака, увидевшего кошку, — это не сообщение, не знак опасности, а нервная реакция на опасность. Элемент ситуации. Танец пчел — это также не протописьмо, а инстинктивное поведение. У портрета Пирса, я думаю, нет никакого сходства с Пирсом, ибо у них нет ни одного общего материального элемента. Проблема их сходства — это проблема воображения, которая в нарисованном силуэте лошади может увидеть лошадь, а не замкнутую кривую линию.

У Пирса знаки не обмениваются, они у него замещаются. «Замещать, — пишет Пирс, — означает стоять в таком отношении к другому, что сознание... обращается с этим другим так, как если бы оно было тем, что замещается»³⁵.

Но как икона может замещать Бога — непонятно. Или как остров может заменить карту, тоже неясно. Пирс приводит пример с подсолнухом, цветок которого обращен к солнцу. Подсолнух репрезентант в голове у наблюдателя, ибо между ним и солнцем нет знакового отношения. Пирс нигде не отвечает на вопрос, можно ли организовать знакомство с объектом, помимо его представителя, помимо знаков, или нет. И откуда в знаке взялась предварительная информация об объекте?

Сигналы, следы, символы, симптомы — это не знаки, а протописьмо (послание ускользающего). В них записан первосмысл, первичная возможность речи и письма. Визуальные образы — это не язык, это не знаки. Образ — это объективированная эмоция, то, что воображается, а не рассказывается.

§ 13. Соссюр

До Ф. де Соссюра языкознание искало опору вовне. Морфология обращалась за языком описания к психологии, фонетика — к физиологии, син-

³⁵ Пирс Ч. Логические основания теории знаков. С. 74.





таксис — к логике, а психология — к истории. Своего языка у языкознания не было. Соссюру эта ситуация не понравилась и он стал искать собственно лингвистические методы исследования языка. И нашел.

«В языке нет ничего кроме различия»³⁶. Это значит, что лингвисту неважно, как ты говоришь, как произносишь отдельные звуки, с каким наклоном и какими чернилами ты пишешь буквы. Главное, чтобы звуки и буквы были различимы, чтобы они узнавались. Ты можешь шепелявить, картавить, но не можешь вместо «р» произносить «х». Ибо они должны различаться. Хотя вместо «кто» ты можешь сказать «хто». И это будет одно и то же. Различимое на письме в восприятии речи может не различаться. Например, слова «и кнут» — графически различимые, акустически не различаются, т. е. слышится как «икнут». То же самое и с «человеком со сна», т. е. только что проснувшимся. На слух это будет восприниматься как «человек-сосна», человек-дерево.

Воспринимаемое различие Соссюр называет означающим. Понятие — означаемым. А знак — это единство означаемого и означающего. Если знак обменять на непохожий на него предмет, появится значение. Например, можно рубли обменять на хлеб. Хлеб — это значение, установленное в обмене на рубли. Или на любую другую вещь. Но рубли — это всеобщий эквивалент. И этими эквивалентностями заполнен язык. Идея эквивалентного обмена, порождающего значение, является для антропологии решающей, ибо она вводит запрет на существование знака-вещи. Соссюр не Пирс, у него знаки с неба не падают и натурально не существуют. Помимо значения еще есть значимости. Эти значимости получают из сравнения с чем-то однородным, с тем, что можно противопоставить знаку. Например, рубль можно сравнить с долларом и получить значимость рубля. Или доллара. Или вот, к примеру: у французов есть слово *mouton* (мутон), а у русских — баран. Значение слов одно и то же, т. е. они могут обмениваться друг на друга. Но значимость русского барана и французского мутона будет разной. Во французской лексике недопустимо выражение «есть баранину», т. е. «есть мутона».

Язык мыслится Соссюром как лист бумаги, одна сторона которого звук, другая — мысль. И одно нельзя отделить от другого. То есть получается, что означающее нельзя отделить от означаемого, а знак — от значения. Но если их нельзя отделить, то обмен знаками становится невозможным. Ему не хватает всеобщего эквивалента. Однако идеальное — это не одна из сторон языка. Это то, что делает возможным язык.

Для того чтобы не случился языковой коллапс, Соссюр постулирует мысль о произвольности знака, о вольном отношении означающего к означаемому. Если бы язык, как медаль, был с двумя сторонами, лицевой и оборотной, — то его можно было бы менять по своему произволу. Вот этот произвол и беспокоит Соссюра. От него он и хотел избавиться в теории произвольности знака, которая, на его взгляд, защищает язык от социума. Поэтому никто не может собаку назвать кошкой. Я говорю «собака», потому что и до меня говорили «собака». Инерция, коллективная косность языка мешает новаторству, революции. Хотя Марр с этим тезисом вряд

³⁶ Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М., 2004. С. 119.



ли бы согласился. У него социальные революции меняют язык, разрушают коственность речи, дают свободу словотворчеству народа.

Иными словами, лингвистика Соссюра построена на противоречивых тезисах. Первый: язык — это лист бумаги с двумя сторонами: лицевой и изнаночной. И второй: эти стороны разбегаются, ибо лицевая сторона произвольна по отношению к изнаночной. И вот эта произвольность, а также обмен между знаками конституируют антропологическую реальность, создают речевое пространство человека.

Если палеолингвистика работает в модусе смещающегося взгляда, центр которого жестко не закреплен, то лингвистика Соссюра строится в трансцендентной перспективе неизменного взгляда. Этот взгляд уподобляет язык игре в шахматы. Под этим взглядом, играя, можно потерять фигуру коня и тут же заменить ее чем-то новым, какой-нибудь совершенно неподходящей вещью. И ничего не изменится. Правила будут теми же самыми. Ходить эта условная фигура будет также как конь. Палеолингвистика пытается работать по меняющимся правилам игры. В ней взгляд не закреплен. Он скользит, сдвигается, как плохо закрепленная ножка циркуля.

В современной культуре, как полагает Соссюр, графический образ заслоняет звук, речь. Но фонетическое письмо неповоротливо. Оно плохо проникает внутрь человека. Человек открыт для звука. Интонация голоса проникает через любые преграды, легко достигая дна души. Поэтому словари, грамматика, школа, при всей ясности буквенного письма, загромождают вход внутрь человека. Соссюру осталось только сделать вывод: книга должна уступить место клипу, визуальному образу, сопровождаемому звуками, тому, что уже топчется у входа в душу человека.

У Соссюра язык не зависит от письма как способа изображения речи. Письмо для него не кинетика, а буквы. Пиктографические изображения им вообще не относятся к письму. Это скорее искусство. Соссюр столкнул два принципа: условность и изображение. Если письмо изображает речь, то оно не условно. Если же оно условно, то оно не изображает речь, и письмо тогда вторично. Соссюр выбрал произвольное изображение, отказавшись от поисков материи означающего. Поэтому речь у него оказалась без звука, т. е. означающее речи заполняется чистыми различиями. Оно бестелесно. То есть лингвистика Соссюра оставляет для речи одну возможность — быть языком.

После Соссюра лингвисты боятся поворота к антропологии, ибо они боятся потерять науку, опасаясь, что антропология смешает грамматику с психологией.

Итак, Соссюр предпочел заниматься языками, а не речью, кодами языка, а не текстами речи. Все, что в тексте не имеет соответствия в коде, носителем смысла для него не является и при дешифровке текста не учитывается³⁷.

Наука о языке вполне может обойтись без анализа речи. Согласно Соссюру, язык — социален, речь, высказывание — индивидуально. Поэтому высказывание не может быть объектом лингвистики. К лингвистике в нем можно отнести лишь нормативно тождественные элементы языка.

³⁷ Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М., 1999.



§ 14. Бахтин

Соссюра критикует Бахтин. Основания для критики просты. Это различие между своим и чужим, а также между жизнью и смертью. После Бахтина уже неприлично понимать язык как нечто организменное, живое. Язык — это что-то мертвое. Это правила игры. Речь — всегда живая, это сама игра. Она соединяет воображаемое и язык. В языке доминирует абстрактное тождество. Неизменность его элементов. В высказывании — новизна, изменчивость. Следуя за Бахтиным, уже неловко представлять себе чужое слово без изюминки, без тайны.

Чужое слово — это тайна, загадка. Родное слово без тайны. Мы его не замечаем, как не замечаем воздух, которым дышим. Внутри своего языка уютно и тепло. Родной язык для нас — как штаны для полярника. Около чужого языка холодно и неудобно. Лингвистика возникла как результат изучения мертвых чужих языков, сохранившихся в письменных памятниках. Поэтому от лингвистики исходит трупный холод. Бахтин пишет: «Над трупами письменных языков сложилось и созрело лингвистическое мышление»³⁸.

Бахтин, как и Марр, полагает, что лингвист изучает: во-первых, мертвый язык, во-вторых, чужой, в-третьих, письменный. Он сначала убивает язык, затем его кодифицирует и потом уже преподает в школе. Лингвист — это учитель. Жрец. «Если бы, — пишет Бахтин, — какой-нибудь народ знал только свой родной язык... если бы в его кругозор не входило загадочное чужое слово... то такой народ никогда бы не создал философию языка»³⁹.

Соссюр относил высказывание к акту индивидуальному, к тому, что не может быть предметом науки. Для него индивидуальное — это случайность, языковой мусор, которым можно пренебречь. Для Потебни была важна случайность речевого потока, его изменчивость, индивидуальность. Языковую себе тождественность, любезную сердцу Соссюра, Потебня относил к шлаку, мертвому слою, который можно было оставить без внимания.

Бахтин помещает себя в зазоре между Соссюром и Потебней. Он, как Потебня, выбирает высказывание, а не язык. Но мыслит он высказывание так же, как Соссюр мыслит язык, т. е. социально⁴⁰. Для Бахтина речь — это дверь для входа и выхода. Через нее *Другой* пронесит к нам свое сознание.

Если бы Бахтин помыслил высказывание индивидно, то ему пришлось бы принять идею «уже-понимания», а значит и идею души. То есть Бахтину нужно было бы согласиться с тем, что есть души и что они непосредственно общаются. Монологи и диалоги лишь выявляют возможности непосредственного общения души, а не создают их. Тем самым «уже-понимание» предшествует всякому знаковому пониманию. С этим тезисом соглашался П. Флоренский. Бахтин был против. И его несогласие нужно было как-то обосновать. В свою очередь это обоснование составило парадигму развития советской психологии, как, впрочем, и других гуманитарных наук.

³⁸ Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. М., 1993. С. 78.

³⁹ Там же. С. 81.

⁴⁰ Там же. С. 90.

На Флоренского работала материя слова «высказывание». Бахтину пришлось вступить в борьбу с этой материей. Вообще-то высказывание — это как производство. Ему нужно что-то выводить наружу, делать потаенное публичным. Высказать можно только личное, непубличное, внутреннее. Не будет этого внутреннего — не будет и нужды в высказывании. Высказывать высказанное нельзя. Его можно передать, принять во внимание. С ним нужно считаться. Но тогда наступает момент, когда речи не нужно высказывание. А речь без высказывания — это сообщение, которое не понимается, а запоминается, беззвучно повторяется, составляя то, что будет названо внутренней речью. Например, ты проголодался. Какой смысл тебе выражать чувство голода, высказывать его. Тебе надо сообщить, что ты голоден. Выражая чувство, ты становишься художником. Или мыслителем. Сообщая о нем, ты остаешься неизменно внешним. Без внутреннего.

Высказывать — значит говорить то, что у тебя на душе, открывать себя миру, выговаривать невыговоренное. Высказывание идет изнутри вовне, т. е. само оно находится между внешней стороной мира и внутренней. Следовательно, высказывание нуждается в двусторонней структуре мира. И не нуждается в *Другом*. Высказываться можно и для себя. Хотя всей бесконечности высказываний не хватит для того, чтобы исчерпать душу высказывающегося.

Если высказывание индивидуально, то в нем должны быть два плана: внутренний и внешний, выражаемое и выражающее. Выражаемое может жить без выражающего, а выражающее без выражаемого. И тогда отношения между ними были бы подобны отношениям означающего и означаемого, т. е. означающее никогда бы не привело к означаемому и означаемое никогда бы не было означено.

Бахтин полагает, что выражаемое выражается. Его не смущают ни Тютчев, с его убежденностью в том, что мысль изреченная есть ложь, ни Фет, в словах которого «О, если без слова сказаться душой было б можно» Бахтин находит идеалистическую романтику.

Почему же Флоренский неправ, отчего теория высказывания Потебни ложна?

Вот главный аргумент Бахтина: «Переживание — выражаемое и его внешняя объективация — созданы, как мы знаем, из одного и того же материала»⁴¹. Но вот это-то и нужно доказать. Это-то и неизвестно. Вернее, есть основания полагать, что сделаны они из разного материала. Выражаемое — эмоционально. В нем дана идеальность воображаемого. Объективация материальна. И вот эта разность и делает необходимым выражение того, что невыразимо. Какой же смысл выражать выразимое?

Бахтин изменяет смысл слова «высказывание». Высказывание не выражает, а, как он полагает, сообщает, посылает сигнал. Бахтин отказывается от представления о двух сторонах мира, о внешнем и внутреннем. Нет никакого внутреннего, личного, индивидуального. Нет невыразимой души. И человеку нечего выражать. Для того чтобы появилось высказывание, нужен *Другой*. Следовательно, высказывание замыкает не внутреннее и внеш-

⁴¹ Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. С. 93.



нее, а двух одинаковых *Других*. Чем ты отличаешься от *Другого*, неясно. Ведь и ты, и *Другой* — это поименованные точки социума, объединенные речью без высказывания и, следовательно, речью без понимания. Иными словами, говорить — это значит перебрасываться словами.

5 Поскольку есть *Другой*, постольку центр человека не в человеке, а в *Другом*. В социуме. Если бы центр был в человеке, то в нем была бы душа. И она была бы несоциальной, т. е. ее нельзя было бы задать конечным набором социальных отношений. Душа монологична, вернее она себя выбирает в качестве своего сообщника. Согласно Бахтину, в диалоге не может
10 быть невысказанных мыслей. Если бы они были, то они бы разрушили диалог, и выражаемое оказалось бы вне связи с высказанным. Бахтинский диалог заставляет знать столько, сколько он сказал, вернее, сколько мог услышать собеседник. По Бахтину, *Другой* определяет возможности твоего сознания.

15 Бахтин решил избавить философию от дуализмов внутреннего и внешнего. Для этого он и внутреннее, и внешнее объявляет сделанным из материи знака. У Бахтина везде знаки. Все означено. Нет никакого неозначенного. Знаки — социальные, т. е. для того, чтобы они были, уже нужен социум. А социум — это как минимум диалог, в котором слово ориентировано
20 на *Другого*, а не на глубины неозначенного. Внутренний мир человека мыслится Бахтиным как социальная аудитория, в атмосфере которой строятся доводы, оценки, мотивы. Иными словами, человек понимает Бахтиным как продукт социальных отношений. А это значит, что в нем нет ничего от себя, что человек — это среда человека. Даже плач грудного ребенка, как
25 полагает Бахтин, социален, т. е. ориентирован на мать.

Вот, например, голод. В самом понятии голода нет указания на то, как он будет удовлетворяться: при помощи вилки и ножа, или же при помощи
ногтей и зубов. Если ты, говорит Бахтин, крестьянин, то ты терпишь голод в замкнутом мире своего хозяйства. Ты одинок. Ты сам за себя отвечаешь
30 и тебе нельзя все свалить на *Другого*. Поэтому у тебя два пути. Либо монашеская аскеза, либо босяцкий протест.

А вот рабочий голодает иначе. Его среда фабрика. Он элемент массы. Он приучен к коллективному действию. У него есть сознание и нет покорности. Он класс для себя. Надежда мира. Здесь нельзя быть самому по себе.
35 Во всяком случае, так думал Бахтин. Рабочий живет в сложном социальном мире. Поэтому его внутренний мир сложен. А крестьянин живет в простом социальном мире. Поэтому его внутренний мир беднее. Античный грек имеет неразвитый внутренний мир, а рабочий заводов Форда имеет развитый внутренний мир. При этом внутренний мир Бахтин понимает так же,
40 как и внешний, только он спроецирован на уровень представления.

Поскольку слово — это социальный перекресток, постольку Бахтин отказывается признавать мышление для себя, полагая, что существует
только речь для *Другого*⁴². Тем самым Бахтин теряет «Я-переживание», «предпонимание» и возможность самого понимания, а также идею творческой личности.
45

⁴² *Волошинов М.М.* Марксизм и философия языка. С. 98.





Вот, к примеру, как Бахтин описывает внутреннюю речь. Она неупорядочена, не зафиксирована, изменчива, смутная, недоразвитая, мелькающая, пустая. В ней находятся неспособные к жизни недоноски социальных ориентаций. В ней романы без героя, выступления без аудитории. У нее нет логики и единства. Как ни странно, но именно в XX веке появились романы без героя и выступления без аудитории. То есть все, что Бахтин называл внутренней речью, оказалось внешней речью постмодерниста. А внутренняя речь стала пониматься как речь души или немая речь вещей.

Несостоятельность теории внутренней речи Бахтина заметна потому, что она запрещает мыслить невысказанное полнее того, что уже высказалось. Иными словами, если выражение наглядной схемы внутренней речи требует бесконечности высказываний, то Бахтин от этих бесконечностей отказывается, ибо на его взгляд высказывание никак не связано с внутренним миром человека. Центр высказывания вовне, в социуме, а не во внутренней речи. И хотя Бахтин назвал внешнее высказывание островом, поднимающимся из океана внутренней речи, сам этот океан у него давно уже высох, испарился.

В теории речи Бахтина значение слова помещается не в сознании, не в душе и не в самой вещи. Оно помещается между словом и противословом речевого общения. Для Бахтина значение — это эффект взаимного действия говорящего со слушателем. Это электрическая искра, проявляющаяся при соединении двух различных полюсов. Иными словами, Бахтин накладывает запрет на существование внутренней речи «уже-сознания». Поэтому он не знает, что делать со смыслами. Ведь смысл должен дожидаться, пока его выскажут и запишут, отсиживаясь в пространстве внутренней речи. А Бахтин ему этого пространства не оставляет. Поэтому у него появляются слова, замещающие смысл, такие как «тема» и «акцентуация». Бахтин оправдывает знаковую экспансию в область самоотношения, нулевой коммуникации. Допуская очевидность и интуицию, мы ограничиваем область применения знаков. То есть экспансии знаков мешает восприятие того, что есть. Бахтин, как и позднее Деррида, редуцирует присутствие, заменяя его следами отсутствующего, которое, в свою очередь, может быть представлено, репрезентировано. Тогда же как восприятие всегда презентативно.

Для Жинкина слово получает значение в предложении. Марр допускает слова без значения. Значение указывает не на то, что оно есть, а на то, что оно значит. Вещи вполне могут быть, но ничего не значить, так же как они могут значить и не быть.

Глава IV

Слова и вещи

Краткое содержание главы

Конфликт между символическим и воображаемым разделит речь на внешнюю и внутреннюю. Во внутренней речи — образы. Во внешней — знаки. Борьба за обладание статусом реального между воображаемым и знаково-символическим определяет все возможные соотношения слова и
5 анτισлова, слова и вещи. В дуальности слова и вещи скрыто напряжение абсурда.

Кажется естественным, что сначала были вещи, а потом люди придумали слова, знаки вещей. Слова представляли вещи, знакомили с ними, именовали их, обозначали и сами были вещами. Это представление убеждает
10 нас в том, что вещи, как немые. Сами они о себе ничего сказать не могут. Они доверяют говорить о себе словам. Правда, никто этот договор между словами и вещами не видел. И поэтому у всех нас есть основания подозревать слова в мошенничестве, в подделке документов: не составили ли они соглашение о представительстве вещей в отсутствии самих вещей. Ведь
15 если вещи сами о себе ничего сказать не могут, то на каком основании о них могут говорить слова? Значит, мы что-то знаем о вещах помимо слов, до слов и вне связи со словами. А еще мы что-то знаем о вещах со слов языка, который уверяет нас в том, что он был свидетелем бытия вещей, что его слова сами когда-то были вещами.

Итак, есть два значения. Одно из них дословное. Другое — языковое, словесное. И словесное знание вытесняет дословное, предаёт его забвению. Это вытеснение составляет главную фигуру между вещами и словами. Лишенные слова вещи перестают нами не только узнаваться, они перестают существовать. То есть вещи подвергаются агрессии со стороны слов.
20 Язык ставит вещам условия: или не быть, или быть в форме знака. Принципом существования любого знака является семиозис. Вещь — это уже не вещь, а знак вещи. То есть знак того, что ты можешь с ней делать, а также указание на то место, где она должна быть и в связи с чем она имеет смысл.

Но если слова гарантируют смысл существования вещей, то что гарантирует смысл существования слов? Есть ли какой-то внеязыковой механизм поддержания порядка слов? Или этот порядок обеспечивается самими словами, круговой порукой слов. Забвение дословности отсылает слово к слову, знак к знаку. Но если знак отсылает к знаку, то важным становится не значение знака, а сама процедура означивания. Например,
30 ты как охотник идешь по следам зверя, чтобы настичнуть его, поймать. И у тебя есть доследовое понимание зверя. Ты знаешь, что в какой-то момент следы оборвутся и ты увидишь то, что искал. Нечто тебя встретит собственлично. И ты будешь с ним один на один. Но в силу круговой поруки

знаков след перестает быть следом и становится знаком. Отсылает тебя к другому знаку, который, в свою очередь, начинает ветвиться на множество других знаков, подчиняясь внутренним правилам самоотсылок. И ты, теряя значения, вступаешь в пространства означивания в качестве того, что тоже подлежит означиванию.

Бесконечный самоотсыл слов достигается утратой как субъекта, так и объекта. И следовательно, ценой утраты непрерывного прошлого. Чтобы было прошлое, нужно непрерывное усилие в настоящем по поддержанию существования прошлого. Утрата прошлого оставляет настоящее один на один с будущим. И это противостояние составляет смысл современности. Прошлое — это руины современности, фрагменты мира, стержень которого сломался и смысл его неизвестен. Круговая порука слов придает истине и смыслу проблематичный характер. Вопрос о смысле, вытеснив истину, теперь сам уступает место означиванию. То есть в современном мире нет ни смысла, ни истины. Есть означивание того, чего нет. Означивание — не прозрачное стекло познания, устраняющее само себя для того, чтобы дать означаемому предстать таким, каким оно есть, без отсылки к чему-либо кроме своего присутствия.

Конфигурация отношений между словами и вещами выстраивается так, что в мире становится все больше знаний и все меньше смысла. Само это обстоятельство позволяет говорить о существовании антисознания в современном мире. У каждого слова есть денотат. Но не у каждого денотата есть референт, объект внеязыковой действительности. Денотация указывает, но не определяет. Коннотация и указывает, и определяет. В процессе означивания теряет смысл сама процедура денотации, сигнификации, номинации, репрезентации и манифестации. Само собой разумеется, что у птичьего молока нет объекта, как нет его и у кентавра. Но в процессе означивания выясняется, что нет никакого объекта и у всех других слов. Это кажется, что стул — это стул, а стол — это стол. Но и в медицинской практике стул — это не стул, а стол — это номер вашей диеты. Объект перестал быть гарантом значения слова. Но это значит, что текст — это уже не текст, а пространство ускользающих смыслов.

Письмо — это попытка скриптора догнать смыслы. Писать — это не значит освободить смыслы. Скриптор заменяет автора и создает тексты-вампиры. Теперь уже не они дают тебе энергию и смыслы, а ты им. Ты вынужден приписывать смыслы тому, что смысла не имеет. Поэтому текст скриптора никогда не равен самому себе. В любом его слове есть возможность означать все, что угодно. Слово не желает быть в рабстве у референта. Конфигурация отношения слов и вещей освободила слово из-под власти обозначаемого. Скриптор приходит, чтобы дать свободу слову. Чтобы освободить его из-под власти вещей и автора. Значение слова теперь — не в однозначной связи означаемого и означающего. Знак — это не лист бумаги с двумя сторонами. Слово — это указатель. Это знак, который указывает тебе направление движения к другим знакам. Чтобы найти выход из супермаркета, тебе нужно знать указатели, а не слова-референты. Слово — знак, за которым может не быть никакого понятия, которое было бы обеспечено денотатом. Референциального языка больше нет. Есть то-

5

10

15

20

25

30

35

40

45





тальный язык, в котором растворены и субъект, и объект. Из тотальности языка есть один выход, а именно: открытие в себе первобытного чувства, продуктивной способности воображения. Для этого слово нужно заменить антисловом, а язык окружить воображаемым.

5 Слово восходит к антислову. Слово — знак. Антислово — не знак, а жест невербальной коммуникации, подручное средство, функциональный орган взаимного действия. В антислове упаковано целое, которое предшествует своим частям. К этому слову восходит не высказывание, а ритуал мистериального действия. Антислова составляют антиязык. Антиязык сопряжен с уже-сознанием. Он состоит из дословного письма и немой речи. Дословное письмо является следствием эмоционального взрыва, превратившего тело человека в нерепрезентативное письмо на теле. Немая речь нужна не для того, чтобы говорить. Она для того, чтобы слушать и слушаться. То есть принадлежать к целому и следовать за смыслами целого.

15 Всякий разговор — это прежде всего разговор с собой, диалог уже-сознания и знакового сознания. Разговор предстает как цепь взаимных возражений и согласий. Возражением является задержка реакции, обдумывание услышанных слов, молчание, ложь. Первая речь состояла из приказов, требований и повелений. Слушать и слушаться, т. е. повиноваться, — таково первичное правило пребывания в речи. Первый грех — это ослушаться, не выполнить сказанное, нарушив табу.

20 Чтобы увидеть себя, нужно заговорить. Человек заговорил — и увидел себя. И понял, что это не он говорит, а язык. А сам он — в невысказанном. Археписьмо предшествует фонологической речи и ее графическому изображению. Помимо антислов возможны также слова-мифы, которые выражают, но ничего не сообщают. Они полны магии очарования. И возможны слова-перекрестки, знаки диалогической речи. Эти слова высказывают, но не выражают. Ими перебрасываются, как пустыми знаками. А еще есть первые детские слова и первобытные всезначачие слова.

30

§ 1. Антислово

До слова были предложные и местоименные звукокомплексы. Как только пропасть между ними была заполнена глаголами, появилась речь. 35 Речь появилась прежде слов.

Достоевский в «Дневник писателя» рассказывает: «Однажды в воскресенье, уже к ночи, мне пришлось пройти шагов пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, до крайности к тому же немногосложного. Вот один парень резко и энергетически произносит это существительное, чтобы выразить об чем-то об чем раньше у них общая речь шла, свое самое презрительное отношение. Другой в ответ ему повторяет это же самое существительное, но в совсем уже другом тоне и смысле, — именно в смысле полного сомнения в правдивости отрицания первого парня. Третий вдруг приходит в негодование против первого парня, резко и азартно ввязывается в разговор и кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже брани и руга-

45

тельства. Тут вызывается опять второй парень в негодовании на третьего, на обидчика, и останавливает его в таком смысле, что, дескать, „что же ты так, парень, влетел? Мы рассуждаем спокойно, а ты откуда взялся — лезешь Фильку ругать!“. И вот всю эту мысль он проговорил тем же самым одним заповедным словом, тем же крайне односложным названием одного предмета, разве что только поднял руку и взял третьего парня за плечо. Но вот вдруг четвертый паренек, самый молодой из всей партии, доселе молчавший, должно быть вдруг отыскав разрешение первоначального затруднения, из-за которого вышел спор, в восторге приподнимая руку, кричит... Эврика, вы думаете? Нашел, нашел, нет, совсем не эврика и не нашел, он повторяет лишь то же самое нелексиконное существительное, одно только слово, всего одно слов, но только с восторгом, с визгом упоения и, кажется, слишком уж сильным, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню это не „показалось“, и он плечом осаживает молокососный восторг паренька, обращаясь к нему и повторяя угрюмым и назидательным басом... да все то же самое, запрещенное при дамах слово, что, впрочем, ясно и точно обозначало: „чего орешь, глотку дерешь!“. И так, не проговоря ни единого другого слова, они повторяли это одно только, но излюбленное ими словечко шесть раз кряду, один за другим, и поняли друг друга вполне»⁴³.

В рассказе Достоевского важна ситуация, затем важно слово, теряющее значение и в силу этого становящееся жестом, вербальным подручным средством. И, конечно, важно «уже-сознание», которое соединяет мастеровых. «Уже-сознание» говорит о том, что у них есть целое и они его эмоционально переживают. Это коллективная галлюцинация, реализуемая в жесте, мимике, интонации, т. е. в археписьме. Археписьмо мастеровых узнается по тому, как оно превращает определенное слово с определенным значением в слово без значения, в подручное средство, смысл которого полностью зависит от внутреннего образа целого, обнаруживаемого в жесте, позе, интонации и мимике.

На этот текст Достоевского ссылались Бахтин и Выготский, которые увидели в нем пример экспрессивной интонации. Но интонация — это не знак, не результат социальной коммуникации, а непосредственное бытие неозначенного. Интонацию читают и животные. Но интонация мастеровых не для животных. Она была предназначена для тех, кто был в порядке образа, если под образом понимать минимистирию. То есть помимо экспрессивной интонации в рассказе предполагалась немая речь неозначенного и речь, организованная пустым знаком. От немой речи галлюцинирующего сознания осталась интонация, от внешней речи — слово без значения. Нам остается неведомой проблема, взволновавшая мастеровых, ибо эта проблема составляет неречевую тайну их «уже-сознания». А мы, как и Достоевский, за пределами этого сознания.

Антислово уводит нас к немой речи коллективной галлюцинации, которая беспредметна, но обладает сильной компрессией. Результатом этой компрессии является слово-монолит, ругательное слово мастеровых, которое стало жестом присутствия их *Мы*. *Мы* — это галлюцинация, отделяю-

⁴³ Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М., 1958.





щая одних от других — *Мы* от *Они*. Если у каждого слова есть значения, то антислово не имеет определенного значения. Все возможные значения в нем расплавлены, не кристаллизованы. Его можно использовать в любой ситуации и всякий раз по-новому, в зависимости от невербальных и вообще 5
 10
 15
 20
 25

незнаковых элементов ситуации. Антислово выражает все мысли и чувства в пределах «уже-сознания». Но эти мысли и чувства нельзя передать другому, тому, кто за пределами «уже-сознания». Ощущения и мысли, выраженные антисловом, уже понятны тем, кого оно успело перевести в режим непреднамеренной координации «уже-сознания». В рассказе Достоевского слово — это не перекресток внешней речи. В нем слово взято из глубины внутренней речи. Семема этого слова вмещает в себя то, что превосходит возможности внешнего высказывания.

Мастеровые из рассказа Достоевского подобны первобытному человеку, который одно слово употреблял для обозначения явлений, ничем между собой не связанных. Одно и то же слово могло обозначать и верх, и низ, и землю, и небо, и добро, и зло. Одно слово применялось для обозначения и взгляда, и того, кто смотрит, и того, на что смотрят.

Не дифференцированные семантически, не определенные семиотически, эти слова восходят к антиязыку «уже-сознания», с его словами-предложениями. Их цель не общение, не обобщение, и не сообщение, а суггестия. Например, когда ребенок плачет от боли, родители не объясняют ему словарное значение боли. Они ему говорят: смотри, птичка пролетела. И ребенок смотрит, т. е. перестает плакать. Значит, эти слова использовались не в грамматическом смысле и не в коммуникативном, а как слово-суггестор, как рычаг, который переводит человека из одного состояния в другое.

Императивно-повелительная функция таких слов послужила базисом, над которым надстроились позднее номинативно-семантическая и коммуникативно-информационная функции.

§ 2. Слово-магия

Слово-магия утешает и склеивает клеем галлюцинации социальные отношения. Оно выражает, но ничего не сообщает. Это слово внушает и подчиняет замыслам внутренней речи «уже-сознания». В нем не высказывают 35
 40

потаенное, ибо высказывание предикат внешней речи. Слово-магия выражает невыразимое, оставляя невыразимое в его невыразимости.

Есть магия имени, а еще есть магия слов и вещей. Магия — это некомуникативный способ воздействия на *Другого*. Магия слова не связана с содержанием информации, не связана с предметной соотношенностью слова.

Теорию слова-мифа разделял Флоренский. Суть этой теории такова. В любом слове есть скелет⁴⁴. Его называют фонемой. Это самое прочное и устойчивое в слове. А еще есть плоть слова. Это его этимон, корень, основная морфема. Она более подвижна. Но то, ради чего существует слово, называют семемой. Семема — душа слова. В морфеме сидит *Другой*.

⁴⁴ Флоренский П. А. Введение в историю античной философии. Лекция 10 // Философские науки. 2004. № 3. С. 86–87.

Грамматик. В семеме есть место для меня. Поэтому при звуках одного и того же слова никто не думает то же, что и *Другой*. Слово воспринимается во времени, как длящаяся целостность. То есть мы воспринимаем не набор фонем, а мелодию. Мы слышим мелодию голоса, когда звуки уже отзвучали. Мелодия не результат работы памяти. Если бы мы помнили звуки, то они составили бы кучу, хаос одного момента. Мы слышим последовательность того, что уже в прошлом. 5

Фонема слова уже сама по себе действует на человека. Она, как музыка, настраивает душу. Ее многие слышат. Лишь некоторые понимают. Звуки слова цельны. Удачный подбор слов воздействует на слушателя, развивает у него совесть ушей. Вот пример музыки слов, выделенной П. Флоренским из стихов К. Бальмонта: 10

«В красоте музыкальности
Как в недвижной зеркальности
Я нашел очертания снов, 15
До меня не рассказанных,
Тосковавших и связанных,
Как растенья над глыбою льдов».

А вот отрывок из стихов А. Белого: 20

«Он в малиново-ярком плясал,
Прославляя лазурь.
Бородою взметал
Вихрь метельно-серебряных бурь».

Этимон слова в его истории, в значении корня. Всматриваться в этимологию корня слова значит считаться с его внутренней формой и тем самым делать каждое слово образным, поэтическим. 25

Вот, например, слово «кипяток». Его этимон передается словами скакать, подпрыгивать, плясать, прыгать через голову. Кипяток не содержит никаких указаний на температуру. Кипяток — это, как говорит П. Флоренский, скорее скакун, плясун, прыгун. Возникает вопрос: а связана ли музыка слова с его этимоном? Флоренский считает, что связана. Но доказать это трудно. Семема слова «кипяток» — это то, что впускает нас к себе, в свой дом с нашими чувствами и мыслями. Кипяток — это что-то горячее, обжигающее, с высокой температурой. В материалах словаря Срезневского⁴⁵ говорится о том, что кипяток — это источник воды, гной ран, черви, кишащие на членах человеческих, ров с горячей смолой и т. д. Кроме того, может кипеть море, а также люди и душа. Мы говорим «работа кипит», т. е. идет спор, ловко. Семема слова в каждом из нас пускает свои боковые и воздушные корни, связываясь с боковыми ассоциациями. «Неопределенность, безграничность, зыблемость семемы позволяет протягивать невидимые нити между словами там, где их как будто невозможно протянуть. От слова тянутся нежные, цепкие щупальца, захватывающие щупальца другого слова. Слово с расширенной семемой воистину живет притрепетной 30 35 40



⁴⁵ Материалы для словаря древнерусского языка И.И. Срезневского. СПб., 1893. Т. 1. С. 14–18.



жизнью. Оно затрагивает такие струны души, которые доселе молчали. Смутное, далекое, полузабытое, дремлющее шевелится в глубинах души. На встречу такому слову»⁴⁶. То есть слова ведут между собой какой-то неоконченный разговор, в котором мы все меньше и меньше принимаем участие. Когда же семема слова успеваешь пустить в нас свои боковые корни, если слово — это просто знак, с точно определенным значением.

Цитата из Флоренского: «В изучении слова мы подходим к основному противоречию, которое разрешили только одним способом, а именно признанием того, что прежде, нежели понять друг друга словесно, мы должны уже понимать друг друга внутренне, мистически, непосредственно. Чтобы разговаривать, надо иметь мистическое единство душ, которое разговором только выявляется сознанию»⁴⁷. А вот цитата из Выготского: «Непосредственное общение душ невозможно»⁴⁸.

Что говорит Флоренский? 1. Представление о том, что знаками задается внутренний мир человека, ложно. 2. Мыслить — это не значит говорить. 3. Внешнее, социальное не создает внутреннее. А ведь на всех этих, отвергаемых Флоренским посылах, строилась психология в 20-е годы Выготским и его сотрудниками, которые создали так называемую психологию без души.

Пониманию на словах предшествует дословное понимание. Флоренский настаивает на том, что нужно уже понимать друг друга, чтобы потом мы понимали друг друга вербально. Понимать — значит находиться внутри одной иллюзии, одной галлюцинации. А это значит, что границы твоей телесности, твоего тела совпадают с коллективным представлением, а не с дискретно выделенным твоим физическим телом. Твое тело заканчивается там, где существуют *Они*, те, кого мы не понимаем. Непонимание — условие идентификации с тем целым, которое есть *Мы*. А *Мы* — это уже-сознание. Удвоенная речь.

Само по себе слово не гарантирует понимания. Слова могут быть одни, а понятия разные. Язык один, а социальный опыт разный. Язык не гарантирует понимания социально разделенных людей. Если бы словами создавалось поле понимания, то непонимание было бы невозможно. Слово, понимаемое как перекресток, делает невозможным непонимание. А значит оно делает невозможной речь. Ведь разговор вызван непониманием, а непонимание позволяет тебе быть не таким, как *Они*. Ценой непонимания устанавливается согласие между нами.

Мысли создаются не словами. Они вообще не нуждаются в словах. Но без слов их нельзя передать, транслировать. Мысли в словах проявляются, выражаются, но не возникают. То есть мысль оказывается укорененной одним своим концом в дословном, в неозначенном, другим — в слове, в знаке.

Если бы не было уже-понимания, то никакая коммуникация была бы невозможна. А символом уже-понимания является душа. Непосредственное общение душ. Речь не создает, а только выявляет единство душ.

⁴⁶ Флоренский П. Введение в историю античной философии. С. 94.

⁴⁷ Там же. С. 80.

⁴⁸ Выготский А. С. Собр. соч. Т. 2. С. 18.

§ 3. Слово-перекресток

Слово, как перекресток, принадлежит внешней речи. И никакого сопряжения с внутренней речью оно не имеет. Ибо внешняя речь коренится в социуме, а внутренняя — в душе. В слове-перекрестке важны указания на статус, роль, место и время разговора, жанр речи. Это слово диалогично. У него нет начала и конца. Оно не структурно, т. е. пусто, являясь местом встречи и столкновения разных людей, интересов и ценностей. У Бахтина человеческая речь — это празднословие, а не диалог, не обмен контекстами. Рассеивание энергии слова приводит к вырождению речи в болтовню, сплетню. Как средство общения слово немощно. Человек не субъект высказывания, а, как заметил Булгаков, его объект.

Теорию слова-перекрестка придумал Бахтин. По его наблюдениям, знаки всегда на плаву, на поверхности. Они не терпят никаких глубин. Слово-перекресток сообщает и учитывает, меняясь и координируя с изменением. Оно не обобщает, но оно и не для общения. Это слово не выражает чего-то потаенного, не выводит на свет несказанное. Слово-перекресток — проходной двор диалога и полилога. Знак-перекресток жив, если в нем происходит встреча разных ценностей, столкновение интересов, воля, понимания. Вне этого движения на перекрестке знак умирает, становится пустым. Мертвое слово радует лингвиста. Словарные слова состоят из мертвых значений. Это слова вне контекста, т. е. это незавершенные слова, полуфабрикаты слов. Или, как говорит Бахтин, это трупы слов, то, что осталось после высказывания. Что, в конце концов, поместили в словари, как в морг. Где их и изучает лексикология. По замечанию Шкловского, «слова мертвы и язык подобен кладбищу»⁴⁹.

Слово обнаруживает свою суть в словесном выступлении, в выхождении за пределы, в расширении смысла. Слово имеет свою тему, крючками которой оно цепляется за невербальные элементы ситуации. Слово у Бахтина не выдерживает давления абсурда речи и переносит его в диалог между *Я* и *Ты*. Но и диалог не разрешает абсурд. От абсурда можно только удалиться. Его можно спрятать, замаскировать, завалить речевыми жанрами, как листьями. Но он никуда не исчезнет. Он может зарости жиром цивилизации и тогда его будет трудно обнаружить⁵⁰.

Тем не менее одна речь — это еще не речь. Чтобы она стала речью требуется другая речь. Чудовищная пронизательность Бахтина позволила ему понять эту истину, чтобы предать забвению другую. Другая речь — это не речь *Другого*, а внутренняя речь. Именно она придает выразительность речи *Другого*. Без внутренней речи диалог перестает быть диалогом и становится языковым гулом. В каждом слове-перекрестке помимо перекрестка еще есть то, что вертится на языке, когда мы не можем что-то вспомнить или когда мы пытаемся поймать убегающую от нас мысль. Есть молитвенная сила слова, нерасчленимое впечатление, аромат.

⁴⁹ Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990.

⁵⁰ Крuchtenых А. Кукиш пошлякам. М.; Таллин, 1992.



Структура любого высказывания предполагает, что есть то, о чем идет речь, и то, посредством чего. Нельзя высказываться о языке высказывания молчанием о языке. Если мы хотим говорить о самих вещах, а не интерпретировать интерпретации, то нужно молчать о языке выражения смыслов.

5 Бахтин, как и Деррида, полагает, что речь не выражает, что речь всегда указывает. Хотя истина, видимо, состоит в том, что когда речь указывает — она не выражает, а когда выражает — не указывает. А если она выражает, то это значит, что есть предвыразительный слой смысла. Бахтин накладывает запрет на существование предвыразительного слоя. Если смысл

10 есть, присутствует, то зачем его выражать. Если же предвыразительный слой существует, что более вероятно, должна быть интуиция и очевидное. Должно быть дознаковое начало, т. е. воображаемое.

§ 3а. Слова-бумажники

15 Эти слова увидел Ж. Делез. Если нет смыслов, а есть процедура означивания, то слова налетают друг на друга, складываются и получаются слова-бумажники, в которых, закрывая одни смыслы, мы открываем другие. Например, столкнулись одиночество и единство и получилось «единичество». Столкнулись относительность и центр и получилось «отноцентризм». Анонс и нонсенс — «анонсенс». И в каждой части слова ветвятся свои смыслы. В зависимости от того, как будет прочитано это слово, может

20 распахнуться возможная текстовая семантика, которая работает по принципу дизъюнкции: либо — либо.

§ 3б. Слова-заглушки

25 Эти слова используют в НЛП. Они заглушают эмоции и чувства, мешая им нормально осуществиться, обменяться в языке. Например, «воин-интернационалист» — это слово-заглушка для эмоции. А вот слово «гендер» — заглушка для ума, как и слово «прогрессивный». Слова называют то, что дано представлению. Поэтому слова именуют. В имени завершается движение языка. В нем мысль перестает мыслить. Ошибка Фуко состояла не в том, что он знаки освободил из муравейника жизни. Он отношения

30 представления заменил знаковыми отношениями. У него язык обозначает то, что дано представлением. Поэтому его интересуют метки и приметы, скрывающие слова и вещи. Его не интересует воображаемое.

§ 4. Слова и вещи

40 Любое слово связано с антисловом, со словом «наоборот»⁵¹. Языковая вселенная рождается безязыкой материей жизни. В антислове компрессия первобытных смыслов и значений так велика, что превращает их в лингвистическую черную дыру. В монолит без смысла и значений. В то, в

45 чем нет живительных пустот, разреженности.

⁵¹ Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М., 1974; Фуко М. Слова и вещи. М., 1987; Марр Н.Я. Язык и мышление. М., 1932; Валлон А. От действия к мысли. М., 1956.



Внутри слова невозможны паузы, пустоты. Слова существуют, как атомы. Они непроницаемы друг для друга. Паузы существуют между словами. Поэтому в первослове еще не действует синтагма, линейная упорядоченность звуков. В нем не работает принцип языковой матрешки: нет звуков, составляющих морфему, нет слов, которые состоят из морфем. Нет предложений и текстов. Ничего этого нет, а слово есть. Слова были, когда еще не было звуковой речи. Как говорил Н. Марр, весь мир когда-то упаковывался в четыре слова: мы — они, да — нет.

Компрессию слова сменяет его декомпрессия. Декомпрессия первослова-имени, поселяла в нем пустоту, убегая затем от этой множественности, от самой себя. Слово пульсирует между компрессией и декомпрессией единым и многим, бытием и ничто. В антислове происходит сжатие бытия. В слове его разрежение и одновременно создание условий для появления синтагмы, которая уменьшает хаос, прячет абсурд во взаимные отношения речевых знаков.

Обычно слово связывают с каким-либо предметом. Например, слово «стол» обозначает стол, а слово «свобода» обозначает свободу. Но стол нам дан помимо слова, а свобода нам дана вместе со словом. И иным образом она нами не узнается. Предметная соотнесенность размыта у безлично-предикативных слов. Например, я говорю: «тихо». Это может означать просто тишину, а может указывать на то, что кто-то уехал. Или наоборот, еще не приехал. Другой пример, я говорю: «дует». То есть тем самым прошу закрыть окно. И никакой анализ слова «дует» не обнаружит в нем эту просьбу. Это в слове «понедельник» можно обнаружить его значение быть первым днем после неделания. Хотя уже в слове «чернильница» можно обнаружить сложное строение. «Черн» — черная краска, «ил» — качество орудийности, которое можно найти и у грузила, «ниц» — вместилище, характерное также и для сахарницы, и для перенницы⁵².

Слова создавались не для того, чтобы обозначать вещи. Вещи были втянуты в пространство слова декомпрессией.

Например, имена собственные. Они не зависят от обозначаемого. И в этом смысле они произвольны. Они как бы из другого мира. Но взаимозаменяемость имен нулевая. Это не знаки обмена. Это памятники архаики, т. е. тех времен, когда слова не имели значения. Если бы имена имели значения, то тогда они были бы именами одного и того же объекта. И эта их эквивалентность вновь возвращала бы нас к хаосу. Чтобы не было хаоса, имена сохраняют произвольность. Но не обмениваются друг на друга. Имя — это слово без значения и вне обмена. Результат дифференциации первого имени во множестве различных имен. Поэтому можно сказать, что Андрей — это Андрей. Но нельзя сказать, что Андрей — это Петр. В противном случае мы имели бы одного человека с двумя именами. Только эти имена превратились бы в знаки со значениями, т. е. перестали бы быть именами. Когда я говорю, что вечерняя звезда — это утренняя звезда, я один знак обмениваю на другой. В этом обмене исчезают имена и появляется информация о звезде, у которой есть утро и еще есть вечер, т. е. ее можно

⁵² См.: Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. М., 2004. С. 249.





увидеть и утром, и вечером. Но ее видит один человек. Разность относится ко времени. Не может быть так, чтобы ты заснул с оди именем, а проснулся с другим. Если я ношу утром синюю рубашку, а вечером — зеленую, я не могу сказать, что синяя рубашка — это зеленая рубашка. Потому, что у

Имена потому и именуют, что они безразличны к миру вещей. Имена не посредники между словами и вещами. Они отделяют именованного от неименованного, ибо быть для человека — значит быть поименованным. Иметь имя. Слово — это действие изначального именованья. Если звуками обозначают предметы, то нет никаких запретов на то, чтобы предметами обозначались звуки. Вот эта инверсия скрывается словом и обозначается антисловом.

Изначально слов было немного. И звуковая речь была привилегией немногих. Остальные обходились археписьмом, кинетической речью. От дефицита слов нужно было избавляться. Их надо было как-то дифференцировать, чтобы знать в какой момент на одно слово можно отвечать, а в какой — его игнорировать. Не отвечать. Фонологическая дифференциация звуков слишком долгий процесс, а действовать нужно было быстро. Поэтому слова компенсировались жестами, действиями. А действия предметны. Предметы и жесты отчетливо различимы. Одно слово с двумя разными жестами — это уже два разных слова. То есть звук мог быть один, а слов могло быть больше благодаря предметной дифференциации. Тем самым создавались условия для полисемантических корней слов. Возможно, что омонимы, т. е. одинаково звучащие слова без общей семантики, — это жалкий остаток архаической речи. Хотя обычно существование омонимов объясняется звуковыми изменениями в языке, заимствованием иноязычных слов и семантическим распадом. Например, лук — растение и лук — оружие, брак — женитьба и брак — изъян, дождевик — пальто и дождевик — гриб, коса — у девушки, коса — в заливе, коса — инструмент для заготовки сена. Вещей было много. Слов мало. Поэтому обозначая, слова обобщали предметный мир.

Вещи могли обозначать звуки в момент, когда еще не было знакового сознания и не было речи в современном смысле этого слова. В это время, видимо, возникли дольмены, включенные в суггестивную работу «уже сознания», в план речи-повеления. На архаические функции вещей указывают предметы-знаки. То есть предметы-знаки могли предшествовать знакам-словам. К этим предметам Б. Поршнев относит такие чувственно-сверхчувственные вещи, как клоч волос, зуб, рог, пень, дерево, луну. Предметы-амулеты, предметы-табу, предметы-фетиши, обереги тормозили и растормаживали какие-то действия и состояния людей. И до сих пор продолжают это делать.

Суггестией обладают не только слова, но и предметы. Предметная суггестия — это колдовство. Для того чтобы получить власть над человеком, надо каким-то образом овладеть частью этого человека. Например, его волосом или ногтем. В порядке сил реального этот акт не имеет никакого значения. А вот в порядке воображаемого это событие играет определяющую роль. Сила символического давления так велика, что потерявший свою часть попадает в зависимость от того, кто эту часть приобретает. По-

этому никто ничего не должен после себя оставлять. И умершему кладут в могилу вещи, которыми он пользовался. Ибо в них хранится его судьба. И если вещи умершего останутся среди живых, то он по-прежнему будет вмешиваться в дела группы.

Славянская культурная традиция выделяет среди вещей так называемые «обыденные вещи», т. е. вещи, изготовленные за один день. Женщины села могли за один день (или ночь) изготовить ткань, мужчины поставить дом. Воздвигнуть крест. Еще совсем недавно в России нельзя было встретить человека, который ходил бы без пояса. Пояс считался священным. Подпоясанного человека бес боится. Без пояса считается неприличным молиться Богу, обедать, спать. «Пояс» включает человека в мир культуры. Семантика пояса указывает на жизнь, на то переходное состояние между рождением и смертью, которым дорожит человек. Определенные функции в сакральном мире крестьянина выполняли нить и веретено.

Но чтобы быть знаками в полном смысле этого слова-предметы должны были найти взаимозаменяемость, вступить в эквивалентный обмен. Если звуки претерпели переход с фонетического уровня на фонологический, то и предметы помимо различности должны были приобрести антонимичность. Они, как говорит Поршнеv, могли разделиться на неприкасаемые вещи и доступные для прикасания. Раскраска предмета, изготовление его подобий, т. е. предметы-серии, — все это позволяло создавать эквиваленции и одновременно уклоняться от предметных эхололий. В сакральных целях предметы могли утаиваться, уничтожаться.

Звуковые и предметные сигналы могли сходиться и расходиться. Они могли быть несовместимыми и одновременно могли быть тождественными по своему значению. Появление синтагмы отрывает звуки от предметов, слова — от вещей. Два слова могли обозначать одну вещь. А две вещи — одно слово. В поле первобытной речи все могло случиться. В ней была возможна встреча и соединение чего угодно с чем угодно. А это значит, что не смыслы слов определяют их сочетания, а напротив, случайные сочетания слов определяют их смыслы. Не слова идут за смыслами, а смыслы за словами. Примером оборачивания может служить рассказ Эмпедокла о происхождении человека, о случайных сочетаниях рук, ног, и других частей тела, пока не составилась человек, который и выжил.

Словами создавались невероятные комбинации событий, предметов, явлений. Обычно мнимые, т. е. рассказываемые или воображаемые. Но иногда все-таки реализуемые в материальных образах. Природа сопротивлялась произвольному обращению с ней. Но были и удачи. И они автоматизировались.

§ 5. Слова-термины

Это слова, которым приписывается одно значение. Из слов-терминов легко составляется бессмыслица. Например, «ваучер» — мертвое слово. Вот пример бессмыслицы по А.В. Щербе: «Глокая куздра штеко быдланула бокра и кудрячит бокренка». Здесь лексика не имеет значения. Но содержание передается грамматикой, родом, видом, числом.





Хомский использовал реально существующие слова для составления грамматически правильного, но бессмысленного предложения. Оно звучит так: бесцветные зеленые идеи бешено спят. А вот пример из Жинкина: «Сорви арбуз у основания собачки и положи на муравьиное колечко». Это пример абсурдности с использованием специальной терминологии. В этом предложении несколько пустых слов, которые делают его бессмысленным. К сожалению, философские тексты обладают удвоенной непрозрачностью, т. е. принципиальной непереводимостью на универсальный предметный код Жинкина.

Если материя слова скрывает свое значение, то его начинают искать. Возникает народная этимология, о которой охотно рассказывают психолингвисты. Например, деревня — это где много деревьев. Судак — это кого судят. Курятник — дядя, который курит. Барбос — хозяин бара. Курица — женщина, которая курит. Сорвиголова — палач. Поисками внутренней формы слова занимались В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Хармс. За литературным авангардом наблюдал Р. Якобсон, теоретизируя по поводу увиденного. Бессмысленным сочетанием звуков и слов рождались смыслы. Предметы соединялись так, как соединяли их слова. Эпоха первобытных бессмыслиц нашла свое слабое отражение в мифологии. Из бессмыслицы выкристаллизовывались смыслы. В мире природы человек вел себя еще как животное. Внутри интеракции уже доминировала речь, в горизонте которой появилось сознание.

Демотивация слова, т. е. утрата внутренней формы слова, может быть связана с исчезновением изначального слова. Например, русский язык потерял слово «коло» (колесо), что привело к утрате внутренней формы слова «кольцо» и слова «около». Возможны и другие причины. Например, фонетические изменения облика слова. Так «цена» и «каяться» восходят к одному корню.

Если у слов есть значения, то у вещей назначения. Назначения универсальны. Значения, т. е. смыслы, локальны. Универсализм вещей разрушает локальность сознания, сужает пространство обитания смыслов, проблематизируя вопрос о том, что чему предшествует: мысль слову или слово мысли.

§ 6. Первое слово

Первое слово — не социальное, а эмоциональное. Это не знак понятия, это симулякр воображаемого. Это картина повествования, в котором одним словом может обозначаться много предметов. К примеру, весло — это и вести, и лодка, и лошадь, и повозка. Первое слово появляется не для того, чтобы обозначать и обобщать, ибо обобщению мешает аутизм депривации. Оно вообще не для чего-то, а случайная позитивность эмоции на фоне негации. Эту позитивность использует галлюцинация как свое подручное средство.

Первое слово появляется у детей в один год. Сначала ребенок смотрит, чтобы смотреть; хватает, чтобы хватать. То есть он тавтологичен, как философ. Ребенок солипсист. Он изолирован от реальности. Только у него нет Я, нет чистого сознания. И поэтому ребенок, как пучок петрушки, рас-

падает на отдельные потребности. Затем эти потребности случайно пересекаются. Между ними возникает координация. Их собирает образ на стадии зеркала, а потом язык. Ребенок смотрит, чтобы хватать. И хватает, чтобы посмотреть. Движение тела и сенсорное поле соединяются. Ребенок начинает видеть то, что слушает. И слушает то, что видит. Звуковая речь 5
настигает ребенка. Она застает его врасплох, и больше не оставляет его одного. Первые проблески слов коренятся в антислове.

Затем через некоторое время появится второе слово. Первое слово — это не знак речи. Оно беспредметно. У него нет значения. Оно появляется как результат воздействия со стороны взрослых. Обычно ребенок повторяет слово, которое взрослые произносят в момент запрета. Когда они не дадут ребенку что-то сделать. У первого слова интердиктивная функция. Второе слово ограничивает первое. Со вторым словом начинает действовать синтаксис и ребенок вступает в мир членораздельной человеческой речи. Первые детские слова делятся на две части. Одни сочетаются с другими. Это предикаты. Другие — нет. Это объекты действительности. 10
15

Генетически первые слова составляли имена. Имя одного коллектива противостояло имени другого коллектива, отделяя одну иллюзию от другой. Внутри одной общины речь не могла возникнуть. Ибо этой общине достаточно было уже-понимания, координирующей роли мифа. Внешняя речь — это набор социоразличительных средств, служащих для тренировки звукопроизносительных органов. Речь возникла не в процессе труда, а в процессе трения различных галлюцинирующих общностей, и, следовательно, в речевом зазоре возникало сознание. Согласно В. Абаеву, сознание возникает как самосознание группы, как поименованная общность, отличающая себя от других групп. Согласно Б. Поршневу, трение групп вело к созданию барьеров для интердикции и суггестии. Чтобы возникла линейная речь, нужно много барьеров, перекрещиваний, а также вовлечения вещного слоя в состав речи. Не слова были изначальными знаками вещей, а вещи — знаками слов. В момент, когда слова стали обозначать предметы, появилось сознание. То есть, согласно Поршневу, сознание появляется как познание. Поскольку язык является элементом ритуала, постольку предметы следовали за своим именем, воплощая его смысл. Ритуальным средством речи являются безличные глаголы. Предложения, создаваемые на базе безличных глаголов, параллельны предложениям, создаваемым на базе нарицательных имен. Например, дождит. И его параллель: идет дождь. Первое выражение — ритуально, второе — коммуникативно. 20
25
30

Все это позволило Поршневу предположить, что глагол древнее существительного, а повеление предшествует предметной соотнесенности слова. Безличные глаголы называют действия до того, как появится деятель. Они обозначают беспредметные состояния. Если я говорю: «светает», то я обозначаю бессубъектное и беспредметное состояние природы. Бессмысленно искать «что светает». Здесь существование не предполагает того, что существует. Если тебя знобит или тошнит, то не нужно пытаться найти субъекта, того, кто это в тебе вызывает. Его нет. Но каждый может испытать головную боль еще до того, как у него появится голова. 35
40
45





Семантика диатезы в русском языке оппозитивна. Она строится на за-
 логовых противопоставлениях. Можно сказать: «я построил дом», а мож-
 но: «дом был построен мной». В русском языке есть два залога: активный и
 пассивный. Глаголы с постфиксом «ся» называются возвратными и отно-
 сятся, как правило, к действительному залогу. Например, «я умываюсь»,
 т. е. я сам умываю себя. Это действительный залог. Здесь есть субъект дей-
 ствия. Это Я. И также есть объект действия. Это то же Я. Объект и субъект
 совпадают. Что выражается возвратным глаголом.

Возьмем другое выражение, а именно: «собака кусается». Значит ли
 это, что она сама себя кусает? Нет. Кусаться означает кусать, быть злой.
 То есть здесь субъект не совпадает с объектом. А это значит, что постфикс
 «ся» теряет значение возвратного действия. То же самое относится и к
 крапиве, которая жжется. И здесь частица «ся» как бы без дела. Избыточ-
 на. Ибо крапива сама себя не жжет. Почему? Потому что собака, равно как
 и крапива — это грамматический субъект. Онтологически они бессубъект-
 ны. И поэтому возвратному глаголу некуда возвращаться. Онтологически
 собака и крапива — это объекты действия, а не субъекты. Поэтому никако-
 го совпадения объекта с субъектом в данном случае быть не может. Субъ-
 ект — человек. Поэтому когда я сержусь, то я сердит сам на себя. А если
 мы целуемся, то это взаимно возвратное действие.

Медведь не может оборотиться, т. е. посмотреть сам на себя. Он может
 повернуть голову. А человек может оборотиться, т. е. посмотреть на само-
 го себя. И позволяет ему это сделать сознание. Он может построиться, т. е.
 построить для себя дом. Но сам дом не может себя построить. Самодвиже-
 ние мира репрессировано языком. Иными словами, человек, как Прометей,
 похитил субъектность мира. Присвоил ее себе. И мир теперь существует
 объектно, т. е. с дырой на месте субъектности. И в эту дыру проглядыва-
 ет ничто. Медиальность залога не переносит субъектность на природу.
 В нем обесмысливалась сама возможность субъектно-объектного члене-
 ния мира. И в этом смысле слова-монолиты или первые слова — это слова
 медиального залога, близкого к безличному «темнеет», которое не знает
 тьмы.

Глава V

Преобразование формы

Краткое содержание главы

1. Выражение «превращенные формы» введено в оборот М.К. Мамардашвили, который этот термин использовал для описания систем, включающих в себя работу сознания. Поршневу используется его для реконструкции процессов, результатом которых является само сознание.

2. «Преобразование формы» открывает два возможных подхода к антропологии. Один из них реализует Выготский, другой — Мамардашвили. В первом доминирует *Другой*. Во втором — самопорождение человека.

§ 1. Два метода превращения

Известно два варианта в использовании метода превращенных форм⁵³. Это вариант М.К. Мамардашвили и вариант Б.Ф. Поршнева.

Мамардашвили картезианец и марксист, то есть экзистенциальный эгоист. У него превращенная форма базируется на ясных идеях. Во-первых, сознание вовлечено формой в дело удержания материи. Без формы материя рассыпается, перестает существовать, деградирует. А форма ей не дает этого сделать. Все, что мешает материи уйти в хаос небытия, называют формой. Форма удерживает материю. И пока она ее удерживает, существует содержание. Форме скучно это делать одной, и она решает вовлечь сознание в дело по устройению содержания. Участие сознания в репрессиях по отношению к материи не осталось незамеченным. Поэтому, во-вторых, сознание приобрело статус онтологический, утратив роль агента гносеологии. А это значит, что оно существует и действует фактом своего существования. Существование предполагает ответ на вопрос «где?». Поэтому, в-третьих, сознание сначала помещается в пространство деятельности человека, а затем ему подыскивается просто пространство и время. Хронотоп.

Присутствие сознания в пространстве отбрасывает тень на бытие. Появляется две стороны: видимая и невидимая, наблюдаемая и ненаблюдаемая. И на той и на другой есть форма. Только теперь она начинает раздваиваться. На видимой стороне ею удерживается одна последовательность причин и следствий. На невидимой — другая. И нужно не поддаваться на обаяние видимой части, восстанавливая на ней пропуски, инверсии, замещения и превращения относительно невидимой части существования.

Метод превращенных форм имеет тот недостаток, что он привязан к сознанию, фиксируя его следы, но о самом сознании он ничего сказать не может, отдавая эту возможность топологическим описаниям сознания. Для Мамардашвили сознание — это тайна.

⁵³ Форма превращенная. Философская энциклопедия. М., 1967. Т. 5.



Поршневу тоже картезианец и тоже марксист. Но он более сциентист, чем экзистенциалист. А это значит, что для него сознание — это не тайна. И человек — это тоже не загадка. В его варианте метода превращенных форм главное место занимают абсурд и инверсия. Или выворачивание вывернутого. В начале никогда не бывает так, как в конце. Начало приближает к абсурду. Конец удаляет от абсурда. Между ними лежит превращение, которое у Поршнева уже не связано с сознанием. Более того, само сознание объясняется в терминах превращения или, что одно и то же, выворачивания телесного шиворот-навыворот. А это значит, что в начале был человек наоборот. И сознание наоборот. И язык наоборот. Установлением этого «наоборот» занимается палеография. Или археоавангард.

Поршневу — философский археоавангардист. Его метод превращенных форм имеет тот недостаток, что он не может закрепить во времени конечный пункт. История все время смещает свой закат и, следовательно, смещает образ начала, превращая их в серию начал и концов. Например, в конце концов, человек ходит прямо, вертикально. Если выворачивать эту прямизну, то получится, что где-то в начале он ходил, скрючившись, согнувшись. Но Поршневу предлагает гениальный выход из этого затруднения. Поскольку и в начале, и в конце человек ходит вертикально, постольку вопрос о прямохождении человека должен быть вынесен за скобки как не относящийся к делу. Вместе с ним за скобки выносятся и вопрос о свободных конечностях, о голове, которая, освободившись от пищевого обшаривания местности, получает возможность заговорить. Все это второстепенные моменты антропогенеза.

Достоинство метода превращенных форм Поршнева — это отрицание диалектики «мало-помалу». Приближение к абсурду ничего не оставляет от этой диалектики. Абсурд растворяет кумулятивную ценность постепенного и заставляет принять принцип: «либо — либо». Этот принцип ясно сформулировал Декарт. За это его обозвали дуалистом. Хотя этот дуализм носит методический характер, а не субстанциальный. Иван Павлов в благодарность за этот принцип поставил Декарту памятник у входа в свою лабораторию.

В лингвистике дуалистом был Н.Я. Марр, взгляды которого близки к археоавангарду. Марр первым предложил искать в основании языка не язык, а антиязык. Но это было неприемлемо для филологов, которые полагали, что давным-давно был маленький, неразвитый, искаженный язык, который затем стал большим и развитым, не изменившись по существу.

Если в начале начал искать не человека, а человека наоборот, то нужно сразу же отказаться от идеи, что труд сделал человека. Не труд создал человека. Палка, которую взяла обезьяна, не сделала из нее мыслителя. Бобер не стал архитектором, а пчела — балериной. Если бы труд делал человека, то он бы и дятла превратил во что-нибудь разумное. Ведь дятлы много работают. Они выдалбливают углубление в толстой ветке, в которое, как в станок, помещают шишку и уже затем ее раздалбливают. У огня грелись не люди. Не человеку Прометей подарил огонь, а обезьяне. Человека создал абсурд.

Два стада обезьян поселили в одном месте, на одной территории. Между ними происходил постоянный контакт. Если бы в результате были выработаны две противоположные системы сигналов, то мы могли бы сказать: люди произошли из обезьян. Ибо у животных сигналы детерминированы природой. У человека — социумом. Аффективный выкрик обезьяны никогда не станет словом.

§ 2. Кризис психологии

Современные психологи обсуждают вопрос о том, как поссорились Лев Семенович и Алексей Николаевич⁵⁴. И почему Леонтьев в 1932 году уехал в Харьков. Ответ кажется очевидным. Столкнулись два принципа: культурно-исторический и деятельностный. В письме к Выготскому Леонтьев писал: «мы переживаем кризис». Суть кризиса в монастырском режиме мысли, в идейном отшельничестве. Для Выготского ключевую роль в психологии играл знак. Для Леонтьева — предмет. У одного — знаковое действие. У другого — предметное. В письме к Леонтьеву Выготский написал: у нас «неудача, вытекающая из наших заблуждений»⁵⁵. «Наши заблуждения» — это что? Движение от знака к сознанию или от сознания к деятельности? В деятельности доминирует предмет. В речи доминирует знак. Что же задает горизонт человеческого в человеке: речь или деятельность, знак или предмет? Для Леонтьева и Гальперина суть дела в предмете. Предмет в уме подчиняется не законам ума, а законам предметов вне ума. Для Выготского суть дела в знаке, в том, что он подчиняется не законам предмета, а законам ума как означаемое. То есть в поле сознания знак действует не по законам предметности, а по законам речи, ума.

Если сознание заранее дано и непосредственно очевидно, то нельзя ставить вопрос о происхождении сознания. О том, откуда оно взялось. Ибо сознание предстает как последняя объяснительная инстанция. Но тогда возникает проблема чужого сознания. А также проблематизируется уверенность в существовании мира. Никто не знает, как доказать, что мир есть, если уже есть сознание.

Теория деятельности как будто снимает эту проблему. Ибо сознание и Я полагаются как моменты универсума деятельности. Они возникают и существуют в деятельности по созданию внешнего объекта. Но если сознание отождествить со структурой предметного действия, то тогда оно предстает в виде набора целей, задач, мотивов, установок, ориентировок. То есть сознание как процесс подменяется его результатом.

Современная психология заменила вертикаль двустороннего строения человеческого бытия горизонталью двухактного действия. Она придает решающее значение времени, а не бытию, не антиномичности всякого момента в жизни человека. Напряжение связей «внешнее — внутреннее» переводится в поверхность действия между Я и Он.

⁵⁴ См.: *Выгодская Г.Л., Лифанова Т.М.* Л.С. Выготский: жизнь, деятельность, штрихи к портрету. М., 1996; Психологический журнал. 2003. № 1; Вопросы психологии. 2002. № 5; Вопросы философии. 2001. № 2–3.

⁵⁵ Психологический журнал. 2003. № 1. С. 19.





Вот пример — слепоглухонемые дети, с которыми работали А. Мещеряков и Э. Ильенков⁵⁶. Эти дети находились вне интеракции, вне слова. В мир слова их нужно было вводить насильно. Их туда вводят, а они не хотят входить, сопротивляются. Они, как звереныши, кусаются и царапаются. Им неведомы ни чувства, ни желания. Во всяком случае, они их не могут выразить. У этих детей вырабатываются навыки общения на основе условных рефлексов, с опорой на осязание и обоняние. Ведь боль, осязание, движение, вкус, интонация, зрение, априорные схемы пространственности появляются у людей раньше, чем они станут говорить. Человеку нужно было сначала заговорить, а уже потом он стал понимать речь речью. И это акт самонаучения, который нельзя заместить.

Суггестор берет ребенка за руку и силой заставляет его держать ложку в руке. Для чего? Для того чтобы сломать рефлексы, размолоть инстинкт тела. Запретить автоматически реагировать на сигналы нервной системы. Подавление привычных действий слепоглухонемого — это практическая депривация, погружение его во тьму пещеры, отменяющее прежнюю моторику. В качестве слова в данном случае выступает тот, кто силой заставляет ребенка подносить ложку ко рту. Кто научает его двигаться по логике смысла ложки. После отмены моторики следует замена отмененного новыми предписаниями, прескрипциями. Первыми средствами общения слепоглухонемых детей являются жесты, которыми обозначаются и действия, и предметы.

Отмена первосигнальной моторики, то есть интердикция, составляет нижний предел человеческих коммуникаций. Суггестия является вторым шагом инфлюативной коммуникации. За ней идет обобщение, общение и сообщение.

В теории деятельности проявилась немецкая сущность русской философии. Недостаток этой теории в том, что она не может помыслить деятельность без деятеля. Деятельность всегда чья-то. Действует всегда кто-то. Но вот этот «кто» и не объясним в терминах деятельности. Он появляется внезапно, откуда-то со стороны, превращая деятельность в действие. Но тогда возникает вопрос: а в деятельности человек проявляет себя, свою суть, или созидает ее, приобретает себя? Далее. В теории деятельности жизнь мыслится как деятельность. А это значит, что человек неизбежно исчерпывается сделанным: что в нем нет места испытанному, тому, что не делается, а растет, вырастает. В теории деятельности чувства, эмоции понимаются как подготовительная ступень мысли, идеи. В ней то, что может быть сделано, вытесняет то, что может в человеке только вырасти.

Выготский, Леонтьев, Лурия и Бахтин настаивают на том, что в деятельности изобретается суть человека. В ней из первого плана создается второй, из внешнего — внутреннее. Но тогда возникает другой вопрос: каким однородным преобразованием внешнего внутреннее не получить. Как же оно появляется? Откуда берется второй план, некое внутреннее? Ответ на этот вопрос темен и непонятен. В терминах теории деятельности

⁵⁶ Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. М., 1974. См. также: Дубровский Д.И. Проблема идеального. М., 2002. В этой работе рассказывается о том, как был создан миф о четверых слепоглухонемых от рождения.

внутреннее, видимо, следует понимать как внешнее, переведенное на уровень автоматизма действия, как рефлекторное, бессознательное действие. Проще всего внутреннее помыслить как обыкновенную складку внешнего, как его удвоение. Но тогда непонятно, зачем человеку сознание. Оно ему не нужно. Ему достаточно рефлекса. Но внутреннее можно понять и как следы Бога в человеке, как симптом существования воображаемого, если знак извне перенести внутрь, то они станут умственными, т. е. выполняемыми в уме, но не психическими действиями.

Самый оригинальный способ деятельностного объяснения внутреннего плана человека состоит в следующем. Коллектив всегда больше индивида. Для того чтобы получить коллектив, нужно деятельность свести к коммуникации, то есть от действия с предметом перейти к обмену знаками. Индивид присваивает коллектив и распухает, как удав, проглотивший кролика. В индивиде появляется внутренний план, то есть «съеденный» коллектив. Иногда это акт «поедания» называют интериоризацией.

Современная психология строит себя вне связи с душой, базируясь на представлении об изначальной соотносительности слова и вещи, на референциальной теории слова, которая полагает слово как фотографию, на которой референт оставил след. Современная психология существует в предположении, что человек рожден знаками. Но что рождает знаки — она не знает. Она знает, что язык определяет в человеке горизонт социальности. Но что определяет горизонт языка — она тоже не знает. Быть в языке — значит быть в социуме. И это понятно, ибо социум — это поименованные *Другие*. Но что значит быть у себя? Что такое *Я*? Известно, что в составе этих *Других* нет *Я* и нет «моего». «Мое», личное, индивидуальное задается не языком, а душой, неозначенным. Предрассудок современной психологии состоит в том, что она из знаков символического пытается построить неозначенное воображаемого, из слов — дословное, из социального — индивидуальное. Она наивно полагает, что мысли создаются словами, а люди определяются действиями с предметами. Современная психология даже не догадывается о существовании «уже-понимания», а также о том, что между «уже-пониманием» и речью располагается молчание, не пробегаемое речью, что речь коренится в непонимании как своей ближайшей причине. Поэтому любая речь нуждается во внутренней речи воображаемого. Естественный язык уже не справляется с функциями общения и обобщения, что делает затруднительным выход человека из аутизма самозаклечения. Все больше появляется людей, которые говорят на непонятном языке. Хотя они не художники. Без немой речи уже никто не сможет спросить себя, что он думает, ибо мысль не совершается в слове, а выражает себя в нем.

Кризис современной психологии обнаруживается в психофизиологических и психосоциальных параллелизмах, а также в том, что она использует язык таблиц, различий и классификаций для описания событийной жизни человека при малых скоростях. А скорости изменились. При больших скоростях смыслы отделяются от событий. Внутренняя речь отстает от внешней. По этой причине непонимание занимает место понимания. Сознание рассеивается. Речь становится пустым бормотанием. Возникает





клиповое мышление. Или «мусорное» сознание. Но самое страшное для современной психологии состоит в признании того, что сознание замещается антисознанием, что язык оказывается врагом сознания, которое, в свою очередь, оказывается не чем иным, как галлюцинацией, склеенной эмоциями. Что человек — аутист. Что современный человек — это симуляция человека. Расширение симулятивных пустот культуры поглощает в себя «что» человека без остатка. Человек исчезает, и остановить это исчезновение может только чудо.

Итак, современная психология не поняла, что человека сделал абсурд. Что речь и сознание — следы, оставленные абсурдом. А это значит, что изучать их, следуя нормальной логике бессмысленно. Любой знак укоренен в антизнаке, слово связано с антисловом, речь — с антиречью. Причина неадекватности языка психологии, используемого для описания сознания состоит в том, что психология понимает сознание в тесной связи с познанием, а не с воздействием человека на самого себя, т. е. не с самостью человека. Самость человека, личностные смыслы находят адекватное средство выражения не в языке, а в молчании и образах.

У каждого человека есть два языка, две речи. Один ему достался в напоминание о сенсорном голоде, о депривации и в нем представлен сенсорный континуум мира. *Другой* — от галлюцинаторной тождественности с другими. Первый язык — это внутренний язык. Речь для себя. Второй — внешний язык. Речь для *Другого*. В первом случае мыслить — значит полагать несуществующее, во втором — мыслить — значит говорить.

Удаление от абсурда — это ловушка абсурда. Современная психология попала в эту ловушку. Она выкинула автономию внутреннего языка и затем попыталась заменить ее укороченным подобием внешней речи. Если двуязыкий человек нуждался в выражении воображаемого, то моноречевому человеку нечего было выражать. Ему достаточно поместить себя в символический порядок. Речь у него перестала пониматься речью. Современная психология потеряла сознание как свой предмет, отказавшись видеть в речи осуществление бессмысленного.

Современная психология захотела из кривого дерева сделать прямое, т. е. используя внешнюю речь, знаки, практику она захотела еще раз сделать то, что сделал абсурд. Сделать человека. Этот поход возглавили Выготский, Леонтьев, Лурия и примкнувший к ним Бахтин. В результате они стали теоретиками существования одноязыких людей, с неразвитым самосознанием. Они создали идеологию формирования серийных людей массы, пионеров и вожатых. Но при этом ими был утерян внутренний мир человека, восходящий к абсурду, к эмоциональному взрыву и аутизму, ибо они придерживались принципа: что снаружи, то и внутри. У них везде социум, простым отпечатком которого является сознание. Но сознание строит, во-первых, самость, а во-вторых, мир. И поэтому оно не может быть отражением мира. Поиски ума в поле внешней речи, равно как и в предметном действии, ни к чему не привели. Современная психология утратила понимание условий пребывания ума в мире, отказавшись видеть в эмоциях нечто более радикальное, чем просто телесное состояние. Хотя эмоция — это речь воображаемого, то есть речь без знаков. Или, что то же самое, мысль, которую оставила речь.

Современной философии, равно как и психологии, еще нужно объяснять происхождение клипового мышления, децентрированного человека, появление человека со смещенными эмоциями, пустыми словами, пустыми знаками, пустой речью.

Современная философия утратила понимание того, что тайна человека не в уме, а в эмоции, в связи души и тела, в воображаемом. Как психологам, так и философам пора отказаться верить, что мыслят только для *Другого*, а не для себя, что вне объективации сознания нет. И что после объективации сила сознания сосредоточена в социальных институтах.

Философы по-прежнему наивно полагают, что слово наполняется социумом, а не душой человека. Что души нет нигде, а сознание везде. Что оно в слове, в жесте, в деле, в материале. Слово, как пыль, проникает всюду, поэтому сознание ищут везде. А значит, его нет нигде, ибо сознание — это эффект пребывания между двумя языками: воображаемым и символическим.

Современные философы по-прежнему разделяют заблуждение Бахтина, полагавшего, что мысль в твоей голове — это всегда неготовая, необработанная *Другим* мысль. Более того, что мысль в твоей голове принадлежит не тебе и управляется не тобой. Тем самым Бахтин призвал каждого думающего человека согласиться с тем, что он дурак, что умный — это всегда *Другой*.

В человеке стало много незкранированного, моноречевого, социального и мало человеческого, метаязыкового, неозначенного. Психика по-прежнему рассматривается как социальное, проникшее в организм, а социальный знак по-прежнему рассматривается как то, что входит во внутренний мир, чтобы совершить свое знаковое насилие⁵⁷. Тогда же как деабсурдизацию мира следует понимать как победу символического над воображаемым, знака над неозначенным. А это значит, что эмоциям, чувствам и вере нет больше места в знаково-символическом порядке мира.



⁵⁷ Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. М., 1993. С. 40–41.

Глава VI

Прагматика речи

Краткое содержание главы

1

Когда-то греки разделили мир на две части: на видимую и невидимую. И тут же стали его заново соединять. С тех пор у философов, что бы они ни делали, получается либо разделение, либо соединение частей мира. Так возник проклятый философами дуализм. Проклятый потому, что он не давал возможности найти место для третьего. Для порога. Для точки превращения одного в другое. А без знания этой точки все делалось зыбким и двусмысленным. Этим третьим является дипластия, порог, т. е. граница и одновременно соединение разъединенного. Забвение дипластики завершается построением дуальных структур. Сила дуальных структур состоит в жесткости их линейной оппозиции. Благодаря дуальным оппозициям образуется несущая конструкция мыслительно-го пространства, появляется география мысли, происходит оседание смыслов и значений. Дуальные структуры обвиняют в неравенстве, в семантическом угнетении того, что находится по другую сторону. Но дело не в тотальности подавления иного, а в том, что в дуальных структурах доминирует язык, а не сознание. Поэтому освобождать нужно не угнетенную сторону дуальности, а сознание. Негация дуальных структур ведет, в свою очередь, не к *архе*, не к дипластики, а к монотонности однородного, к линии без точки отсчета, к бытию, бытийствующему исполнением своего бытия. Или же к патовым пространствам действия, состоянию «ни мира, ни войны».

2

В Европе к дуализму стали потихоньку привыкать. И почти привыкли. Но потом появилась наука. И мыслить дуально стало неприлично. XX век — это борьба с ведьмами дуализма. Хотя никто ни от кого не требовал монизма. И многие сошлись на том, что упорядоченная эклектика тоже ничего, т. е. пригодна для философствования. Сначала остракизму была подвергнута такая бинарная структура, как сущность и явление. Эту структуру заменили феноменом и на этой основе стали строить однородные серии смыслов и событий. Во Франции вызвала наибольшее неудовольствие оппозиция природы и культуры. Эта оппозиция годилась только для того, чтобы отличить вареное от сырого, но она ничего не могла предложить для объяснения запрета на инцест, ибо в инцесте стиралась граница

между природой и культурой. Вот тогда-то и обнаружилось, что дуальности — это негибкие структуры и что со структурами надо вообще кончать.

Заметим, что в понятии структуры закодировано забвение дипластии. Отказ от структуры приводит к удвоенному забвению, к забвению забвения, именуемому постструктурализмом. Первым же своим декретом постмодернисты структуру из онтологии перевели в разряд методологии. Здесь ее уже стал «добывать» Деррида, который в ней обнаружил центр. В понятии центра, как и когда-то в инцесте, соединялось два противоположных предиката. Центр был одновременно и вне структуры, и в ней самой. Децентрировав структуру, Деррида перевел ее из вертикального положения в горизонтальное, из плана сосуществования в план темпоральный, в серию последовательно множасьихся различий. Чем хороша эта серия? Тем, что у нее нет ни начала, ни конца. У нее и за спиной бесконечность, и впереди бесконечность. И никакого присутствия, никакой точки отчета, никакого нуля, ничего ставшего, никакой структурности. О противоположностях как о крайностях в постструктурализме говорить нельзя. Это не очень корректно. То есть в мыслительном горизонте постструктуралистов накладывается запрет на дипластию, на возможность неделимого соединения взаимно исключаящих сторон мира, на абсурд, упакованный в какое-либо организменное или популятивное целое.

3

В России тоже боролись с дуализмом. Но на свой манер. Русские люди православные. И нам, конечно, невыносим был прежде всего дуализм души и тела. И вот три гиганта мысли, три гениальных человека решили с этим дуализмом покончить. Это Выготский, Леонтьев и Бахтин. По сравнению с ними Якобсон — это мальчишка, просто уловивший дух времени.

Выготский заменил дуализм души и тела на монолог. Ведь речь — это и не душа, и не тело. Вот с ней и надо было, как полагал Выготский, работать психологу.

Леонтьев сделал упор на деятельность. Ведь деятельность не бинарная структура, в ней уже стерты различия между душой и телом. И поэтому, на взгляд Леонтьева, не могло быть лучшего теоретического основания как для психологии, так и для гуманитарных наук.

Бахтин выбрал неструктурность знака как последнюю объяснительную инстанцию для человека.

В стратегии Выготского речевой знак подчинялся уму. Этим подчинением преодолевался знаковый дуализм. Ум был обязан своим существованием *Другому*. *Другой* — это социум. Всякое скольжение знака по временной шкале заканчивалось заданностью «уже-социума». Поэтому Выготский создал культурно-историческую теорию человека, не вскрывая смысл «уже-социума». Вот этот «черный ящик» под названием «уже-социум» разломал Поршневу, который заглянул в него и обнаружил в нем антиязык и силы, приводящие к абсурду.

Ход мысли Леонтьева был иным: он действие подчинил предмету, а уж из предметного действия им выводился ум. В этом пункте он отличал-





ся от Выготского. Проблемой же для Леонтьева являлось неизвестно на чем основанное сопротивление действию. Ведь сопротивление действию не вытекало из предметного действия. И Леонтьев приписал причину его существования личности. Иными словами, существование лица является для Леонтьева проблемой, не решаемой в терминах предметного действия. Знаки и предметы понимаются Выготским и Леонтьевым как приманки, на которые клюют люди. Особенно дети. Дети тянутся к ним, как игрушкам, играют с ними, а играя, вытягивают и усваивают смыслы и значения из сознания *Другого*. Дети ловят знаки, а вместе со знаками они пропускают в себя значения, существующие в сознании *Другого*. *Другой* — это язык. Это универсум деятельности.

Бахтин, не раздумывая, также связал знак с *Другим*. Для него *Другой* — это элемент множества поименованных других, которые вступают в разговор, высказываются, именуют тебя, учитывая время, место, положение и статус. В знаке Бахтин видел эффективный способ убегания от всяких дуальностей. И в этом смысле Бахтин делает то же, что и Деррида, только чуть раньше. Он не ищет в структуре дипластию, а заменяет противоположности серией различий, уходящих в бесконечность. Создавая теорию речевых жанров, Бахтин не предполагал, что, избегая структуры, он выкидывает из теории знака метафизику присутствия. Он надеялся, что выкидывает дуальность как возможность неясного отсыла к душе.

4

Борьба с дуальностями шла бойко. Но к концу 20-х годов обнаружилось, что — о ужас! — выкидываемые структуры живы, что речь бывает внутренней и внешней, что у знака есть еще смыслы и значения, ответственность за которые не несет *Другой*, что сознание может быть беспредметным. Чтобы окончательно покончить с дуальностями, нужно было бы выкинуть соответственно знак, речь, деятельность, ибо сами эти недуальные образования нуждаются в структурном дуализме, коренятся в нем. Но для этого надо вводить представления о понятии, о событиях и эффетках и отказаться от языка причин и сущностей.

Выготский с Леонтьевым устранили новый дуализм простым, но надежным способом. Они устранили внутреннее, уподобляя его внешнему. Они выводили внутреннее из внешнего. Так была создана теория интериоризации, платой за которую стало непонимание причин существования личностного смысла.

Бахтин попытался стереть различия между означаемым и означающим, чтобы избежать структурного дуализма внешнего и внутреннего. Для этого он и то и другое приравнял к предмету. У Бахтина означающее не могло пониматься как различие, а означаемое — как понятие. Беспредметное сознание перестало для него существовать.

Поршнев, напротив, не стирает различия между внутренним и внешним, а доводит их до абсурда. Поршнев уверен в том, что абсурд приведет его к истоку, к *архе*. Бахтин так не думает. Тем самым он попадает в круг, т. е. для критики структуры он нуждается в знаке, который сам воспроизводит

ту же критикуемую дуальность. Поэтому для Бахтина нет истока, *архе*, нет возврата к началу. А есть бесконечное множество речевых жанров.

Жинкин полагает существование внутренней речи до внешней. Обе эти речи у него автономны, нередуцируемы друг к другу. Вместе они составляют возможность появления сознания.

Усилиями психологов речь из проекта Выготского соединилась с действительностью из проекта Леонтьева и в итоге образовалась новая парадигма: речь как действие. А это уже предмет размышления Остина и психолингвистов.

5

В «Прагматике речи» я хотел бы показать, что речь не может быть редуцирована к внешней речи. В ней всегда есть немая речь, которая не образуется интериоризацией. Знаку всегда противостоит антизнак, неопределенное. Символическое действие всегда сопровождается испытанием в горизонте воображаемого.

Нельзя одновременно говорить и думать. Если бы это было возможно, то тогда говорить означало бы думать, и сам акт говорения делал бы излишним чередование звука и паузы. Иными словами, говорящий перестал бы слышать самого себя. Ибо слышать себя можно только в тишине молчания. Поэтому мысль нуждается в молчании, а речь — в звуке. Речевое мышление пульсирует между звуком и молчанием. Между символическим и воображаемым.

§ 1. Инстинкт и первичная репрезентация

Незавершенность человеческого инстинкта «в чистом виде можно наблюдать на безнадежных идиотах, на тех несчастных существах, которые как бы не поддаются дрессировке»⁵⁸. Слово «инстинкт» придумали стоики, чтобы обозначить ум животных в отличие от ума человека. Ум человека связан с эмоцией или со словом. Ум животного с инстинктом. Инстинкт и слово, как Восток и Запад: вместе им не сойтись. Вместе их сводит только абсурд.

В инстинкте упаковано первичное действие в мире. В слове — первичная репрезентация мира. В составе репрезентации нет признаков состояний мира до слова, нет выхода к *архе*, к первичному действию. Мир — это теперь образ мира, т. е. образ замещает мир, являясь его первичной репрезентацией. Этот образ эманурует бесконечным множеством высказываний, линейная последовательность которых не может исчерпать полноту образа. В горизонте репрезентаций мир предстает как последовательно развертываемый текст, который, в свою очередь, также не может исчерпать полноту первичной репрезентации и поэтому уплотняется в гипертекст. Возможность языковой интерпретации лежит не в мире, а в самости аутиста, как его невозможность, путь, который лежит через преодоление пределов самости. Имена — не свойства вещей, как думают дети, а свойство воображения.

⁵⁸ Выготский А.С. Психология развития ребенка. М., 2004. С. 78.





Инстинкт подчинен принципу реальности. Слово подчинено порядку символического. У инстинкта нет памяти. У него нет ни прошлого, ни будущего. Инстинкт работает как бесконечно длящееся настоящее. Слово проблематизирует настоящее, которое перестает быть и начинает значить.

5 То, что значит, не следует из того, что существует. Воображать — значит означивать и одновременно отдавать предпочтение тому, что значит, перед тем, что есть. Говорить — значит связывать значения воображаемого со знаками языка.

10 Человек, покинув пещеру, природой данную складку реальности, оставил для себя две возможности: восходить ввысь или спускаться в глубину, покидать пещеру или возвращаться в нее. Нежный ум архаического человека был поставлен перед необходимостью все время отвечать на одни и те же вопросы: где, куда и что делать. Например, где стоит стол и куда поставить палатку. У его мысли появились оси и ориентации. И он, конечно,

15 стал отдавать себе отчет в том, что если стол стоит у окна, то это не следует из понятия стола. Это место еще нужно найти. То есть география мысли появляется у него до того, как появится история мысли. Когда ребенку говорят слово «часы», он не размышляет о понятии, он обращается к географии, начиная их искать. Найти часы для ребенка — это значит вывести их из глубины на поверхность. Выставить на обозрение. Ведь они где-то есть, хотя и не явлены. Быть — не значит являться. Бытие не входит в состав присутствия, в разряд наличного. Поэтому оно не является объектом восприятия. То, что есть, ускользает из-под взгляда архаического сознания, оставляя ему зыбь несуществующих сущностей. В этой первобытной зыби

20 колея мысли прокладывается аффектами, повелительной формой глагола. Конечно, аффекты ограничивали количество слов, которые находились в распоряжении первого человека. Это количество не превышало количество фонем. Возможно, что звуковая речь умещалась когда-то в пространстве одного слова. А поскольку эта речь предназначалась для коммуникации с

25 *Другим* и ею правил аффект, постольку в ней нельзя было зафиксировать качество предмета. Поэтому сознание фиксировало фоновым образом не причины, а аффекты, не вещи, а события. Оно не могло видеть зеленое дерево. Ибо это качество вещи. Первобытное сознание видело то, что зеленело. Зеленеть — это бестелесное событие. Такие аффекты, как «зеленеть», «смеркаться», «дождить», не имеют субъектно-предикативной структуры и выражаются безличными глаголами. Их бытие тождественно с их исчезновением. То есть первичное сознание имело дело не с вещами, а с бестелесными событиями, с тем, что ускользает, а не уничтожается. Бестелесное

30 нельзя поместить в высоте высокого, потому что там оно потеряет тот минимум бытия, который у него есть. Не может быть так, чтобы деревья росли на земле, а шелест листьев доносился с небес. Нельзя его поместить и на глубине, ибо там оно станет сущностью. Следовательно, архаическое сознание было сознанием поверхностным, то есть оно бестелесные эффекты помещало на поверхности того, что есть. На этой поверхности, как заметил

35 Делез, эффекты рвутся до сих пор.

Слово, разрушив инстинкт, тормозит непосредственные реакции. Отсроченное действие попадает под власть воображаемого, требуя

доопределения со стороны того, что значит, а не того, что есть. Нисчерпаемость первичной репрезентации в речи указывает на то, что речь имеет свой предел, что какие-то смыслы носят дознаковый характер. Хотя многие, в том числе и Б. Поршнев, исключали дознаковый характер первичной репрезентации мира, проблематизируя существование веры, чувств и интуиции. У них речь предстает в виде монстра, весильного, как Берия. Например, Поршнев полагает, что речи может противостоять только контрречь. Но если это так, то нет никакого различия между инстинктом и речью. И то и другое делает тебя производной величиной, случайной реальностью. Между тем, дознаковый характер воображаемого предъявляет себя как молчание отложенного действия. Если бы не было немоты молчания, то речь была бы невозможна. Ибо сама речь только и возможна как результат узнавания немотствующих смыслов первичной репрезентации. Без этих смыслов не о чем было бы говорить. Неозначенное молчание образа противостоит означенному молчанию речи. И это противостояние делает возможным сознание.

Животное является рабом визуального поля. Палка и плод, который достают палкой, должны лежать в одном визуальном поле, чтобы быть одной реальностью. Но если палка будет сдвинута за пределы этого поля, она перестанет быть реальностью. Решение задачи станет для животного невозможным.

Человек выстраивает свое действие в горизонте речи. Но человек не раб речи, ибо он все время доопределяет свою речь и, следовательно, свое действие воображаемым. В речи возможно бесконечное сочетание слов, т. е. осколков целого. Но в речи невозможно передать смысл целого. Невозможна отсылающая только к себе, самодостаточная речь. Ибо это целое держится образом мира, его первичной репрезентацией. Поэтому воображаемое и речевое действие не совпадают. Образ стоит против речи. Воображать — значит совершать речевую трансгрессию. Отказаться от существования неозначенного — значит признать, что феномен человека редуцируем к речи, и, следовательно, человек раб речи.

§ 2. Речь и инстинкт

В антропологии интересен не человек, а его края, контуры и границы. Вот интересно, где он начинается и где заканчивается. И почему эти начала и концы все время смещаются, мигрируют, заставляя всякий раз заново задавать один и тот же вопрос: что такое мышление, что такое язык, что такое труд? Ведь понятно, что человек — это то, что он о себе говорит. И было бы нетактично искать в этом говорении еще что-то помимо того, что оно сообщает.

Рассказывает П. Гальперин: одна американская семья, поверив в то, что движение по логике смысла вещей делает человека человеком, решила сделать человеком не только своего ребенка, но и шимпанзенка. Малышей кормили одной грудью, поили из одних бутылок, окружали одними предметами, дети вместе играли, шимпанзенка учили еще и распознавать назначение вещей, учили языку. В итоге человек стал человеком, ибо у него была





возможность стать человеком, а обезьяна стала обезьяной, ибо у нее была возможность стать обезьяной. Обезьяна никогда не станет человеком⁵⁹.

Цитата из Поршнева: «Тут тоже действует принцип „или — или”»⁶⁰. Или речь, или инстинкт. Речь — это проект ожидаемой жизни. Инстинкт — это врожденный тип жизни. То, что зайца делает зайцем, а волка — волком. Либо доминирует первая сигнальная система, либо — вторая. Дуализм речи и инстинкта методологически плодотворен, ибо он накладывает запрет на всякое «полу», на неопределенность. Благодаря дуализму можно не принимать в расчет аморфное, делимое. Например, можно не принимать в расчет орудия труда, ибо они могут быть совместимы как с инстинктом, так и с речью. Следовательно, орудия труда ни о чем не говорят. Это голая фактичность, которую можно вынести за скобки антропологического дискурса. Палку, которую использует обезьяна, чтобы достать банан, можно понимать и как орудие, и одновременно как продолжение конечности обезьяны. Или вот прямохождение человека. Этот факт тоже можно не принимать во внимание, ибо он может мыслиться как точка на шкале выпрямления согнутого. На этой шкале можно найти место также и для полусогнутого. Или, что одно и то же, для получеловека. А всякое «полу» уже неприемлемо в силу своей неопределенности. Поэтому проблему прямохождения, чтобы она не вводила в заблуждение, тоже нужно вынести за скобки антропологического дискурса.

Дуализм речи и инстинкта накладывает запрет на то, чтобы мыслилось живое существо с полуречью, т. е. с как бы речью. Существует либо человек с речью, либо животное без речи, и, следовательно, без ума.

§ 3. Речь детей между инстинктом и воображаемым

Детский язык напоминает язык первобытного человека, в котором значения существуют вне связи со знаками. Если бы они существовали в связи со знаками, то ребенок был бы рационалистом. А не аутистом. Он преследовал бы целое, а не жил в мире грез. Пока ребенок не видит связи между знаком и значением, он, по Выготскому, не мыслит. Вначале он начинает говорить, а потом уже мыслит. Несвязность значения и знака указывает на работу воображаемого в отсутствие символического порядка. Результатом работы воображаемого является идеальное, которое обозначается словами. Если знаки обозначают предметы, то слова — понятия.

Жизнь ребенка делится на две части: до первого слова и после него. До первого слова ребенок похож на обезьяну, хотя и уступает ей в моторной ловкости, в интеллекте тела. Биологическая беспомощность ребенка — следствие депривации. Затем появляется слово. Вначале оно не дает ребенку ничего полезного. Более того, оно разрушает прежнюю систему приспособлений к предметной среде. В последующем оно создает свою систему приспособлений к действующим силам воображения.

⁵⁹ Гальперин П. Я. Лекции по психологии. М., 2002. С. 105.

⁶⁰ Поршнева Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 1974. С. 127.

Детей уже окружают предметы, сделанные одним человеком для другого. Действуя по логике смысла этих предметов, ребенок входит в символический порядок *Другого*, в социальный мир. Животное, которое пользуется человеческими предметами по логике рефлекса, становится домашним. Одомашнивание человека — одна из функций воображаемого. Платой за дом, как пространство подлинного, стал разрыв между реальным и воображаемым. Благодаря этому разрыву пещера превратилась в несимулятивное пространство культа.

В доме дети играют. Во время игры они переозначивают значения, тренируют свои эмоции, упражняют свои чувства и интеллект. Среди детей никто никого не слушает, потому, что все они громко думают.

Первое слово ребенка намекает на палеографию слова вообще. Первое слово не обозначает предмет и, следовательно, находится вне цепочки означающего и означаемого, как их условие, как тот вербальный хаос, в котором разбегутся звук и значение. Первое слово — это интонация звука, сопровождаемая жестом, который идеальное соединяет с внешним. Иными словами, палеография слова ведет к антислову, к эмоции как языку воображаемого и указательному жесту.

Когда ребенок говорит «мама», то он не обозначает предмет, а интонационно требует: «иди сюда», или «дай», или «помоги мне». Это словопредложение без лексического смысла, это пустой смысл, символическая матрица, заполняемая *Другим*, а не часть речи, описываемая грамматикой.

Первая фонация ребенка — это крик⁶¹. Ребенок кричит, как животное. Но его крик происходит уже не в пространстве реального, а в пространстве воображаемого, в доме. Поначалу крик ни к кому не обращен. Затем на рефлексорном уровне обнаруживается связь между криком и средой. Появляется адресат крика. И этот адрес случаен, то есть крик не обязательно обращен к человеку. Например, адресатом крика ребенка может быть волчица, как у индийской девочки Камилы. Или мама, как у всех остальных детей. Все дети кричат одинаково противно, но каждый по-своему. Голосовые связки не принимают участия в крике. Физиологически крик — это дело диафрагмы, дыхательного аппарата. Его звуки, как и звуки животных, бесструктурны, то есть бессмысленно искать в крике гласные или согласные. Но в крике есть намек на интонацию, которая считается близкими и животными.

Ребенок два месяца кричит, а потом он гукает. У него начинается гуление, воркование. Появляются звукокомплексы типа «агу». На стадии воркования проявляется дипластия, соединение плюса и минуса. На этой стадии по-прежнему работает один и тот же физиологический аппарат, но он производит два прямо противоположных смысла. Две эмоции. Гуканье носит положительный характер удовлетворенного рефлекса. Отрицательный характер неудовлетворенного рефлекса выражается в плаче и криках. В полгода ребенок начинает лепетать, удваивая слоги типа «да-да», «па-па», «ма-ма». Лепет — это речевой хаос эгоиста, в котором нет места *Другому*. Здесь есть все и нет ничего. В лепете есть все звуки мира. То есть даже

⁶¹ Бауэр М. Психическое развитие младенца. М., 1985; Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986.





такие звуки, которых нет в речи человека. Это и фырчанье какого-то зверя, и птичий лепет, и шелест листьев, и бульканье воды, и щелканье.

В хаосе лепета голос замкнутого на себя ребенка реализует имитационный рефлекс. И одновременно ребенок подражает самому себе, а не *Другому*. Тем самым воображаемое помещает себя в ситуацию зеркала. Он впервые себя услышал, и ему понравилось все, что он делает. Так появилась нулевая коммуникация, аутоэхолалия и ее продукты, такие слова, как: папа, мама, дядя, тетя и пр. Все эти слова не имеют для ребенка никакого смысла. Эти звуки радуют взрослых, которые вкладывают в них, как в пустую банку, смысл. Плачут, гуляют, лепечут и глухие от рождения дети, т. е. все это не зависит от социальной среды, от *Другого*.

Языковая среда, как магнит, вытягивает из хаоса лепета те звуки, которые близки ее символическому порядку. Поэтому лепет русского ребенка — это уже не лепет ребенка из семьи французов. В фонации ребенка интонация меняет свой рисунок, реагируя на среду. То есть воображаемое вступает в контакт с символическим. Чтобы ориентироваться в среде, достаточно менять интонации. Это изменение иногда называют протожанровым мышлением. Например, если годовалого ребенка с одной и той же интонацией спросить «где окно?», то он покажет на окно и когда его спрашивают по-русски, и когда по-французски, и когда просто «а ля-ля», но с одной и той же интонацией. На слова близких ребенок реагирует одним образом, на те же слова других он дает другую реакцию. То есть ребенок уже помещен в интонационное пространство отношений «Мы — Они». И язык здесь не столько сближает, сколько разделяет.

Они — это чужие. Они страшные. Их надо бояться. От них исходит опасность. Плач ребенка — это призыв к своим. С «они» начинается общность у первобытных. С «они» начинаются социальные отношения у ребенка.

Мы — это наши интонации. Мы — это люди. Они — это нелюди, обезьяны. Мы связаны одной мелодией. У нас, как у первых людей, одно воображаемое, один обряд, одна немая речь. У нас понятные интонации. Мы одно целое. И любая мать умело считывает интонации своего одномесячного ребенка. Конечно, подражают своим.

Они — это границы, за которыми находятся те, кому не подражают. Они — это минус, отрицательная эмоция. Мы — это плюс, положительная эмоция. Наш язык создан для того, чтобы мы не понимали их. Чтобы они не могли прикинуться нами и не смогли оказывать на нас давление, т. е. речевую суггестию. Чтобы понимать своих, достаточно голоса, его интонаций и мелодии.

На втором году жизни ребенок становится феноменологом. Он начинает воспринимать звуки фонематически. То есть он может слышать одно, а реально воспринимать другое. И это другое связано с фонемой. Это как если смотреть на прямую линию, а видеть в ней прямую. Того, чего нет. Ребенок в звуках начинает слышать некий звукотип. Например, мы говорим «вода» и «вот», имея в виду вуду. Здесь одна фонема, но разные звуки. Слова «дам» и «сам» различаются звуками, представляющими разные фонемы. В ленинградской школе фонологии фонемный состав слов «коз»

и «кос» одинаков, а морфемы разные. В словах «род» и «рот» мы слышим одинаковый звук <т>. Для ленинградской школы это одна фонема. Для московской — разные⁶². Звуков много. Фонем мало. По количеству фонем можно судить о количестве слов в первичном языке, об интеллекте первочеловека. Неоформленные звуки предшествуют звукам речи, соотнося их с жестовым языком. Концепты фонем, вероятно, создавались в условиях доминирования письма, кинетической речи.

Обычно дети произносят ударный слог, отбрасывая неударный. Иногда они произносят первый слог. Вместо «болит» говорят «бо», вместо «иди» — «ди». Дети могут игнорировать звукофонематический состав слова, заменяя его ритмическим слоговым скелетом. Вместо «огонек» они говорят «нанек», вместо «закрой крышку» — «какой киску»⁶³. Дети, как поэты, осуществляют редукцию языка к изначальному предсоставленному состоянию, показывая, что слова состоят из морфем, которые в прошлом тоже были словами.

Итак, в 9–12 месяцев у ребенка появляются новые слова со странной семантикой. Через 6–8 месяцев происходит вербальный взрыв. Через 2 года слова комбинируются. В 2,5 года дети меняют слова по падежам и времени. При этом у ребенка четко выделяется четыре фонемных гнезда, каждое из которых представляет триплет. К этому времени у каждого уже есть то, что можно называть «уже-сознанием», т. е. сознанием без Я. А еще есть немая речь, которая строится чувственностью, а не знаками. В этой речи нельзя отделить то, что говорится, от того, как говорится. В ней эмоция и язык понимания эмоции совпадают. Поэтому она ничего не высказывает. Эта речь непроницаема для Другого. Фигура Другого возникает на стадии самоузнавания и рефлексии.

§ 4. Речь

Количество слов не равно количеству вещей, ими обозначаемых. Если бы было равенство — не было бы речи. Ведь что ты говоришь, всегда меньше того, что тебе удалось сказать. Поэтому язык ничего не говорит сам. Он не может сказать больше, чем ты сказал.

Простейший акт осмысленной речи состоит из двух элементов и составляет синтагму. Поэтому синтагма может пониматься как сакральный порог речевого абсурда. Но чтобы разговаривать, нужно уже до всякой синтагмы иметь мистическое единство душ⁶⁴. Если бы не было уже этого единства, то разговор был бы не нужен, то есть ему нечего было бы выявлять. А язык был бы только средством отказа от понимания. Разговаривать вне связи с «уже-единством» — это то же самое, что забрасывать собеседника камнями. «Мы говорим ради семемы»⁶⁵. А семема — это, безусловно, неустойчивое, зыбкое. Нечто личное и интимное. Семема — это моя речь,

⁶² Русский язык. Энциклопедия. М., 1997.

⁶³ Психология грамматики. М., 1968.

⁶⁴ Флоренский П. Введение в историю античной философии. Лекция 10 // Философские науки. 2003. № 3. С. 80.

⁶⁵ Там же. С. 81.





а не речь *Другого*. «Свое» я могу предложить нашим и ожидать понимания от них. Если бы семема, то есть то, что я думаю, что я чувствую, была бы дана в чувственном представлении, она могла бы передаваться этим представлением без меня. И тогда никакой речи было бы не нужно, а представление было бы представленным. Но чувства — это не театр, они не дают представления. «Мое» дано не в представлении чувств, а в образе того, чего нет, что отсутствует.

«Мое» не дано в чувственном представлении того, что есть. Его еще нужно найти и идентифицировать себя с ним, как со своим образом в зеркале. Если бы оно было дано, то его можно было бы сфотографировать и отправить *Другому*. Значит, семеме слова нужно передать иным способом, а именно речью. А речь без меня бессмысленна. Без меня речь — это просто мертвый язык. Например, в семеме слова «береза» есть место и для меня, и для первобытного человека, и для ботаника, и для Куинджи, «Березовая роща» которого висит у меня на стене.

У говорящего одни мысли. У слушающего — другие. Они могут сойтись в слове, а могут и не сойтись. Но тогда слово — это перекресток внутреннего и внешнего, а не пересечение внешнего с внешним. Если бы не было слова, человек оставался бы в пещере, в самозаключении. Или, напротив, был бы рабом внешней речи. Язык — это выход человека из изолятора самозаключения. Поэтому социальное определяется языком, а индивидуальное — душой. В коммуникации с *Другим* есть знаки и значения. В нулевой коммуникации есть замыслы и мысли.

Речь — это непрерывно возобновляемая попытка придать смысл бессмысленному. Если бы однажды это можно было сделать, то затем не было бы нужды говорить⁶⁶. Но стоит только однажды замолчать, прекратить говорить, как немедленно показывает свою физиономию полный абсурд. Поэтому речь — это убежание человека от абсурда, попытка привести в движение свой язык, первичную репрезентацию мира. Чтобы можно было затеряться в бесконечных складках репрезентации. Речь, по словам Жинкина, — это не что иное, как транспортер мысли⁶⁷.

Речь состоит из двух частей: из говорения и слушания. Говорение задается звуками. Слушание — молчанием тишины. Речь — это звуки, которые приняты тишиной молчаливого. Жестикуляция с самого начала соперничала со звуками, старалась овладеть молчанием⁶⁸. Речь без молчания слушающего — это гул. Молчание без вслушивания в говорящего — это глухота. Всякая речь пульсирует между гулом и глухотой. Вот эта пульсация заставляет заново поставить вопрос о письме в его предельном варианте: рисовании.

По всей видимости, люди рисовали, не умея разговаривать. Рисунок, изображение являются симптомами существования воображаемого. Если бы люди умели разговаривать, то им не нужно было бы рисовать. Им не нужна была бы депривация и им не нужно было бы галлюцинировать. И наскальная живопись первых людей тогда была бы невозможна. Немота,

⁶⁶ Этхинд Е.Г. Внутренний человек и внешняя речь. М., 1999.

⁶⁷ Жинкин Н.И. Механизм речи. М., 1958.

⁶⁸ Розенитюк-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994. С. 145.

рожденная встречей с абсурдом, отделяет человека от животных и создает условия для речи. Не в устной речи, а в рисовании лежат корни письма и речи. Изначально речь, видимо, была связана не с мыслью, а с движением, с действием, с эмоцией, обработанной трением воображаемого и реально-го. Речь — это запрет на действие по сигналу из пространства, образуемого силами реального. В речи освобождаются силы воображаемого и создается пространство для символического действия. Все или почти все в становлении человека зависело от жеста запрета и жеста разрешения. От «да» и «нет». Поэтому-то первые слова — не существительные, а глаголы, которые обозначают действия, процессы, а не предметы. Если бы первые слова были бы именами существительными, то человек рождался бы сразу философом, т. е. человеком-одиночкой. И сразу же он находился бы в точке встречи с миром. Один на один с ним, бросая ему вызов, именуя его. Но речь — это не познание мира, человек — а не одиночка. Речь изолирует человека от тепла инстинктивного контакта с вещью и связывает с немой речью *Мы*.

Поскольку язык создавался не для выражения мыслей, а для выражения аффекта, постольку речь могла быть однословной. Она сводилась к пространству одного слова. К одному звуку, в котором помещался весь текст. Расширение пространства языка состояло в расширении аффектов, в стремлении говорящего расширить точечную площадку проявления своей сути, которую ему давал аффект. Ритм — это имманентный способ преодоления пределов аффекта. Звуковая субстанция ритма строится на тоновых подъемах и падениях и их повторениях. Аффект переводит свою энергию в звуковую мелодию. В мелодии аффект успокаивается.

Речь — это интерактивное действие. Она запрещает, внушает или имитирует. Ее модусы — интердикция и императив. Человек прежде должен был научиться писать, чтобы потом научиться говорить. Кинетическая речь и есть, видимо, то протописьмо, исследованию которого посвятил свою «Грамматологию» Деррида⁶⁹.

В речи человека господствуют звуки, производимые струей выдыхаемого воздуха. Это называют экспирацией. Звуки животных задаются струей вдыхаемого воздуха. Это называют инспирацией⁷⁰. Но человек использует в своей речи инспираторные звуки в качестве междометий. Такие, как «ой» или «ах». Иногда они используются в обращении к животным. Например, «тррр» — к лошадям, «фу!» — к собакам, «брысь» — к кошкам, «цоб-цебе» — к быкам, «цып-цып» — к курам. Возможно, в этих обращениях, а также в разных щелкающих звуках, в чмокании сохранились какие-то фрагменты древнейшей стадии существования речи. Хотя лингвисты не любят, когда в современном языке пытаются искать такие остатки.

Палеантропы, т. е. животные, уже умели размазывать пятна красной охры, пережженной глины или окислов железа. Для этого им не нужно было иметь сознание, для этого достаточно было игры сил реального. Самец птицы австралийский атласный беседочник тоже раскрашивает внутренность своей беседки кусочком измочаленной коры. Если он

⁶⁹ Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000.

⁷⁰ Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М., 1974.





ее не раскрасит, то самка его не отличит, не примет за своего. И он не станет ее партнером. Беседочнику не нужно сознания. Ему достаточно инстинкта.

Мустьерское использование палеантропами охры для пятен на камнях, отпечатки их пятерни, насечки и полоски, графические и скульптурные изображения животных и самих себя — все это следы работы воображаемого, которое не имеет никакого отношения к искусству и находится у истоков возникновения речи.

§ 5. Прагматика речи

Ч. Моррис выделил три аспекта у знаков человеческой речи: семантику, синтаксис и прагматику. Прагматика⁷¹ — это отношение знака к поведению человека. По Моррису, существуют четыре типа знаков: 1) знаки-десигнаторы, 2) аппрайзеры, 3) прескрипторы, 4) форматоры. Десигнаторы информируют, называя или описывая. Аппрайзеры оценивают. Прескрипторы предписывают. Форматоры помогают, поясняют. Все четыре типа знаков можно, видимо, свести к одному: к прескрипторам, к предписанию. Полагая, что человек изначально вовлечен в действие суггестии. Если эту редукцию не сделать, то получится, что есть разные речи: речь-описание, речь-оценка и т. д. Но тогда должна быть еще какая-то метаречь, которая бы связывала все эти речи в одно целое. Проще представить в виде конкретно всеобщей речь-предписание, речь-действие. Ибо только в ней обнаруживает себя неозначенное сознание, а вербальная команда редуцирует-ся к первосигнальной реакции.

Генетически, а значит и логически, слова предписывали, а потом уже описывали, оценивали и разъясняли. Речь внушала, а не информировала. Поэтому прагматику речи стоит изучать со слов-предписаний, повелений. В том числе и повелений, адресованных самому себе. Ибо управление собой предпосылается управлению другим. Поэтому в таких словах, как «клянусь», «обещаю», сообщение о действии неотделимо от самого действия. Но мотивация этих слов находится вне поля коммуникации, т. е. она находится в дословном горизонте «уже-сознания». Если повеление встречается с повиновением, то возникает отношение господства. На суггестивное действие речи обратили внимание психологи. Например, Лурия в «Лекциях по общей психологии» говорил о том, что с животными работать тяжело. Чтобы выработать условный рефлекс у животного, рефлекс нужно многократно повторять, все время его подкрепляя. А вот с человеком работать легко. Ему достаточно дать речевую инструкцию — и все, не нужно повторять и подкреплять указание. Следовательно, переделка действия, а значит и человека, не представляет большой сложности. «Все это, — пишет Лурия, — говорит об огромной пластичности и управляемости процессов сознательной деятельности человека, резко отличающей его поведение от поведения животных»⁷².

⁷¹ *Morris Ch.* Foundation of the Theory of Signs. Chi., 1938.

⁷² Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. М., 2004. С. 72.

Но что делать, если повеление встречает сопротивление, если речи противопоставляется контрречь? Возникает вопрос: что именно оказывает сопротивление, в чем причина контрречи? Речевым знакам оказывает сопротивление воображаемое, неозначенное сознание того, что требует определения. Например, тебе говорят: «стоять», а ты идешь, ибо ранее уже сказал себе, что «стоять» — это значит пропасть, погибнуть. 5

Преградой на пути реализации слов-предписаний может быть и непонимание. Тебе говорят, а ты не понимаешь, или как бы не понимаешь слов. И тем самым ты уклоняешься от суггестии, т. е. фактически говоришь «нет», «я не согласен». Отказ может быть сформирован в виде вопроса: почему? На каком основании, зачем я это должен делать? В этом случае слова-предписания необходимо усиливать через их соотнесение со словами-аппрайзерами, с системой ценностей. 10

Но лучше всего перенести прескрипции в систему умственных операций того, кто сопротивляется. Произвести в нем смену субъектности так, чтобы повеление поступало не извне, а изнутри. Чтобы индивид сам себе приказывал. Теперь прескрипция будет уже самовнушением, аутоинструкцией. Для того чтобы сменить знаки субъектности, нужна информация, нужно что-то сообщить. Например, передать информацию об определенных фактах, обстоятельствах, предпосылках, из которых логически следует необходимость выполнения прескрипции. Перевод повеления в форму самовнушения возможен в ситуации, в которой человек лишен тишины молчания. Следовательно, в ситуации, в которой никто себя не слышит, т. е. не сообщен со своим неозначенным, с тем, что продуцирует немислимое мысли. Смена субъектности возможна в человеке, погруженном в ничем не прерываемый гул. Смене знаков субъектности может помешать непроницаемость неозначенного сознания. Всякий суггестор заинтересован в том, чтобы лишить человека речи, обращенной к самому себе, лишить его нулевой коммуникации. Для этого у человека нужно вызвать чувство страха. Или, что более эффективно, нужно отобрать у него молчание, в котором иногда бывает слышна немая речь. 15 20 25 30

Если же ты готов подчиниться, но не понимаешь смысла предписания, то это затруднение преодолевается при помощи вспомогательных слов, разъясняющих речь того, кто предписывает. Чтобы знак действовал на человека, последний должен его понимать. Непонятный знак — это не знак, а условный раздражитель. Но люди понимают не потому, что есть знаки. Напротив, знаки существуют потому, что люди понимают. И это понимание носит незнаковый характер. 35

Истина символического существует не для прагматики. Она для семантики. Истина и сила воздействия слова лежат в разных плоскостях. 40

§ 6. Понимание

Понимать можно тогда, когда то, что ты пытаешься понять, ты уже понимаешь. Поэтому понимание мыслимо вне связи с познанием. Понимание и знание — это онтологически различные стратегии. Можно знать то, что ты сделал, но мир ты сможешь понять собою сделанным. Любое высказы-





вание становится понятным тогда, когда сказанное совмещается с несказанным. Слово с дословным. Схватывание смыслов дословного происходит до рефлексии или вне рефлексии. В отсутствие смысла рефлексия может только приписать смысл тому, что бессмысленно. Слова всегда понятны.

5 Непонятной может быть мысль.

Размышление тормозит действие логики слов, погружая себя в лоно бессмыслицы. Поэтому размышлением рождаются новые смыслы, на основе которых функционирует контрречь. Непонимание иногда важнее понимания, ибо оно создает языковую паузу, пустоту, которую можно заполнить новой мыслью. Эмоции, склеивая ощущения, превращают внешнее воздействие в узнаваемый объект, в то, что видят. Но видеть — не значит мыслить. К мышлению побуждает неузнанное, непонятное.

10 Понимание — это модус непонимания, его побочное действие. Если понимают то, что не понимают, то получается не понимание, а знание. Непонимание разрушает языковое тождество. Понимание создает его. Отсюда следует, что не всякое понимание диалогично. В диалоге внешней речи противостоит внешняя речь, на реплику отвечают репликой. Но главное происходит за пределами диалога, в противостоянии внешней речи и немой речи. В противостоянии, которое опосредует внутренняя речь. Неозначенная внутренняя речь омывает внешнюю, как море остров, и может составить преграду для того, кто хочет попасть на этот остров.

Язык описания мира много, а мир один. Без понимающего восприятия слово — это пустой звук. Равно как книга без понимающего чтения — это просто вещь. Что значит понимать? Для грека «я понимаю» означает «я стою на этом». Для русского понять — это значит принять. Для англичанина — «схватить».

25 Вот, например, собака. Ей дают команду. Она ее выполняет. Но из этого факта не следует, что собака поняла. Она отвечает действием на определенный сигнал. Ей — стимул, она — реакцию. Или солдат, выполняющий команду. Он, как собака, выполняет действие. Но он понимает действием. Выполнение действия и есть его понимание. А это значит, что солдат, в отличие от собаки, всегда может сказать «нет», «я не согласен». И этот отказ формируется в глубинах его немой речи.

30 Когда я говорю, что я клянусь, я одновременно совершаю действие. И это действие тоже есть понимание того, что я говорю. В точке неразличности речи, действия и понимания проглядывает архаическая речь воображаемого.

Или другой эпизод. Врач говорит больному: «покажи язык». Больной не выполняет просьбу, а повторяет: «покажи язык». То есть больной фonoлогически понимает врача. Он идентифицировал звуки, т. е. повторил фразу. Этот больной застрял в языке. Ему не хватило воображения. Он не понял, что от него ждут действия. Если же эту фразу врача повторить другими словами, то возникнет смысл. И этот повтор будет означать понимание, т. е. тождество двух разных высказываний. Но что последует за пониманием — неясно. То ли отказ выполнить действие, то ли согласие. Но все это будет уже зависеть от тех замыслов, которые формируются немой речью «уже-сознания». Ибо внутренняя речь — это внешняя речь, вариант

ситуативной коммуникации с вынесенным за пределы грамматики подлежащим. При этом во внутренней речи остаются одни прилагательные. Внутренняя речь совершается в форме внешней речи в горизонте «уже-понимания».

§ 7. Дж. Остин

Остин знаменит тем, что придумал оппозицию «перформатив — констатив»⁷³. Идея Остина проста: речь — это действие. У всякой идеи есть свои посылки и следствия. Но Остина, как мне кажется, не интересует обзор этих посылок.

Если речь — это действие, то цель языка не сообщать о том, что является истинным и ложным, не передавать фактическую интерпретацию, не заниматься репрезентацией вещей. Цель речи — воздействие. Речь — это инфлюативное действие, а не когнитивное. Если речь — это воздействие, то нельзя рассматривать языковые единицы — слова, предложения, пропозиции — как объекты, которые что-то обозначают или являются истинными. Камень, который бросают в собаку, ничего не обозначает. Он не несет с собой истины или лжи. И ничего не сообщает. Камень повелевает собаке: уйди, сгинь. И собака понимает этот сигнал. Слова как камни. Они повелевают. Но не нужно думать так, что если речь — это действие, то оно помещается в пространство намерений и целей человека. Намерения и цели — не исходный пункт и не конечная объяснительная инстанция. Они сами не являются производными от действия. Мысль в действии не от действия, а от ума, в который вслушиваются в молчании речи. И если эта производность ума от тишины молчания скрыта, стерта в современном языке, то это указывает лишь на превращение формы, на то, что речь как действие выдает себя за немую речь мысли.

«Язык — это инструмент»⁷⁴. Если дело обстоит так, как говорит Витгенштейн, то нужно признать, что цели и замыслы действия — вне действия. Воздействие предполагает то, что действует и это «что» необъяснимо в терминах действия. Хотя любое действие предстает сегодня нормированным, подчиненным правилам, все же есть основания и в правиле видеть превращение формы, т. е. видеть действие, которое ведет дальше целей и замыслов действия. Дело обстоит не так, что правило предшествует действию, формирует его и направляет, а напротив, действие предшествует правилу. Правила и нормы появляются вторым шагом, но в поле их функционирования все говорит о том, что они полагают себя как начало.

В статье Остина «Перформативы — констативы» не принимается в расчет превращение формы. Его перформативы заперты в пространстве субъективного. Они никого не касаются. Это не слова-камни. Они подчинены конвенции, искренности, обязательствам, т. е. социуму. Вот пример перформативного высказывания: «Я называю этот корабль „Свобода”». И Остин поясняет, что это высказывание не имеет силы, что я не могу дать имя кораблю, если у

⁷³ Остин Дж. Перформативы — констативы // *Философия языка*. М., 2004. С. 22–34.

⁷⁴ Витгенштейн Л. *Философские исследования* // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. 16. М., 1985.





меня нет на то соответствующих официальных полномочий. Но Я — это не элемент социума, а его граница, предел. Остин обесмысливает силу возможного в речи-действии. Конечно, Остин не может совершить обряд крещения пингвинов. Но Остин может послать воздействие пингвинам. И они ему подчинятся вопреки всяким формальностям.

Остин лишает речь силы, обесиливает ее и тем самым оставляет от речи пустой звук. У Остина слова — как новогодняя хлопушка. Шум есть, а толку мало. Ведь пустой речью называется речь, которая не действует, теряя качество раздражителя. Если тебе говорят «нажимай», а ты не нажимаешь, то «нажимай» является пустым словом. Десемантизация слова превращает его в первосигнальный раздражитель. Например, команда «кругом» является для солдата первосигнальной. Десемантизация слова достигается разделением высказывания на слова, слова — на слоги. Или изобретением последовательности, в которой материальный сигнал заменяется вербальным.

Остин может назвать корабль «Свободой». Но его перформатив холстой. Он лишен воли к власти. По-русски в таких случаях говорят: «Назави хоть горшком, только в печку не сажай».

Вот другой пример. Сержант спрашивает солдата: «Это что?» Ответ: «Ложка». — «Какая?» — «Алюминиевая». Сержант резюмирует: «Дурак, не алюминиевая, а люминивая! Повтори!» Солдат повторяет. Это пример перформатива действующего. В нем нет соблюдения норм и правил. В нем есть сила. Воздействие. И это воздействие проявляется как нарушение правил. Сказать «закрой дверь» — это перформатив. Но когда тебе отвечают: «Сам закрой!» — это конец перформатива. Это контрречь, сила, обесиливающая силу.

И то, что у перформатива нет никаких языковых признаков, говорит лишь о том, что нет никаких констативов, репрезентаций фактов. Есть речь, и она перформативна по своему смыслу. То есть речь — это действие абсурдом. Но Остин как бы приглаживает абсурд, загораживает его, делает невидимым. Остин приводит пример высказывания: «Все дети у Джона лысые, но у Джона нет детей». На первый взгляд мы имеем здесь дело с констатацией факта, с сообщением о том, что дети у Джона лысые. У этого сообщения есть presupпозиция, а именно: «у Джона есть дети». Они у него есть, если даже они и совсем не лысые. Но у Джона нет детей. И значит, нет presupпозиции, что у него дети лысые. Лишая ситуацию с Джоном абсурдности, мы лишаем ее перформативности, превращая в констатив, в презентацию факта: у Джона нет детей. Обесиливая силу слова, отказывая речи в воздействии, мы создаем условия для всеобщего помешательства, для веры в то, что высказывания бывают ложными или истинными. И это помешательство захватывает даже Остина, который стал искать подобие истины в перформативе, оценивая действие как правильное или неправильное, как справедливое или несправедливое. Редукция перформатива к правильности убивает действие. Речь как действие может быть эффективной или неэффективной. Она достигает цели или не достигает. И когда достигает, то вещь оказывается правильной. Утверждение сержанта о том, что ложка — люминивая, то же самое, что настаивать на утверждении о том, что Франция — шестиугольная. Это демонстрация силы речи, а не ее истины.

Остин говорит о речи как действию. Но у человека две речи. Означает ли это, что у него и два действия? Не получается ли из интерференции двух действий полного бездействия? Если речь — это действие, то действие может осуществляться в пространстве и во времени. Действие в пространстве — это воздействие на *Другого*. Это внешняя речь. Действие на самого себя невозможно осуществлять в пространстве. Оно осуществляется во времени. Эта речь немая, потому что она не нуждается ни в звуках, ни в жестах, ни в интонациях. Воздействие на себя предшествует воздействию на *Другого*. Это воздействие первичнее всяких правил, норм и договоренностей. Все эти обстоятельства не учитываются Остином.

§ 8. Текст

В момент, когда *Я* желает все, кроме себя, весь мир становится зеркалом для *Я*. Но в этом зеркале оно не узнает себя. И поэтому *Я* принуждено говорить бесконечное число раз, показывая на мир: «это не *Я*». Пространство между *Я* и не-*Я*, заполненное поисками имени *Я* и принято называть текстом, символом которого является умирающая ныне книга.

В Средние века было четыре служителя книги: 1) *скриптор*, который переписывал тексты; 2) *компилятор*, собиравший тексты, связанные между собой; 3) *комментатор*, который прояснял смысл текста; 4) *автор*, который излагал свои мысли по поводу прочитанного с опорой на авторитетов.

Современный текст — это не текст, не совокупность знаков, наделенных смыслом, а пространство расходящихся тропинок смысла. Непрерывное смещение смысла делает ненужной функцию автора, того, кто является производящей причиной смысла, кто удерживает его в связи с целым, одному ему ведомым. Из всех служителей книги более всех пострадал автор. С отмиранием функции автора умирает и сам автор. После его смерти теряет работу комментатор, ибо ему из-за отсутствия смысла нечего было комментировать, нечего стало прояснять. Не лучшие времена наступили и для компилятора, ибо он может соединять только то, что уже соединено между собой. Разбежавшиеся смыслы делают это соединение невозможным. Только скриптор чувствует себя хорошо. Так как письмо — его бытие. Скриптор полагает, что писать — это значит освобождать смыслы. Он, как переписчик, не существует вне процесса письма. И одновременно он комфортно себя чувствует вне процедуры порождения смысла. Скриптор — машинистка, для которой знаки не имеют никакого значения. Для нее знак — это возможность перехода к другому знаку. Она, как и скриптор, не является субъектом письма. Скриптору не надо мыслить. Для него язык существует вне связи с мыслью.

Текст является ключевым словом антропологической парадигмы языкознания⁷⁵. Текст для лингвиста то же самое, что космос для физика. Если ты говоришь, то ты уже создаешь текст⁷⁶. Но эта твоя речь существует вне

⁷⁵ Бахтин М.М. Проблемы текста: опыт философского анализа // Вопросы литературы. М., 1976. № 10. С. 122–151.

⁷⁶ Структурная и прикладная лингвистика. Вып. 5. СПб., 1998; Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. М., 1988.





связи с мыслью. Все говорят, все участвуют в создании текстов. Никто не мыслит. При этом в тексте есть внетекстовые зависимости. Например, если текст сочиняет женщина, и при этом она пытается изобразить мужчину, то она изобразит его скорее с отрицательной стороны, чем с положительной.

5 Но внетекстовые зависимости не являются тем несказанным, которое делает понятным сказанное.

В тексте автора должны быть смысловые окна. Или, что одно и то же, смысловые пустоты, заполнение которых создает возможность понимания текста. Смысловые окна предполагают существование общих знаний, то есть того, что понятно само собой без всяких дополнительных толкований. А это значит, что должны быть символы — образы, в которых группа видит одно и то же значение. Образы-символы делают возможной «речь, чтобы понимать», а не «речь, чтобы не понимать». Смысловые окна текста являются следами образа-символа. Тексту скриптора смысловые окна не нужны. Этот текст не дает символы, он их забирает. Скриптор — вампир. Его тексту нужны пустоты и жертвы, которые эту пустоту будут пытаться заполнить смыслом.

Образ объемен, многомерен. Речь одномерна. Поэтому объемный образ представим в бесконечно большой одномерной речи. В тексте. Смысловое сжатие текста лишает его понятности и приближает к изначальной плотности слова-монолита, в котором мысль существует вне связи с языком. Громоздкость толстовской фразы или разветвленность предложений Пруста только по видимости сложны и непонятны. Они удаляют текст от гиперплотности смысла.

25 Читать текст — значит заменять его смыслы на эквиваленты из своего смыслового поля. Например, в тексте: «После семейного обеда в Версале, после переезда в дождливую ночь через площадь Согласия и бульвар Со, Луи и Ренэ с чувством глубокого удовлетворения сели в пустой вагон на левобережной станции» я сталкиваюсь с пустыми знаками. «Обед в Версале» — пустой знак, т. е. в нем что-то было, но пока этот знак добрался до меня, который не был в Париже, как, впрочем, и во Франции, в нем ничего не осталось. Смысл рассеялся где-то на границе между Россией и Францией. Или даже в квартире переводчика. «Переезд через площадь Согласия» — тоже пустой знак. Как и бульвар Со. И только «дождливая ночь» да «пустой вагон» содержательны. Это единственное, за что ты можешь уцепиться и заполнить пустоту. Вместо Версаля я представляю Манеж, вместо площади Согласия — Охотный Ряд и проезд к Китай-городу. И в итоге я понимаю этот текст. Я понимаю, что была осень и кому-то, кого зовут Луи и Ренэ, было гнусно. Им было все равно куда ехать и зачем. Они устали от жизни. И живут по инерции. Я думаю, они не очень бы сожалели о своей смерти.

Иными словами, речевая структура текста сопоставляется мной не с языковой структурой предложений, а со структурами сознания, с образом-символом. При этом сознание понимается не отдельно от бытия, а в континууме «сознание-бытие». То есть сознание — это расширение бытия, которое бытийствует в этом расширении не по законам вещей, а по законам смысла вещей. Когда слушают речь, понимают не слова, а мысль.

А мысль понимают, если она обнаруживает связь с невысказанным, с тем, что мыслью не является. Например, понимают мотив мысли. Для чего она, зачем? В свою очередь, мотив не появляется из ничто. Неопределенное потому и универсально, что оно носит не знаковый характер, а образно-предметный слой первичных представлений, который называют иногда «архетипами»⁷⁷. Знаки — локальные, образы — универсальны. В любом тексте есть смысловое ядро, первичное представление. А также есть событийное ядро, первичное движение. И между ними возникают (или не возникают) пересечения и касания, удаления и сближения, замещения и переименования.

Событийный ряд доминирует в повелении, в императивном речевом тексте. Например, «дай» — это жест, которым рождается событийный сериал. Смысловой ряд доминирует в рефлексии, в задержке действия. Например, оборотом «я знаю...» открывается серия смыслов. Разрыв между событиями и смыслами заполняется информацией, аналитикой и репрезентациями речевого текста. Он может быть выражен текстом вида «говорят...».

Отождествление события и смысла образует перформативную фигуру речевого текста. Например, «я обещаю, что...». Примером ветвления событийной структуры текста и его пересечения со смысловой структурой является организменная организация событий. А именно: каждый рождается — растет — становится взрослым — старится — и умирает⁷⁸. Но один проживает жизнь без памяти, т. е. стал взрослым и забыл детство. Другой помнит, и эта память сильнее впечатлений повседневного. Кто-то живет достойно, кто-то сталкивается с несправедливостью. У кого-то много друзей и он жил весело. А некоторые одиноки.

Белянин приводит забавную классификацию текстов, в которой простые тексты соседствуют с антисоциальными, а светлые — со сложными. При этом к светлым текстам психолингвист относит «Чайку» Р. Баха. Он почему-то не замечает примитивность этого текста, хотя она многократно превосходит примитивность горьковского «Буревестника», а его светлость напоминает светлость автобиографий и некрологов. Барабанный ритм «Судьбы барабанщика» А. Гайдара может, видимо, радовать юнкеров, пенсионеров и психолингвистов, ибо этот текст не имеет второго плана, изнанки. А значит, он может использоваться в качестве заглушки для сознания. Что демонстрирует полюбившийся Белянину текст из сочинения А. Гайдара, в котором барабанщик становится объектом нейролингвистического программирования. «Выпрямляйся, барабанщик. Встань и не гнишь. Пришла пора».

Герою Гайдара не надо двух сознаний. Ему достаточно одной внешней речи. Проект создания моноречивых, одноязыких люди — людей без немой речи воображаемого — стал парадигмой для деятельностной психологии.

Итак, тексты скриптора мыслимы вне связи с сознанием. Тексты — порождаются. Сознание, по словам Мамардашвили, невозможно породить потому, что оно «уже-сознание». На письме нельзя выразить то, что

⁷⁷ Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М., 2001. С. 262–263.

⁷⁸ Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. С. 47.





скажешь голосом. Это только Деррида мог видеть в письме альтернативу голосу, полагая, что тексты обладают неким подпольем, спутанностью и многослойностью, которая порождает смыслы. Вся эта «спутанность» лишь маскировка текста, отсылающего к «уже-сознанию» немой речи, в которой появляются доязыковые смыслы.

Текст автора — это сообщение, в котором есть первый план и второй, речевой и дословный. Если что-то сообщалось, то был текст. А также была плодотворная нетождественность понятий того, кто сообщает, и того, кто воспринимает. Тождество и абсолютное различие понятий делают невозможным сообщение.

В каком виде был текст — неважно: в вербальном или живописном, музыкальном или скульптурном, танцевальном или жестовом. Конечно, буква «М» при входе в метро — это текст. Но и буква «М» при входе в туалет — это тоже текст, вернее, знак, указатель. Табличка «выход» в киноконцертном зале — это тоже текст. Но то, что «выход» может быть «входом» лишает этот текст значения. Слово «собака» на заборе сообщает: «Будь осторожен». Но это не значит, что она есть за забором. Памятник Петру I в Москве — текст. «Черный квадрат» Малевича — зашифрованное послание. Иными словами, текст двусмысленен. Это и реальность, и ускользание от реальности. При этом ускользание от реальности не расширяет реальность, а подчиняет тебя слову, которое не имеет значения.

Текст может быть связным, но не целостным. И наоборот: целостным, но не связным. Связи помимо целого — это связи означивания. Целое, лишенное связи, — это безъязыкий образ. В тексте можно выделить несколько ключевых слов. Это будет ядром смысла. Если текст свести к одной фразе, то это будет его эмблема.

Незапланированная целостность текста иногда рождает коммуникативную неудачу. Фразы, оказавшиеся рядом, создают новые смысловые связи, которые не ожидалось. Вот пример зевгмы, семантической фигуры речи, создающей комическую ситуацию: «Шел дождь и три студента: первый — в пальто, второй — в университет, третий — в плохом настроении». Или: «Продается собака. Ест любое мясо. Очень любит маленьких детей!».

У текста может быть целостность, хотя у него нет связности. Например, сообщение: «Еду на огромной скорости по скользкой дороге. Похороны завтра в 15.00». Другой пример. Фразу из известной песни — «И кто его знает, зачем он моргает», — переводили с одного языка на другой, затем снова на русский. Получилось: «И никто не знает, что у него с глазом».

Воспроизведение текста не может быть пониманием текста. Текст понимается текстом. Текст состоит из предложений или высказываний. Но в составе предложения нет указания на то, как перейти к следующему предложению. Предложение обеспечивается аппаратом грамматического синтеза. Но переход от предложения к предложению вне грамматики. Для того чтобы строить цепочку рассуждений, нужно понимать целое текста, если ты автор. И не нужно понимать целое, если ты скриптор.

Текст слушают также, как слушают музыкальное сочинение, отправляя в долговременную память набегающие высказывания. Но если я захочу их оттуда извлечь, у меня ничего не получится. Я их не повторю, как попу-

гай, а перескажу по смыслу. То есть если бы я их повторил, это означало бы, что я ничего не понял. Что мне не хватило второй речи. Ибо речь понимается речью. Поэтому их и существует всегда две: внешняя и немая.

Откуда же у меня берутся смыслы? Ведь ни в одном предложении смысла не было. Равно как не было и значения. Я выражаю сказанное ранее иными словами, тождественными его смыслу.

Любая речь незавершена. Она отсылает к другой речи. Текст отсылает к тексту. Внутренняя речь приостанавливает этот отсыл, бег в бесконечность. Она приводит все к немоте. Без внутренней речи ничего нельзя понять. Взаимная переводимость языков с разной грамматикой и лексикой обеспечивается работой воображаемого, его дословностью. При этом мышление сопряжено со слухом, воображение — со зрением, а эмоции — с кинестетикой. Но лучше всего это назвать внутренней речью вещей в путоте «уже-сознания».

§ 9. Речь и язык

Речь — это не столько сообщение *Другому*, сколько анализ собственного действия. В каждом человеке есть два языка: один — для себя, другой — для *Других*. Немая речь для себя. Звуковая речь — для *Другого*.

Язык ничей. Он для всех. Речь всегда чья-то. Она к кому-то обращена и ждет ответа. Речь диалогична. Язык монологичен. В нем оборваны все те нити, которые связывают высказывание с ситуацией. Для лингвиста история языка — это то же самое, что история одежды для портного. Для него, по словам Фослера, важна не мода, не вкусы, а список пуговиц, булавок, чулок, шляп и лент, т. е. глухие и звонкие согласные, ослабленные и полные звуки.

Язык, а значит и речь, антропоцентричны. Язык отсылает к человеку, человек отсылает к языку, к своей речи. В этом взаимном самоотсыле мало-помалу обживается мир. Язык — это уже понятный и обжитой человеком мир. И поэтому язык не позволяет человеку заглянуть за себя, быть без языка. В нем бытие и понимание бытия неотделимы. Следовательно, без языка ничего нельзя. А с языком не все можно. Никто не может говорить, оставаясь вне языка. Хотя можно быть в языке и молчать. Ибо молчать в языке — это тоже говорить. Язык не мяч, его не могут из одного поколения перебросить в другое. Речевой поток никогда не прерывается. А это значит, что есть язык, в котором сознание пробуждается. И тогда сознание не противостоит языку. Оно его как бы не замечает. И еще есть язык, которому сознание противостоит. Это чужой язык. Позднее сознание может противопоставить себя и родному языку, полагая его как язык *Другого*.

То, что психологи называют речью, лингвисты предпочитают называть языком, системой нормативно тождественных форм. «В сущности, — говорит де Соссюр, — все психологично в языке...»⁷⁹ Разграничение между языком и речью приписывают де Соссюру, каноническому тексту его «Курса общей лингвистики». Затем, правда, выяснилось, что у де Соссюра

⁷⁹ Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 2004. С. 32.





нет дизъюнкции «речь — язык», что его ученики Балли и Сеше придумали эту дизъюнкцию. А Годель об этом разузнал и всем сообщил⁸⁰. У Соссюра в оппозиции находятся речь и речевая деятельность. Речевая деятельность, в свою очередь, состоит из языка и языковой способности. Язык надын-
 5 индивидуален. Языковая способность индивидуальна. В языке каждый ощущает себя умелым и обнаруживает свою языковую компетентность еще до усвоения языка⁸¹.

§ 10. Антиязык

Антиязык, как центр современного искусства в Париже, вывернут наизнанку. А это значит, что язык создавался для выражения эмоций, а не для обмена мыслями. Он создавал экран непонимания для *Другого*, защищая «уже-сознание» *Мы*. Знаки этого языка не имели значения, а значения
 10 не имели знаков.

Выворачивание вывернутого привело к современному языку, к знаковому сознанию. Антиязык состоит из дословного письма и немой речи. Если язык структурирован как бессознательное, то тогда сознание создает антиязык. При этом эмоция выступает в форме первичной данности сознания.
 15

§ 11. Дословное письмо

Письмо — это язык без непосредственного присутствия говорящего, бытие без субъекта. Любое действие, которое состоит не из речевых или
 25 постречевых знаков, можно назвать дословным письмом. Это письмо предшествует звуковой речи и является первичной репрезентацией воображаемого. К письму относятся следы, симптомы, сигналы, символы воображаемого, обнаруживаемые в позе, жесте, фонации и ином случайном материале действия. Воображаемое пишет дословно, используя тело человека.
 30 Жалким остатком дословного письма является то, что иногда называют элементами невербальной коммуникации.

§ 12. Немая речь

Все, что говорит образ, нельзя разложить на последовательность фраз синтагматической речи. В каждый момент времени он представлен всеми своими свойствами. Образ ведет чувство к сверхчувственному, являясь од-
 35 новременно и чувственной реальностью, и описанием сверхчувственного. Его представлением. Речь образа — немая и поэтому вневременная и внепространственная. Этот образ, как, например, число пять, существует во многих головах, оставаясь единым и, следовательно, связывая множество в единое целое своей немой речью.

Представление о том, что всякое *Я* дано в редакции *Другого*, что *Я* — это элемент территории *Другого*, ошибочно. И *Я*, и *Ты* редуцируемы к *Мы*,
 45 которое может выстраивать свое отношение к *Они*, но *Они* существуют не

⁸⁰ См.: Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 2003. С. 12–13.

⁸¹ Библихин В. В. Слово и событие. М., 2004.

в редакции *Ты*, а как нечто субстанциональное. Результатом этих отношений может быть *Вы*, т. е. то, что создается не рецепцией, а фактическим соприкосновением и даже трением между *Мы* и *Они*. Горизонтальности отношений *Мы* и *Они* противопоставит вертикальное отношение *Мы* к *Я* и *Ты*, которые зарождаются в *Мы*. *Мы* — это не другое по отношению к *Я* и *Ты*. Оно не описывается в терминах *Я* и *Другой*. И в то же время *Ты* избыточно по отношению к *Я* и *Ты*. *Мы* составляет немую речь *Я* и *Ты*. Диалогическое изображение отношений между людьми имеет тот недостаток, что исключает из рассмотрения немую речь и, как следствие, либо редуцирует *Я* к *Другому*, либо растворяет *Другого* в *Я*.

Язык уже приспособлен для того, чтобы в нем происходил обмен мыслями и, следовательно, совершалось взаимное понимание. При этом следует понимать, что мысли в языке не от языка, а от ума. Ум говорит немой речью. Язык — звуковой. Но без языка невозможен обмен мыслями и невозможно понимание. Если бы слов было столько же, сколько и понятий, ими обозначаемых, то никакое сообщение не могло бы состояться. Ибо уже все было бы сообщено и не было бы никаких причин как для обмена мыслями, так и для их существования. Ведь существование мысли обусловлено тем, что слов меньше, чем понятий, ими обозначаемых. Поэтому они должны менять значения, чтобы обозначить неизвестное, а также переозначивать известное.

Если в языке происходит обмен мыслями одного человека с другим, то в антиязыке нет условий для обмена мыслями. В нем нет места для мысли, и, следовательно, антиязык служит для непонимания, а не для понимания. То есть язык как антиязык возникал не для того, чтобы люди понимали, а для того, чтобы они не понимали. На границе, вовне существует язык и непонимание. Внутри существует понимание, но без языка. Язык и непонимание возникают на границе «уже-понимания», которое реализуется не обменом мыслей, а индукцией эмоциональных состояний. Понимание без языка обеспечивается универсальной логикой предметности. Между умом и языком, между немой речью и внешней речью находится внутренняя речь. Если бы не было внутренней речи, то нельзя было бы совершить переход от ума к языку и наоборот. Внутренняя речь, как время у Канта, служит для синтеза мысли и слова. Смыслы начинают формироваться до языка и речи в ситуации депривации вещей. Поэтому внутренняя речь появляется не потому, что внешняя лишается звука. А потому, что озвучивается немая речь.

§ 13. Мертвый язык лингвистики

В «Курсе общей лингвистики» де Соссюр призывает запахнуть двери перед антропологией. Для этого он предлагает считать «величайшим заблуждением мысль, будто в отношении речевой деятельности проблема возникновения отлична от проблемы постоянной обусловленности»⁸². Ну а если генезис и функционирование неотличимы, то из понятия языка нам нужно устранить «все, что чуждо его организму». И прежде всего историю культуры. Но с устранением истории культуры устраняется и история

⁸² Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. С. 35.





языка. Например, если бы мы не обязывали, то в языке не было бы такого слова, как «обязанность», а если бы мы не обволакивали, то не было бы и «облаков».

Если же из языка выкинуть его историю, то на месте языка мы найдем его труп. Де Соссюр отправляет язык в морг, а лингвиста, как студента медика, посылает туда препарировать мертвый язык. Тем самым он разрушает бытие и понимание бытия, а также вводит представление о каком-то универсальном языке, который дан помимо личных языков, индивидуальных актов речи, множества диалектов и т. д.

§ 14. Внешняя речь

Это речь *Другого*. Она выражена в голосе и состоит из знаков. В ней всякое описание существования предполагает то, что существует. Имя существительное. В нее упаковывается социальный смысл, а также значения, готовые к употреблению. *Другой* тебе не верит на слово, ему нужно все доказывать. Внешняя речь — это речь целого, элементом которого ты являешься. Она диктует тебе логику поведения, обязывая тебя мыслить вслух. С мышления вслух начинается бытие первого человека, а также детей.

Внешняя речь вовлекает тебя в поле сознания *Другого*. Она держит тебя под присмотром, регулирует твоё поведение. От *Другого* можно укрыться во внутренней речи. Но и во внутренней речи ты относишься к себе как к *Другому*. И только в немой речи ты возвращаешься к себе, растворяясь в её полноте. Аппаратом анализа внешней речи является категории грамматики, лексикологии, фонологии. К внутренней речи эти категории лингвистики неприменимы. Внутренняя речь — это не высказывание, а переживание. Переживание, описываемое в терминах лингвистики, перестает быть переживанием. Немая речь описывается палеографией абсурда. Внешняя речь особенно любима психологами и лингвистами, ибо, имея заранее данной внешнюю речь, можно легко объяснить содержание внутреннего мира человека. Контролируя внешнюю речь, можно лепить разные образы людей, формируя требуемые обществом личности.

§ 15. Внутренняя речь

Внутренняя речь — это речь *Другого* во мне. То, что заставляет меня действовать не в соответствии со своим умом, а в соответствии с умом *Другого*, но так, как если бы это был мой ум. Внутренняя речь играет роль ширмы, под прикрытием которой *Другой* проникает в тебя и занимает место твоего *Я* без твоего на то согласия. Во внутренней речи *Я* смещено из центра. Мои замыслы существуют без меня, в немой речи воображаемого.

Внутренняя речь рассказывает о существовании без указания на то, что существует, без «чтойности». Во внутренней речи мысль находит слово. Поскольку самому себе не надо ничего сообщать, ибо ты знаешь, о чем идет речь, постольку внутренняя речь не нуждается в плане выражения или указания, погружаясь в немоту самоочевидного. Внутренняя речь полна сокращений, пропусков, эллипсов. Ей не нужны подлежащие. Она предикативна по строению и состоит из одних сказуемых. Во внутренней речи

сталкивается логика и грамматика, мысль и слова. И это столкновение деформирует речь.

Внутренняя речь отгораживается от внешней идиоматизмами. Тем, что не понятно *Другому*. Идиома — это воронка на поверхности внешней речи, ведущая к замыслам немой речи. Во внутренней речи довербальные значения немой речи превращаются в значение знака косвенной номинации. Это превращение проглядывает в идиоме. Вот, например, выражение: «Молоко на губах не обсохло». Это выражение — симбиоз довербальных смысловых элементов, возникших на основе сенсорно-перцептивного опыта. В нем зашифровывается мысль о неопытности, а также о сопряженном с неопытностью нахальстве. При этом «молоко» носит доречевой характер, а насмешка, содержащаяся в этой идиоме, носит речевой характер: молод, а хочет быть самостоятельным. Элементы невербальной мысли ясно видны в таких стереотипных речевых формулах, как «братъ быка за рога», то есть начинать с главного, говорить по сути; «к шапочному разбору», то есть к концу, к завершению дела и т. д. В идиоме смысл указывает на то, что сначала было дело и оно было без смысла. Что смыслы появляются потом, вторым шагом. А на первом шаге мысль растворена в действии. Внутренняя речь напоминает обмен репликами на автобусной остановке. Когда кто-то вдруг говорит: «Идет». И одного этого слова достаточно, чтобы понять, что речь идет об автобусе. Внутренняя речь — это как реплики диалога, связанного смыслом, а не грамматикой. Только вместо того, чтобы принадлежать двум, они принадлежат одному.

Согласно Выготскому, внешняя речь предшествует внутренней. Она сначала превращается в шепот, а затем уходит внутрь языкового сознания. Внутренняя речь — это, на его взгляд, ослабленная внешняя. Все, что у нас внутри, мы взяли извне. Ничего своего у человека нет. Человек — существо социальное. Даже у слепоглухонемых мышление сопровождается возбуждением органов дыхания. Внутренняя речь подлежит интериоризации. Вот пример: ребенку говорят «дай». Ребенок повторяет слово «дай» и дает. Затем ему снова говорят «дай». Он уже не повторяет слово, а дает. На этом уровне, если верить психологам, формируется внутренняя речь. Затем ребенку уже никто не говорит «дай», а он дает. Это уже уровень интериоризации внутренней речи. Или, что то же самое, на этом уровне суггестор добился смены знаков субъектности. Ребенок не оказал сопротивления, и поэтому занимается самовнушением, что позволяет отнести его поведение к приемлемому культуре.

Концепция внутренней речи, принятая Выготским, формулирует стратегию делания одномерного человека, человека-автомата. В этой концепции важное значение имеет процедура подавления сопротивления ребенка, внушения ему надлежащих образов поведения, не оставляющих времени на раздумье. Теория внутренней речи Выготского не оставляет возможности человеку уйти, спрятаться от внешней речи в складках немой речи, чтобы родить там замысел, реализация которого не будет совпадать с интериоризованной внешней речью. Выготский лишает человека укрытия, возможности эмиграции в пространство речи, недостижимой для *Другого*.



Неприязнь к внутренней речи, к изнанке социума была характерна и для Бахтина, который назвал внутреннюю речь «недоноском социальных отношений». Но ни Бахтин, ни Выготский нигде не разъясняют, откуда в речи появляется ум. То, что речь может быть глупой, это понятно. А вот ум в ней откуда?

5 Например, мне говорят: «ученик пишет». Я могу повторить эту фразу. Но этот мой повтор как раз и будет означать, что я ничего не понял. Я понял, что «ученик» — подлежащее, а «пишет» — сказуемое. Что это предложение. Но, как говорит Жинкин, предикат где? О чем идет речь? Где предмет? Грамматика не определяет предмет высказывания или речи. Она предикаты не расставляет.

10 Но если в предложении нет предиката, то в нем нет и мысли. Мысль — это не результат работы внешней речи. Это результат работы ума, который спрашивает: что это значит? Какой смысл? — И отвечает на вопрос. Но у Выготского, как и у Бахтина, есть только внешняя речь. Значит, либо она без ума, либо ум прячется где-то за ней. Но прятаться где-то за внешней речью — значит быть

15 внутренней речью. Но тогда внешняя речь никак не может предшествовать внутренней. Ведь у кого-то же зародился замысел внутренней речи. Значит, ум был и оставил свой след.

Тщательное описание переходов от внешней речи к внутренней и далее ее интериоризации — это языковые проделки психологов, заинтересованных в создании ускоренного способа формирования нового человека. Между тем, во внутренней речи рождаются замыслы, готовятся смыслы. Для этого надо двинуться, нюхать, видеть, осязать, трогать вещи и слушать

20 внешнюю речь. Иными словами, можно либо внутреннюю речь противопоставлять внешней, как это делает Пиаже, либо внешне-внутренней речи нужно противопоставить немую речь. В противном случае будет непонятно, какая сила расставила предикаты во внутренней речи.

§ 16. Устная речь

30 Кажется очевидным, что сначала люди говорят, а потом пишут. Но если ввести представление об антислове, то все изменится. Во-первых, слово потеряет значение. Слово без значения годится во всех значениях, то есть оно будет выполнять свою функцию ситуативно. Это слова-хамелеоны. Но ситуативность выдвигает на первый план невербальные компоненты ситуации. Из этих невербальных элементов и строится письмо, предшествующее устной речи. Среди невербальных элементов привлекает внимание

35 голос, а в голосе — интонация. Интонационно можно отличить крик от пения. Крик — это произнесение гласных без согласных. Замещение интонационного характера голоса членораздельностью служит началом языка.

40 Членораздельность — это различие, расчленение звуков, подобное разделенности органов человеческого тела.

Речь нуждается в голосе, но голос не нуждается в речи. Для того чтобы быть, ему достаточно быть самим собой. Интонации голоса говорят не меньше, чем слова, выражая неозначенное немой речи. Голос противопоставлен

45 опосредованной косности знаков. В том числе знаков устной и письменной речи. Голос является непосредственным языком «уже-сознания». Устную речь можно использовать как для мысли, так и для коммуникации. В пер-



вом случае мыслят вслух, и это мышление монологично, то есть устремлено к молчанию. Во втором случае перебрасываются словами в диалоге с *Другим*. Устная речь соединяет с *Другим*, являясь дополнением к бросаемым друг на друга взглядам. Она диалогична по своему существу и сопровождается фигурами из языка тела. Диалог — не более архаическая форма, чем монолог. Диалог всегда не досказывает. Монолог говорит все. В устной речи сочетается вербальная и невербальная коммуникация. Звуковой язык сопровождается визуально-графическим языком. Если письменная речь строится как устная, то возможен деграмматизм речи, ее бессвязность и незавершенность. Наиболее приемлемой является парцелляция высказывания, сближающая письменную речь с устной.

§ 17. Письменная речь

Это речь без собеседника. Речь-монолог. Поскольку письменная речь обращена к тому, кто отсутствует, постольку она обходится без эмоций, интонаций и звуков. Если устная речь строится как письменная, с использованием причастных и деепричастных оборотов, с вводными словами, то она становится казенной, канцелярской, т. е. надуманной, пустой и неинтересной. Например, вместо того чтобы сказать: «детям нужно учиться», говорят: «детям нужно осуществлять учебный процесс», заменяя глаголы именными формами. Внедрение в устную речь письменных оборотов создает клише, стереотипы языкового сознания. Например, «религия — это опиум для народа», «демократия — высшая ценность общества». Письменная речь, как считает Выготский, появляется после устной, способствуя кодификации языка. Внутренняя речь — это черновик письменной речи. Развитие речи и языка связано теперь не с фольклором, а с литературой.

Внимание к письму вызвано тем, что Деррида называет «смертью книги». Без сомнения, книга умерла. Вернее, умирает. Но если умирает книжный язык, то означает ли это, что умирает речь? Отношения речи к письму строились по модели «Раба и Господина». Смерть раба меняет положение хозяйки, то есть речи. Речь теряет свой литературный характер и, возможно, попытается найти место прислуги в мире, понимаемом как текст. В этом мире все становится языком. А это значит, что язык покидает пределы языка и, совершив трансгрессию, теряет свой смысл.

Смерть книги, вернее книжного человека, то есть интеллигенции, сдвинула какую-то культурную плиту, за которой обнаруживается неизвестное письмо, которое лучше всего назвать дословным, а не фонетическим. Это письмо как таковое, то есть чистое письмо, примером которого является наскальная живопись, ибо этой живописи не нужен язык, не нужна речь. В ней важно доречевое содержание. К чистому письму Деррида не без основания относит и речь, состоящую из одних согласных.

Изменение статуса речи выражается в изменении представлений о внешнем и внутреннем. Со смертью речи умирает и ее деление на внешнюю и внутреннюю речь, а также впервые дает о себе знать немая речь, то есть та речь, на которой говорит ребенок, еще не научившись говорить. Эта речь организована нелинейно. То есть смерть книги заставляет отказаться от





понятийного мышления, от его упорядоченных смыслов и значений. На первый план выступает клиповое сознание, основанное на инфляции знаков, значений и смыслов.

5 Всюду, где что-либо было написано, было письмо, не нуждающееся в голосе. Как не нуждается в голосе генетическая запись или записи со- знания. Письмо до слова — это значит письмо до логоса. Следовательно, рациональность, управляющая этим письмом, не связана с логосом, со зна- ком, с различием означающего и означаемого.

10 Клиповое сознание, то есть нелинейное письмо, требует, чтобы все мы научились иначе читать и писать⁸³.

§ 18. Мышление и речь

15 Цитата из Ницше: «Учиться мыслить: понятия об этом больше не су- ществует в наших школах. Даже в университетах, даже среди настоящих ученых начинается выводиться логика как теория, как практика, как руч- ная работа.

20 Читаешь немецкие книги и видишь: нет больше даже отдаленнейшего напоминания о том, что в мышлении должна быть техника, предваритель- ный план, стремление к мастерству, что мышлению желательно учиться как танцу, как виду танца.

25 ...Чопорная тупость духовного жеста, неуклюжая попытка схватить — это настолько немецкое, что за границей его вообще путают с немецкой сущностью. Немец не имеет чувства нюансов... Танец не отделить от бла- городного воспитания, способность танцевать ногами, понятиями, слова- ми: я должен еще прибавить, что можно танцевать и — что следует учиться писать...»⁸⁴

30 «Философ может мечтать только о том, чтобы быть хорошим танцо- ром. Танец — это его богослужение. Мой стиль, — говорит Ницше, — танец, игра симметрий всякого рода, перескоков и осмеяния этих симметрий»⁸⁵.

35 Мыслить — значит приводить слова в замешательство. Делать меж- ду ними выбор. Если нет выбора, то нет и мышления. Никто не знает, как мысль находит слово. Симптомом однажды случившегося вербального замешательства является различие между грамматической структурой и структурой мысли, между речью и ситуацией. Одна и та же фраза, произ- несенная в разных ситуациях, будет выражать разные мысли. Например, я говорю своему гостю: «Дождь закончился». Это значит, что ему пора ухо- дить. В другой ситуации это будет означать «хватит отдыхать, пора рабо- тать». Мысль подчинена логике. Язык подчинен грамматике. Из граммати- ки языка, как из скорлупы, нужно учиться извлекать мысль, если она в нем 40 есть. Мысль не зависит от языка. Если бы она зависела от него, то тогда с изменением языка менялась бы и мысль. Но языком измененная мысль перестает быть мыслью, ибо она теряет тождество с бытием. Бытие — не в

⁸³ Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 115–237.

⁸⁴ Ницше Ф. Полн. собр. соч. М., 2010. Т. 10. С. 63.

⁸⁵ Там же.

грамматике, а в мысли. Поэтому мыслят в одиночестве, а живут социально. Если кто-то говорит: «жарко», то это еще не мысль, а выражение состояния. Но если я этому слову придам смысл предложения «пойти искупаться», то это будет уже мысль. Но и предложение «пойти искупаться» может означать всего лишь попытку уклониться от встречи и так до бесконечности чередования означающих.

Грамматически в предложении «дождь идет» подлежащим является «дождь», сказуемым — «идет». По смыслу же здесь подлежащим является «идет», а сказуемым — «дождь». Ибо «идет» — это то, о чем говорится.

У одного из героев Г. Успенского мысль не пошла в слова, и он стал молиться святому угоднику Николаю, чтобы Бог дал ему это понятие. Часто мысль прячется в словах и ее оттуда нужно вытаскивать. Ее вытаскивают, а она сопротивляется, хватается за слово. Например, Чацкий говорит Софье: «Блажен кто верует, легко ему на свете». В подтексте этой фразы может быть простая мысль: «Давай прекратим этот разговор», а может быть и другая мысль, а именно: «Я вам не верю, вы говорите утешительные слова, чтобы успокоить меня». Но в этой фразе может найти свое выражение и такая мысль: «Разве вы не видите, как вы мучаете меня. Я хотел бы верить вам, это было бы для меня блаженством»⁸⁶.

Слово без мысли пусто, а мысль без слова мучительна. То, что в мысли симультанно, одновременно, в слове — сукцессивно, развернуто во времени. Поэтому переход от мысли к слову затруднителен. Чтобы узнать, что ты думаешь, иногда нужно заговорить, полагая, что этим разговором установится мысль. Мысль без языка приводит человека к состоянию, в котором она у него крутится в голове, хотя он ее поймать никак не может. В философии особым вниманием пользуется мысль, мыслящая саму себя. Но если бы мысль мыслила себя, то скоро она перестала бы это делать, потому что это скучно. Мысли нужна не мысль, а эмоция, желание и мотив, то есть нечто немислимое. Для того чтобы мысль укоренить в немислимом, в ней нужно обнаружить антропологическую конфигурацию, то есть соразмерность с человеком. Это только феноменологи полагают, что Сократа привели в тюрьму не сгибающиеся и разгибающиеся мышцы ног, но высшие ценности. О том, почему они привели его в тюрьму, а не заставили бежать из Греции, в самих этих ценностях ничего не говорится. Интенция, не укорененная в аффекте, не устоит, автономия не продержится. И мысль рассеется во времени, будто ее никогда и не было.

Существует три концепции соотношения мышления и речи. Одна из них отождествляет мышление и речь. Другая полагает, что они независимы друг от друга. Хотя их встреча и приводит к феномену речевого мышления. Третья исходит из зависимости мышления от языка. Первую представляет У. Джемс. Вторую — Выготский и Пиаже. Третью — Сепир и Уорф.

В первом случае мысль понимается как речь минус звук. Или как заторможенный рефлекс. Третий случай опровергается уже одним тем фактом, что мысль находит себя вне слова, в поступке, в живописи, в музыке. Хотя слово является первоявлением мысли. Во втором случае разрабатывает-



⁸⁶ Выготский А.С. Мышление и речь. С. 355.



ся концепция эгоцентрического мышления. При этом Пиаже использует методологию замещения, а Выготский — развития. Согласно Выготскому, единицы речи и единицы мысли не совпадают. Мысль одной своей частью коренится в другой мысли, а второй — в невысказанном. Или, по словам Выготского, она коренится в мотиве. Иными словами, во второй версии допускается существование речи без мышления, мышления без речи и речевого мышления.

Органом мысли могут быть песни, картины, геометрические фигуры, музыкальные мотивы. Мышление, как вербальное, так и невербальное, базируется на предметно-изобразительном субстрате. Первичные фазы мысли лишены не только слова, но и знака. Здесь возможны не знаки, а изображения. По словам Фуко, для мысли быть — значит быть всегда иной, менять цвет, сбрасывать кожу, ускользать из цепких когтей знака. Мысль не заменима никакой другой мыслью, даже своей собственной, вчерашней мыслью. Поэтому после мысли всегда остаются следы в виде пустых знаков.

Речь существует двояко: не только для сообщения, для передачи мысли, но и для утешения. В свою очередь, утешение возможно, если приостанавливается действие в знаке знаковых структур и в нем открывается пространство для действия неопределенного.

§ 19. Пиаже

Для Пиаже нет оснований сомневаться в том, что ребенок — солипсист, что его мышление эгоцентрично. А если согласиться с тем, что есть что-то общее между ребенком, шизофреником и первым человеком, то нужно признать, что и архаические люди начинали как солипсисты, как эгоцентрики. И делал их такими язык воображаемого.

Само эгоцентрическое мышление Пиаже помещает между аутическим и разумным мышлением. Аутическое мышление — это эмоциональное мышление. Оно воображает и не знает границ между воображаемым и реальным. Человек с аутическим мышлением грезит наяву. Это человек сна. Если разумное мышление пытается найти истину, то аутическое мышление обеспокоено своими желаниями. Оно непроницаемо для опыта. Например, если тебе очень хочется, чтобы перестал идти дождь, и ты просишь об этом того, в чьей это власти, а дождь все равно идет, то ты знаешь, что это злые духи мешают исполнить твою просьбу. Так вот, это сознание закрыто для опыта. Точно так же, как оно закрыто у детей, ибо у них виноваты всегда вещи, а не они сами.

На аутическое сознание давит социум, речь для другого. От аутического мышления через эгоцентризм ребенок приходит к реалистическому мышлению. Речь для другого вытесняет речь для себя и избавляет социум от источника непонятности и непонимания. Если взрослый думает социализировано в момент, когда он один, то ребенок говорит эгоцентрично даже тогда, когда он в обществе. Эгоцентрическая речь — это вербальное сновидение, речь для своего удовольствия. Ничего полезного в ней нет. Такова концепция Пиаже. Ее смысл состоит в том, что Пиаже отказывается понимать человека в терминах внешнего при-

чинения. Что это за причины? Это социум, язык, другой. Если бы человек не мог сделать себя сам, то эти причины были бы ему нужны. Вот, например, дети. Ребенок рождается и ему нужен руководитель. Без руководства он не станет человеком. Пиаже отказывается от этой очевидности, выбирая в качестве исходной точки «Самость», помещенную в социализированную среду и аутизм. Выготский же выбирает язык внешнего причинения. Пиаже пытается понять, как из хаоса аутизма возникает порядок. Выготский создает порядок под руководством *Другого*. Пиаже близок к языку самоорганизации, Выготский — к языку линейной детерминации.

§ 20. Выготский

Цитата из Выготского: «...С помощью подражания ребенок всегда может сделать в интеллектуальной области больше, чем то, на что он способен, действуя самостоятельно»⁸⁷. Как можно прочесть эту фразу? Во-первых, нам говорят, что есть вещи, которые самостоятельно ты не сделаешь. К которым твоя Самость тебя не приведет. Во-вторых, тебе нужен наставник, руководитель, некий Макаренко, которому ты можешь подражать и, подражая, ты тогда придешь к тому, к чему иным способом ты не сможешь прийти.

Еще одна цитата из Выготского: «Все то, что ребенок не может выполнить самостоятельно, но чему он может обучиться или что может выполнить под руководством или в сотрудничестве с помощью наводящих вопросов, будет относиться нами к области подражания»⁸⁸. И в этой цитате как будто все очевидно: ребенок без взрослых не только ничему не научится, но и умрет. То, что ребенок брошен в среду другого и что эта среда его обрабатывает, — очевидно. Но то, что «брошено», характеристики «обрабатываемого» не определены средой. Ребенок не перестает быть самоорганизующейся процессуальностью. Любое его обучение превращается в самонаучение.

Слабость дискурса Выготского состоит в том, что на нем нельзя даже поставить вопрос о возможности существования человека вообще, об условиях функционирования сознания и его связи с аффектом. Ведь в дискурсе Выготского всегда будет сохраняться фигура *Другого*, Руководителя, того, кто изъят из процесса самоорганизации и кто контролирует этот процесс. Что, конечно же, смешно. Люди никогда бы не стали людьми, если бы ожидали внешнего руководства. А без руководства они аутисты. И, следовательно, из этого аутизма спонтанно, как из молока масло, сбивался социум.

Выготский с Пиаже не согласен⁸⁹. Аутизм, на его взгляд, не может быть началом человека. Все мы начинаем с внешней речи, с речи для другого. И лишь только потом эта речь распадается на эгоцентрическую и коммуникативную речь. А это значит, что эгоцентрическая речь возникает на осно-

⁸⁷ Выготский А.С. Психология развития ребенка. М., 2004. С. 31.

⁸⁸ Там же. С. 32.

⁸⁹ Выготский А.С. Мышление и речь // Собр. соч. Т. 2. М., 1982.



ве социальной речи. Из речи «для другого» выкраивается речь «для себя». Никакого галлюцинаторного удовлетворения ни у ребенка, ни у ранних людей Выготский не находит. Ни один дикарь, ни один ребенок не удовлетворится воображаемым яблоком и потребует реальное: то, что можно
5 есть с хрустом. Конечно, в этом смысле дети — реалисты, оставаясь аутистами. Их эгоцентризм менее всего напоминает вербальное сновидение. Но именно потребность в воображаемом, рождаемая абсурдом, делает человека человеком. Именно воображаемое отличает дикаря от обезьяны, а не способность к поеданию реального яблока. Человеку нужно удовлетворять потребность как в яблоках, так и в галлюцинациях.

Иными словами, Выготский постулирует принципиальное доминирование другого. Откуда он взялся, этот другой, — его не интересует. Важно, что другой не спит. Что он всегда бодрствует. И ты у него на заметке. Проблема, которую Выготский решительно не замечает, проста, а именно: как может
15 во взгляде другого — в том взгляде, который он бросает на меня — зародиться мое «я»? Как возможна индивидуализация универсальности другого, т. е. социума. Пиаже обходит эту проблему в теории аутичного мышления. Выготский ее даже не чувствует. И это более всего заметно в его диалектической методологии. Например, Выготский, как истовый антикартезианец, ищет клеточку, т. е. тот минимум целого, тот порог, ниже которого нельзя
20 опускаться. Опустись ниже — целое потеряешь. Вот Декарт только тем и занимался, что трансгрессировал за порог. И поэтому он потерял из виду целое. Ему так и не удалось связать в единое целое тело и душу. А Выготский уверен, что ему, например, удалось связать речь и мышление. Они связаны в
25 значении слова. Значение — это тот порог, за которым мышление и речь распадаются. Значение выбирается Выготским потому, что оно, как и деятельность, нейтрально, т. е. его можно отнести как к речи, так и к мышлению. И поэтому оно нигде, т. е. везде. То же самое относится и к деятельности. Ее можно приписать как телу, так и душе. Оно нейтрально, как инертный
30 газ. Но Выготский нигде не разбирает онтологию значения, т. е. он оставляет без внимания разрыв между означиванием и существованием. Чтобы что-то стало значить, нужно было совершить акт негации, полагания несуществующим. Иными словами, нужно было совершить депривацию вещей. Выготский же строит свою психологию вне связи с этим актом.

Значения есть у слов. «Открытие изменения значения слов и их развития есть то новое и существенное, что внесло наше исследование в учение о мышлении и речи, оно есть главное наше открытие», — писал Выготский⁹⁰. Позже он заявит, что вообще-то значение константно, что меняется
40 смысл. А чем отличается значение и смысл — так и останется не совсем ясным. Вернее, список значений слова устанавливается трансцендентным взглядом филолога. А смысл — это всего лишь ситуативное применение одного из значений. Выготский сравнивает значение с пальто. Слова меняют значение, как пальто — владельца. Эта смена происходит в предметном содержании. Здесь нет никакого развития. Сначала слово обозначало
45 один предмет, затем — другой. Вроде бы смысл меняется, но никакого раз-

⁹⁰ Выготский А. С. Собр. соч. Т. 2. М., 1982. С. 297.

вития здесь нет. Просто меняются ситуации. Никакого развития значения не происходит и в другом случае. Например, одежда как гипероним, обозначала такие предметы, как сапоги, сарафан, кокошник, подчиняя их себе. Затем к одежде стали относиться такие гипонимы, как костюм, пальто и туфли. Типичным примером развития значения являются, по Выготскому, мертвые души. «Мертвые души» — это не только умершие и числящиеся живыми крепостные, но и все герои поэмы Гоголя, которые живут, но духовно мертвы. Развитие значения в данном случае связано с кавычками, в которые помещены мертвые души. Все, что Выготский называет развитием значения, похоже, скорее, на бег по бесконечной цепочке означающих. Этот бег никогда не приведет к означаемому, оставляя после себя не развитие, а следы.

Слово всегда обобщает, если за ним стоит другой. Без другого слово не обобщает, а влияет, т. е. внушает, управляет, а потом, может быть, и отражает. Выготский не мыслит слово без *Другого*. Поэтому у него мысль совершается в слове, а не выражается. Но если мысль совершается в слове, то потому, что другой состоялся вне связи со словом. Откуда он? Что мысль делает в поступке? В живописи? Как возможно тогда «умозрение в красках», в жестах? Важен ли здесь *Другой*? На эти вопросы у Выготского нет ответа.

Различие между Пиаже и Выготским состоит в том, что Пиаже допускает неозначенное мышление, которое он называет аутическим. Это мышление до знаков, мерцание смысла до слова. То есть то же самое, что шепот прежде губ, что листва, кружащаяся в бездревесности. По сути, это значение до знака, т. е. эмоция, парящая над бездной абсурда. Выготский начинает и заканчивает свой анализ знаком. У него невозможно непосредственное общение душ. И, следовательно, Выготский ничего не знает о молчании, как адекватной форме существования непосредственного. Антропологическое мышление Выготского, определенное идеологией *Другого*, запрещает неозначенное. То есть он эмоцию понимает как некий фон основной мелодии знака. В эмоции мысль не совершается. Эмоция для мысли, как трава для коровы. Мысль ею питается. Между тем, архаическая эмоция — это значение до знака. Она существует как крик родившегося ребенка. Нечто несоциальное, неозначенное, то, в чем совершается ум.

Сходство Пиаже и Выготского состоит в том, что у обоих эмоция деградирует, рассеивается. У Пиаже она просто отмирает. У Выготского она становится чем-то второстепенным, маргинальным. Пиаже сожалеет об этом. Выготский радуется. Ибо чем меньше эмоций, тем легче строить новую личность. Ничто в человеке уже не мешает *Другому*, не сопротивляется ему. Декарт заставил ребенка мыслить в утробе матери. Выготский назначает младенца быть субъектом социальных отношений.

Цитата из Выготского: «Первоначальная речь ребенка чисто социальная»⁹¹. То есть сам по себе ребенок ничего не значит. Все, что в нем есть, производно от другого. Пиаже другого мнения. У него ребенок имеет аутическое сознание, он несоциален, независим от другого. Иными словами, первоначальная речь ребенка чисто эмоциональная. Если собрать все

⁹¹ Выготский Л.С. Собр. соч. С. 55.





существующие эмоции и свести их воедино, то мы получим архаическую эмоцию раннего человека. Его «уже-сознание».

Согласно Выготскому, социальная речь развивается по принципу дифференциации. Но этот принцип указывает не на развитие речи, а на ее дефлекцию. Она не индивидуализируется, а деградирует, изнывая под тяжестью специальной терминологии, сленга, англицизмов и прочего. Из того факта, что есть число «5» и что оно существует в моей голове, и в голове моего соседа, вовсе не следует, что у каждого из нас есть свое число «5». Это одно число. Неиндивидуализируемое.

У Выготского речь, как непоседа, не стоит на месте. Она все куда-то идет. От внешнего — к внутреннему, от внутреннего — к внешнему, с остановкой у эгоцентрического мышления. Но если я разговариваю с собой как с другим, то я разговариваю не с собой, а с другим. То есть «я» — это другой. И никакого «я», отличного от другого, в концепции Выготского, не существует. Даже эгоцентрическая речь — это, для Выготского, внешняя речь. Речь другого. Если ее лишить голоса, то получится внутренняя речь. Но внутренняя речь — это та же внешняя, только укороченная, беззвучная и социально приемлемая. Вот эта обрезанная тихая речь лежит, по Выготскому, и в основе аутического мышления. То есть даже в моих снах меня контролирует другой. Мое сознание прозрачно для него. А это значит, что психология Выготского отказывает воображаемому в праве на существование. И этот отказ является едва ли не самым главным недостатком теории Выготского. Интериоризируя внешнее, мы получаем бессознательный автоматический процесс. Но откуда у нас сознание? Этот вопрос остается без ответа.

Выготский помещает человека в горизонт приспособления к действительности и не разрешает ему выходить за этот горизонт. Аутизм нарушает ясную перспективу, ибо требует удовлетворения желания вне связи с приспособлением к миру. В аутизме много личного. Отказавшись от аутизма, как первоначала, Выготский попадает в затруднительную ситуацию. Как ему объяснить отрыв человека от реальности, стремление к психологическим галлюцинациям, к виртуальным чувствам? Без другого социум был бы заполнен бредом. Но почему этот бред есть и при другом, несмотря на репрессии другого. Безусловно, другой, как Цербер, укрощает бред, связывает его, делая возможным логическое сознание. Но что в другом есть такого, что производит само это бредовое сознание? Выготский на этот вопрос не отвечает, полагая, что достаточно младенца окружить внешней речью другого, а также памперсами, игрушками и другими вещами, сделанными людьми, чтобы в него не проник аутизм, бред, галлюцинаторное сознание. Выготский всерьез полагает, что практика приведет человека к истине, научит его логике. Но почему получается так, что ведет она его к истине, а приводит к наркотикам, к потребности в конечном опыте. Если я не создаю свой язык, если я усваиваю речь другого, то зачем мне язык как средство понимать себя? Мне нечего понимать. Ведь понимать себя нужно в том случае, если в тебе есть чувства и мысли, и если они оригинальнее языка их выражения. А у Выготского мысли человека полагаются производными от языка, т. е. что бы человек ни сказал, все будет плоским, неоригинальным.

Согласно Пиаже, сознание привносится извне в голову человека. Согласно Выготскому, сознание созревает долго, начиная с мыслеподобных состояний обезьяны и кончая абстрактным мышлением продвинутого пользователя. Чтобы осознать, говорит Выготский, надо иметь то, что должно быть осознано. По закону Клапареда, осознано должно быть то, что создает трудности для автоматического действия. Абсурд — это абсолютная трудность для автоматического действия. Где заканчивается автоматизм, там начинается сознание⁹². То есть сначала у тебя есть удовольствие, а потом ты даешь ему сознание. Конечно, осознание — это акт сознания, предметом которого является оно само. Например, я спрашиваю симпатичную девочку Олю: «Оля, ты знаешь, как тебя зовут?» Она говорит: «Оля». То есть она знает, как ее зовут, но не осознает. Она думает, что смысловым подлежащим является «Оля». И ошибается, ибо подлежащее здесь — «знание», а «Оля» — сказуемое. Иными словами, где появляется сознание, там начинаются трудности, там тормозится автоматизм действия. Ибо если кто-нибудь что-либо знает, он тем самым знает, что он это знает, и вместе с тем знает, что он это знает, и так до бесконечности⁹³.

Человек, как мусорная корзина. В него попадает много разных вещей, не спрашивая на то его согласия. Все эти вещи Выготский называет спонтанными понятиями. Осознать эти понятия — значит сделать их системными, обобщенными. Например, есть разные фигуры. Но одна из них является одновременно и всеобщей фигурой. Это треугольник. Или вот цветок. Это обобщение — гипероним. Хотя и нет его в составе конкретных роз, тюльпанов, ромашек и гвоздик.

В теории обобщения Выготского нет попытки разобрать смысловую «матрешку» обобщений, бесконечную цепочку означаемых. Ибо сама бесконечность обесмысливает смысл обобщения, требует аффективного произвола, логической некорректности.

Изначально речь не связана с интеллектом. В ней нет места для ума. Речь не сообщает что-то от одного к другому, а оказывает влияние одного на другого. Влиять — значит вливать в другого часть самого себя, воздействовать на него. Речь аффективна и поэтому она состоит не из знаковых дуплетов, а из сигналов. Сигналы не сообщают, а передают. Сообщения задаются знаками для другого.

«Общая история империи монголов» рассказывает об одном хане, который был любопытен. Его звали Акбар. Хан Акбар захотел узнать, какой язык является древним. Он предположил, что язык, на котором заговорят дети, воспитанные вне языковой среды, будет изначальным языком.

Хан приказал собрать двенадцать грудных детей разных национальностей, нашел для них двенадцать немых кормилиц, заключил всех в изолированный замок и нанял в охранники немого привратника. Прошло время. Когда детям исполнилось двенадцать лет их привели к хану во дворец. Сюда же были приглашены знатоки древних языков: древнееврейского, арабского, халдейского, санскрита. Результаты эксперимента хана были

⁹² Выготский А.С. Собр. соч. С. 127.

⁹³ Спиноза Б. Этика. М., 2001. С. 124.





удивительными. Дети не говорили ни на каком языке. Они изъяснялись жестами. Были дики и пугливы. Хан расстроился. Самым древним языком оказался язык жестов.

Иными словами, никакой врожденной способности к языку нет. Не существует и языкового инстинкта. Далее. Человек отличается от животного тем, что он рождается со сломанным инстинктом. И ключевую роль у него начинает играть имитация. Подражание. Если человек, как индийские девочки Камала и Амала, начинают жить среди волков, то он будет имитировать их действия. Воспитанные волчицей девочки бегали на четвереньках, обнюхивали пищу, выли по ночам, как волки. Старшая девочка Камала смогла произнести первое предложение через пять лет жизни среди людей. Через десять лет она уже знала сорок слов. Младшая девочка умерла почти сразу после того, как их нашли люди. Похитителями детей и затем их воспитателями становятся хищные животные: волки, иногда медведи и даже леопард. В процессе воспитания получается не Тарзан, а Маугли, ибо не обезьяны, а волки становятся, как правило, учителями одичавших людей, научившихся управлять материнским рефлексом волчицы. В 1923 году в Индии самка леопарда похитила двухлетнего мальчика, который прожил у нее три года. Приспособился. Набрасываясь на кур, он рвал их на части, пожирая с необычайной быстротой. Все это говорит о том, что люди сами по себе — это животные.

Стадия гуления и лепет ребенка — последствия слома инстинкта, сопряженные с работой имитативного комплекса. Глотание, хватание, сосание и другие рефлексы недостаточны для полноценной жизни ребенка.

Язык вне связи с мыслью делает возможной работу машинистки. Мысль вне связи с языком составляет пространство для творчества. Вот, например, шахматист. Для игры в шахматы ему не нужна опора на язык, ему не нужно и сознание. То есть он мыслит вне связи с речью. А наборщик набирает тексты вне связи с мышлением. Его действие языковое, но не мыслительное. Ему тоже не нужно сознание. Или вот Герасим из «Муму» Тургенева. Ему достаточно ориентироваться в мире вещей, уметь распоряжаться ими в соответствии с их назначением, чтобы мыслить. Но в назначении вещи кристаллизуются значения слов. Поэтому Герасим полагается не на рефлексы, а на опредмеченное слово, т. е. на назначения вещей. И в этом смысле не важно, что у него нет членораздельной речи, что он глухонемой. Он говорит на языке вещей, опредмеченных слов.

Может ли человек с тотальной афазией мыслить? Конечно, может, если он живет среди людей и если мысль не связана жестко с языком. Например, он может играть в шашки. Учиться игре в шашки он может через подражание, благодаря имитации наглядного действия.

§ 21. Хомский

I. Че Гевара лингвистики

Всем известно, что без Соссюра не было бы современной лингвистики. Соссюр — это бренд. Перед ним снимают шляпу даже в Америке. Что делает Хомский? Корчит презрительную гримасу и говорит, что у Соссюра

«убогая концепция языка»⁹⁴. Почему убогая? Потому что Соссюр полагал, что, исследуя язык синтагматическими моделями и парадигматическими, его, как лес, можно будет полностью прочесать. И тем самым завершить лингвистику. Чтобы легче было вскрыть структуру языка, Соссюр предложил вынести предложения за пределы языка, оставив языку слова и звуки. Эта идея, конечно, не понравилась Хомскому. И он подготовил свой ответ «Чемберлену». Порождающую грамматику.

Что мне нравится в Хомском? Это его резкость и безкомпромиссность особенно к бихевиористам и позитивистам. Никакой политкорректности. Хомский — это Че Гевара в лингвистике.

II. Что сделал Хомский?

1

Лингвистика — занятие гностически гнусное. В ней много от логики. И вот Хомский в эту тихую заводь запустил крокодила, т. е. философию. Хомский — философ. Его душа жаждет не сортировки эмпирических фактов, а открытий. Он хочет не описывать язык, а объяснять его, искать глубоко скрытое.

Вот, например, два предложения: «девочка съела яблоко» и «яблоко съедено девочкой». В одном случае я говорю, что сделала девочка. В другом — куда пропало яблоко, где оно? Это два разных события. В одном девочка — субъект, в другом — яблоко подлежащее. Согласно Хомскому, глубинное подлежащее здесь одно — девочка. Глубинный объект — яблоко. На поверхности два предложения с двумя разными подлежащими и разной информацией. При этом одно из них трансформировалось в другое: девочка — в яблоко. То, что делала девочка, и то, что стало с яблоком, совпадают в глубине. Конечно, возможны перестановки не только на месте подлежащего. Возможны и иные трансформации полного предложения. Например, не девочка съела яблоко, девочка не съела яблоко, девочка съела не яблоко, девочка съела гнилое яблоко, грязная девочка съела гнилое яблоко утром и т. д. Эти изменения связаны с изменением смысла. И весь вопрос заключается в том, что я хотел сказать и что сказалось, совпадает ли мой замысел со сказанным. Я думаю, что он никогда не совпадает. Хомский думает иначе. На мой взгляд, смысл существует вне языка, до языка, и, следовательно, вне грамматики языка.

Он предлагает начинать искать смысл с синтаксиса и затем идти к фонологии. Смысл предложения Хомский видит не в синтаксисе, а в семантике. Но он не объясняет откуда в синтаксисе взялась семантика. Он полагает, что семантика была дана изначально вместе с синтаксисом. Вот пример: «невидимый бог создал видимый мир». Это предложение на поверхности. Оно полное. А что в глубине? А в глубине атомарные фразы, комбинация которых и дает то, что на поверхности. Это фразы: 1. Бог есть 2. Бог есть невидимый 3. Мир создан 4. Мир видим. Вот из таких атомов и конструирует Хомский правильное предложение любой сложности.

⁹⁴ Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972.





Я составил из этих фраз следующее поверхностное предложение: «невидимый по ночам бог создал из любви видимый днем мир», т. е. я обесмыслил фразу, указывая на то, что язык не реализовал какой-то смысл и, следовательно, меня начинает интересовать не тот смысл, который уже реализован языком, а тот, который не реализован. И я хочу знать где он существует и как.

Поскольку все дело в порождающей семантике, постольку хотелось бы узнать: откуда берутся смыслы у предложения, кто их ему дает? Понятно, что есть формальные смыслы и неформальные. Например, «мне холодно» и «мне тепло». У этих предложений один и тот же формальный смысл, но неформальный разный. Если я правильно понимаю, порождающая грамматика Хомского пытается соединить формальный смысл и неформальный. И мне непонятно, как это делается, достигается ли это соединение. Например, я говорю: «на улице идет дождь». Вот откуда Хомский узнает, что я сказал. Может быть я этой фразой тяну время, может быть для меня жизнь — это слякоть. А может быть, я ничего не хочу сказать. Я просто заполнил паузу, чтобы не молчать.

Тем самым неизбежно встает вопрос о немой речи, о внутренней речи. Если верить психологам, то я при внутреннем проговаривании использую естественный язык. Но вполне допустимо, что я его не использую, что акт мысли использует систему предметных значений, независимых от языка. Это может быть код образов и схем. И мне нужно узнать откуда взялись эти образы, кто их сделал. А без аффекта это понять невозможно. Немая речь это то, что Жинкин называет универсально-предметным кодом, а Апресян — семантическим языком. Я их называю дословными смыслами. Вот они-то, как мне кажется, и не попадают в пространство порождающей семантики Хомского.

Мне так и не удалось понять, можно ли в процедуре порождения поверхностных предложений учитывать то, что русский язык, например, отдает предпочтение пространственным аспектам бытия, а не временным. Я запросто могу сказать: «на свете счастья нет» и здесь же добавить: «а в саду есть яблони». Все мы знаем, что русский язык — это язык бытийный, а не язык обладания. У нас зло кипит в человеке, как в чайнике. У наших детей есть головы, а у немцев они их имеют. Я могу сказать: «давай дойдем до угла и там простои́м до обеда», потому что в русском языке заметна склонность фиксировать межпредметные отношения, а не межсобытийные. И еще. В русском языке есть какая-то особая страсть и предрасположенность не только к таким понятиям, как «правда», «судьба», «душа», но и к неопределенным местоимениям, к ненормативным признакам. Например, меня с детства убивает слово «брюхатая» по отношению к беременной женщине. Мне кажется, что порождающая семантика Хомского все это не принимает в расчет. А если это так, то Хомский глобалист, который ищет грамматики, которой нет.

Мне было бы интересно узнать, к каким атомарным составляющим Хомский свел бы выражение «молоко на губах не обсохло». Так Якобсон только у одного словосочетания «сегодня вечером» насчитал 40 ясно различимых значений, которые передаются эмоционально, а не грамматически. Или вот Чацкий говорит Софье: «Блажен кто верует. Легко ему на

свете». Как можно найти глубинный смысл этих слов. Если он ситуативен. Чацкий фактически говорит Софье: «Ты мне лапшу на уши не вешай, я тебе не верю». А может быть, он говорит и не это.

Или вот предложение «дождь идет». Хомский скажет, что здесь субъект — дождь. Но фактически здесь субъект «идет», ибо это предикат, который из слова «дождь» не следует и ради которого произнесена фраза. И снова возникает вопрос, а для чего существует параллельное предложение: «дойдет»?

Порождающая грамматика Хомского не объясняет, почему язык один, а мышление у людей разное, а также не раскрывает механизм, обеспечивающий связь мышления и языка, и самое главное, она оставляет в стороне вопрос о невербальном типе мышления. На мой взгляд, мыслить — это не значит говорить. Мыслить — значит воображать. Язык — это пространство обмена мыслями. Например, шахматист мыслит вне связи с языком, а наборщик текста имеет дело с языком вне связи с мыслью.

2

Хомский явно сочувствует Декарту. Декарт — это его философский жест в науке. Что из этого следует? Прежде всего то, что разум и воля не могут быть реализованы автоматом. Об этой невозможности знали в XVII веке. Но о ней забыли в XXI веке. Что такое автомат? Например, животное — это автомат. Почему? Потому что для него есть ближайшая причина, т. е. внешняя по отношению к нему, то, что запускает его рефлекс. Животное является автоматом и поэтому оно является реалистом. Ему не нужны ни язык, ни ум. Если даже мы когда-нибудь всё будем знать о животном, то это знание ничего не прибавит к пониманию мысли и языка. Хомский картезианец. Я думаю, что каждый честный человек картезианец, т. е. человек, который из страха перед наукой не примет на веру идею глобального эволюционизма. У языка и у сознания нет ближайшей причины. И поэтому человек не автомат. Но за то, что человек не автомат, нужно заплатить тем, что он одновременно еще и не реалист, т. е. аутист. Правда, Хомский не употребляет слово «аутист», но он цитирует испанского врача XVI века Гуарте, который соединяет ум и нереализм человека. Гуарте выделяет три уровня ума:

1. Низший. На этом уровне достаточно чувств, чтобы можно было существовать и быть реалистом, т. е. животным.

2. А еще есть нормальный ум. Я хочу обратить внимание на то, что говорит Гуарте об этом уме и что с удовольствием цитирует Хомский. А поскольку я не читал Гуарте, а также не читал логику Пор-Рояля, постольку за цитаты спасибо Хомскому. Вот цитата: «Нормальный ум способен порождать внутри себя, своей собственной силой, принципы, на которых покоятся знания»⁹⁵. И далее: «Нормально, если ум производит сам, без чьей-либо помощи тысячу причудливых образов, о которых он никогда не слышал»⁹⁶.

⁹⁵ Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972. С. 21.

⁹⁶ Там же. С. 23.





Все без труда тут могут узнать что-то похожее на врожденные идеи Декарта. Я же обращаю внимание на «странную способность внутри себя, своей силы порождать принципы знания». Мне кажется, что эту мысль мало кто понимает. Так вот, я скажу теперь то, что Хомскому теперь бы не понравилось. Эта цитата отсылает нас к галлюцинациям человека-аутиста, из бесконечного количества образов которого, что-то случайно объективировалось, зацеплялось за то, что ему — образу — сопротивлялось. Из сопротивления галлюцинирующему сознанию аутистов и составлялась идея реальности. Нечто похожее Хомский находит у Лоренца, который говорил о том, что форма плавника рыбы появилась до того как рыба начала взаимодействовать с водой.

3. Гуарте пишет еще и о третьем уровне ума. Это тот же нормальный ум, с примесью сумасшествия. Этот ум узнает истину благодаря продуктивному воображению. То, что Хомский нашел Гуарте, и то, что он процитировал, говорит о его чудовищной философской проницательности. По большому счету, всякий человеческий ум с примесью сумасшествия. Более того, наука вообще невозможна без сумасшедших идей. Поэтому ученым нужно чаще сходить с ума. Но этому сумасшествию противится язык. В чем, может быть, и состоит предназначение языка. Поэтому я и говорю, что сознание и язык — враги, а речевое сознание — вынужденный компромисс между ними. Резюмируя эту часть, я скажу, что реалисты живут в светлой комнате инстинкта, как автоматы. Им не надо думать, они не делают ошибок. А человек живет во тьме, на ощупь. Ему нужен ум, чтобы вообразить комнату тьмы и себя в этой комнате.

3

С вышеозначенной проблемой связана и проблема самодостаточности языка. Вот цитата из Хомского: «Нормальное использование языка является не только новаторским и потенциально бесконечным по разнообразию, но и свободным от управления какими-либо внешними и внутренними стимулами»⁹⁷. Вот эта формула: «Бесконечное разнообразие и свобода от управления» и составляет смысл языка аутиста, т. е. его самодостаточности. Но откуда в языке новаторство? Ведь язык всегда тот же, прежний, а мысли в нем новые. Но после Декарта мы знаем, что понятия по улицам не бегают, а маленькие образы по воздуху не летают и в наши головы не залетают. Вопрос о новизне для Хомского является решающим. Если бы Хомский принял идею о том, что в трудной эволюционной борьбе с реальностью мы придумали язык для приспособления к реальности и мало-помалу развили его, то Хомского можно было бы не читать. Он был бы так же неинтересен, как Деннет или Пинкер. Цитата из Хомского: «Я не хочу, чтобы то, что я говорю, смешивали с попытками возродить теорию человеческих инстинктов»⁹⁸. А Пинкер как раз и возрождает теорию инстинктов. У Хомского есть ясное понимание того, что язык существует не для приспособления к реальности, не для познания.

⁹⁷ Хомский Н. Язык и мышление. С. 23.

⁹⁸ Там же. С. 113.

Как дерево существует не для того, чтобы кто-то сидел в его тени. Язык сам по себе, а не для чего-либо. Но если он сам по себе, то откуда в нем новизна? Более того, если язык — солипсист, то откуда в нем соответствие реальности и связность с ней.

Приведу еще две цитаты из Хомского: 1. «В чем состоит соответствие и связность языка с реальностью мы не можем сказать ясно и определенным образом, но нет сомнения в том, что они являются осмысленными понятиями»⁹⁹. 2. «Мы сегодня так же далеки, как и Декарт три столетия назад, от понимания того, что именно дает возможность человеку говорить способом, который носит новаторский характер, является свободным от управления стимулами, а также обладает свойствами в соответствии с ситуацией и связностью»¹⁰⁰.

Теория глубинных структур языка Хомского — это попытка найти ответ на эти вопросы. На мой взгляд — это не совсем удачная попытка. Ибо мысли в языке не от языка. И глупость в языке не от языка, а от продуктивной способности воображения. В самом языке нет креатива, он ничего не может. Креатив в воображаемом. В произвольном действии человека на самого себя. Новое не в камне, а скульпторе, в той галлюцинации, которую он хочет зацепить за камень. Иными словами, новизна во встрече уже сознания и языка, этих двух самодостаточных сущностей, между которыми нет никаких родственных отношений. Между языком и сознанием возможны процедуры наложения, пересечения, трения и т. д.

Но если дело в случайной встрече сознания и языка, то должен быть свидетель этой встречи. Этот свидетель — речь. Она соединяет уже сознание и язык. Поэтому «язык и речь» — неустранимая дуальность лингвистики и философии. А речь более перспективный объект исследования, нежели язык.

4

Что же мне не нравится у Хомского? Хомский забыл сказать, что не только язык, но и эмоция не нужна животному. Язык без эмоций ничего не может, он даже не узнает о своем существовании. Эмоция и язык — это два события, которые отделяют человека от животного. Эмоция существует как возможность произвольного действия на себя самого, как возможность приводить себя в исступление своими галлюцинациями. Из этой возможности при синергии какой-то критической массы людей возникает уже сознание, т. е. самоограничение своего действия на самого себя.

У животных нет ни эмоций, ни игры, ни языка, ни самоограничения. Вот эта забывчивость и привела Хомского к мысли о том, что мышление не доступно для интроспекции, что его там, в складках самости нет и нам наблюдать там нечего. Что мышление не прячется от языка, что оно в языке. Если я правильно понимаю, то Хомский растворил уже сознание в языке и в этом его ошибка. Это иллюзия, от которой трудно избавиться. Мышле-

⁹⁹ Хомский Н. Язык и мышление. С. 23.

¹⁰⁰ Там же. С. 24.





ние существует не для истины, а язык не для семантики. Язык беспредметен. Ему не нужны ни ассоциации, ни привычки. Из идей о нераздельности языка и сознания следует другое заблуждение, что звук и значение соотносятся по врожденным правилам. Но ведь значения идеальны, а звуки материальны. Это не две стороны одного листа бумаги. Когда я ем яблоко, я не могу съесть значение слова «яблоко», ибо оно идеально. Более того, если правила соотношения звука и значения врождены, то откуда возникает у детей так называемый автономный язык. Далее, означает ли это, что врождены фонемы. У человека язык — не сигнал о неязыковом измерении. И Хомский это знает. Знакам языка не соответствуют какие-то неязыковые области. Если бы это соответствие было, то мы были бы птицами, защищающими свою территорию чередованием высоких и низких тонов. Человек использует язык не для информации. Он используется человеком для защиты уже сознания от других. Поэтому изначально язык существует для непонимания.

5

Хомскому нужно объяснить, почему звуков много, а фонем мало, а ведь сколько фонем, столько изначальных слов языка, а это значит, что на звуковую материю были наложены некоторые смыслы, которые не были связаны со звуком. Эти смыслы могли иметь дозвуковую, аффективную природу и могли быть встроены в жестовую коммуникацию. Жесты — не знаки языка, жесты — это следы, которые на теле оставило уже сознание. Поэтому можно проделать редукцию предложения не к глубинной грамматике, ибо она оказывается такой же как и на поверхности, а освободить его от избыточных языковых признаков. Если слова состоят из морфем, то каждая морфема была когда-то словом. Я напому о поэте Кондратьеве, который осуществил глубинную редукцию и освободил онегинскую строфу от избыточных языковых признаков, редуцируя ее к архаическим формам. Вот, что получилось:

«Не ующий, не яющий
Пускай слегка страдающий,
Пирующий, да ующий
Кукующе ликующий»¹⁰¹.

Резюме

Язык двусмысленен, то есть язык — это всегда два языка. Например, один язык божественный, другой — земной, один — высокий, другой — низкий. Бог дал имена небу, земле, дню и ночи. Адам поименовал животных. И мне хотелось бы знать, какой из двух языков Хомский хочет редуцировать к глубинной грамматике.

Один знак — это также всегда два знака, то есть знак развернут ни к тому, что вне знака, а к тому, что между знаками. Поэтому одно различие

¹⁰¹ Знамя. 1994. № 8.

держит два знака. В языке существуют слова-дубликаты, парные обозначения, как, например, глаза и очи.

Параллелизм предложений указывает на разные истоки происхождения языка. В мистериальном акте нуждались, видимо, в предложениях типа «дождит». В актах коммуникации употреблялись предложения типа «дождь идет», потому что в них что-то сообщается и поэтому требуется субъект-предикативная структура.

Глубинный смысл слова связан с функцией повеления, а не с функцией обозначения предметов. Звуковая субстанция, связанная с аффектом, императивна по своему существу. Язык входит в ритуал в звуковой форме, а не в форме жеста. Аффект дает звуковое начало ритму, его тоновым подъемам и спадам. Ритм интеллектуализирует аффект. Душа человека находит свое выражение в ритме, в мелодии, а не в жесте и знаке. Изначальная речь могла быть сведена к пространству одного звука.

Не мозг производит сознание и не нервная система, и не язык. Сознание не проблема психофизиологии и тем более лингвистики. Причина сознания — само сознание.

Сознание существует не для познания, а для стыда. Познавательные проблемы можно решить и без сознания в каком-нибудь электронном мозгу. В современном мире очень многое происходит без участия сознания. И не потому, что этому кто-то мешает, а потому, что оно не нужно. Оно не нужно для того, чтобы играть в бильярд, чтобы решать математические задачи, чтобы скриптор мог сочинять тексты. Все это языковые события, а не события сознания. Для того чтобы появилось сознание, нужен как минимум абсурд в отношении к таким же, как ты. Сознание возникает для самоограничения аутистов, нарушителей запретов воображаемого.

Сознавать — значит воображать, то есть с самим собой начинать новый ряд явлений, в независимости от того имеет этот ряд отношение к реальности или не имеет. Сознание нужно для самообмана. Кто не обманывает себя, у того нет шансов быть причастным к сознанию. Только то, что может грезить само, по своему произволу имеет право на сознание. Сознание дает возможность видеть не то, что есть, а то, что человек воображает.

Все знают, что если пациенту прикладывать нагретую пластинку к телу и одновременно говорить ему о том, что это холодная пластинка, то реагировать его сосуды будут не на тепло, а на холод, на идеальное, а не материальное. Поэтому человек не реалист, а аутист.

§ 22. Марр. Археология языка и мышления

Н.Я. Марр, будучи безумцем, собирающим бурю в сито, продолжает раздражать философов и лингвистов своим учением о языке. Мне Марр нравится парадоксальностью своих суждений, нравится его дерзновенная палеография. Но не Марр, а Соссюр считается отцом современной лингвистики. Это Соссюр придумал теорию о том, что в языке нет ничего, кроме различий. Это он убедил лингвистов в том, что им достаточно знать синтагматические связи и парадигматические, чтобы исчерпывающим образом описать язык. Но на Соссюра нашелся Хомский. Если Соссюр предложил





вынести предложения за пределы языка, оставив слова и звуки, то Хомский начинает с предложения, с основной синтаксической единицы. У него синтаксис и семантика слились в какую-то глубинную структуру, записанную чуть ли не на генетическом уровне.

5 Но и на Хомского нашлась управа. И эта управа — учение о языке Марра. Ведь синтаксис, по Марру, это тотем. Пока не было тотема, не было и синтаксиса. Эту формулу я считаю одной из самых гениальных в лингвистике. Но откуда же взялся этот тотем? Марр рассуждает так. Вначале был недифференцированный пантомимо-мимически-звуковой пиктографический язык со зрительным мышлением. Затем глаза уступили место руке и появился язык с локализацией в правой руке. Где руки, там и жесты, ибо жест — это первое свидетельство существования сознания, свидетельство того, что оно попыталось овладеть телом. Сегодня ручной язык — это язык мистерий и глухонемых. Если мы хотим увидеть его наглядно, то можем посмотреть на греческое изобразительное искусство, которое, согласно Марру, еще не исчерпало линейной ручной речи. Если же мы посмотрим и ничего не увидим, тогда нам нужно будет посмотреть на любую женщину, ибо ручной язык — это, по преимуществу, женский язык. Особенно интересна сцена общения между невесткой и свекровью. В этой сцене обязательно даст знать о себе закодированный в ней ручной язык. В крайнем случае нам следует обратить внимание на служителей культа, ибо уж они не могут обойтись без использования древнейшей ручной речи. Марр говорит нам: не слушайте то, что говорят в церкви. Заткните уши и смотрите на руки и вы все поймете. На руках лежит печать культа.

25 Для тех, кто не привык к визуальному мышлению, кто не понимает ручной речи, кто мыслит абстрактно, для тех Марр создает нарратив, повесть об антиязыке.

Внутри этой наррации нам предлагают отказаться от единственного числа. В случае отказа никто уже не сможет сказать «человек». Нужно будет говорить «люди», ибо мы можем говорить только во множественном числе. Затем нам Марр предлагает отказаться от лиц в спряжении. На этом уровне редукции исчезают я, ты и он. И, следовательно, не может быть беседы, т. е. разговорного языка. А это значит, остается язык действия. Без спряжения и склонения, без лиц, без разговорного языка, без подлежащего и сказуемого, без синтаксиса и грамматики, мы все же понимаем друг друга. То есть редуцируя язык к антиязыку, Марр открывает существование того, что может быть названо уже сознанием или, что то же самое, уже смыслом. Марру мало сдвига от речи к афазии, он ищет истину языка на пути смещения к антиязыку. Истина языка показывает себя в момент его исчезновения. Вот этот момент и интересует нас вместе с Марром. И одновременно нас интересует парадокс, суть которого состоит в следующем: если антиязык служит для понимания внутри уже смысла, то язык возникает для защиты уже смысла от понимания извне. Вот цитата из Марра: «Как же могла быть мысль при отсутствии действия — сказуемого-глагола и субъекта-подлежащего? Очень просто: действие было, но не в высказывании, во фразе, а в производстве, и субъект был, но не во фразе, а в общест-
45 ве, но не это действие, не этот субъект не выявлялись в речи самосто-

ятельно, не выявлялись ручной речью вне производства и производственных отношений: довольствовались указанием на орудие производства как действие (трудовой процесс, впоследствии, в предложении — сказуемое), самостоятельный глагол (часть речи) и на трудящийся коллектив как на субъект (впоследствии в предложении подлежащее, часть речи — существительное)».

В этом тексте следует обратить внимание на следующее. Мысль была до знаковой речи, но она не была узнана как мысль, она не была отрефлексирована. Ручной язык — это не язык рефлексии. Это предметное действие. Вернее действие узнавалось по орудю. И пока ручная речь справлялась со своими обязанностями, звуковая речь не нуждалась в сказуемом и подлежащем, т. е. ее не было. А это значит, что у человека архаики не существует собственного автономного языка, т. е. у него нет возможности говорить о себе на языке истины. В это время складывается, как говорит Фуко, «тайный язык бреда», священное бормотание галлюцинирующего человека.

Звук, как кислота, разъедал ручную речь, разлагал ее. И разложил. Из действия он выделил того, кто действует. И хотя действие еще долго могло обозначаться указательным жестом на предмет, субъект действия обозначался не жестом, а звуком. И звук этот был адресован тотему. Так знак встретился с жестом. И не жест, а речевой знак стал указывать на присутствие уже сознания, уже смысла, которым был тотем. Во всем был виден тотем, на всем лежали его следы. Тотем — это симулякр, присвоивший себе все возможные взгляды, которые могли быть брошены на него извне. И поэтому он был виден. В звуковой речи его замещало местоимение множественного числа, добываемое не в языке, а в мистерии, в производственном культе. «Местоимение, — говорит Марр, — замещает имя, но имени... не было. Оно заместило... тотем. Это местоблюститель тотема. Замтотема». Марр подсматривает за языком, говорящим в сущностное отсутствие слова. В культовом действии с предметом, в мистерии, объективировавшей галлюцинации человека, оторванного от природы, складывался синтаксис звуковой речи. Склонение ориентировало в пространстве, спряжение — во времени. Теперь я дам слово Марру. Он пишет:

«Вообще синтаксис, строй, это само производство, трудовой процесс, и лишь с осознанием, т. е. обращением в надстройку материального базиса, производства и производственных отношений, т. е. выработкой разлученного с базисом тотема, получился синтаксический строй речи, того же производства, но в осознании. Это осознание было и при ручной речи, при ней же и тотем, но синтаксис — строй в звуковой речи, получался одной расстановкой слов, сохранявших общественную природу, а потому не нуждавшийся ни в каком оформлении и не имевший его, а тотем, сигнализируемый звучанием, не в пример ручному, давал эксплуатации охват большого коллектива. Борьба шла между коллективом с звуковым тотемом и звуковой речью и коллективом без звуковой речи, с ручным тотемом и ручным языком (глухонемыми)».

В этом месте я прерву Марра с тем, чтобы иметь возможность прокомментировать некоторые важные положения этого текста.





Когда Марр говорит о производстве, о базисе, о трудовом процессе, нужно иметь в виду, что речь идет об объективировании уже сознания, т. е. тех галлюцинаций, которыми терзал себя человек архаики. Пока тотем был неразлучен с базисом, он был синтаксисом действия, все зависело от него, он ни от чего не зависел. Звук нарушил эту идиллию ручной речи. Он вырвал тотем из культа и самим собой заполнил образовавшуюся брешь. В одном звуке одной фонемы языка могла помещаться вся речь, т. е. синтаксис-то- тема действия был замещен синтаксисом звуковой речи, расстановкой слов. Звуковая речь возникает как интеракция, как культовое действие между людьми. Даже если мы, как Марр, атеисты, если мы боремся с богом, со святыми, мы не можем бороться с языком, хотя он у нас верующий. Как с ним бороться, если мы все время говорим «спаси бог», т. е. спасибо. Или вот что я говорю, когда говорю о том, что меня лихорадит. Филологи утверждают, что это безличное предложение. И это верно, ибо в нем нет субъекта, производителя действия. Куда же делся субъект? Согласно Марру, это предложение потому и бессубъектно, что уже есть субъект. Это — тотем, дух немощи, самоограничение самости человека. Без этого самоограничения нет сознания. Факты изумительной сметливости животных не результат самоограничения, не функция мышления, а функция самого действия природы. Поэтому Марр, как и Декарт, проводил ясную разделительную черту между человеком и животным. У человека есть смыслы. Смыслы никак нельзя реализовать. Они не реализуются, а актуализируются. Актуализация же связана не с наличным и возможным, а с невозможным, с парадоксом. Парадоксальность — стихия смысла, к грамматике которой относится дипластия. Актуальная единичность — это не реальная единичность. Первое — вне опыта. Второе носит опытный характер. Смыслы самости, как пузыри на воде, неожиданно появляются и неожиданно лопаются. Нельзя смотреть на один смысл из перспективы другого смысла, ибо каждый смысл — это саморазличающаяся тождественность.

Это первый вывод, который можно сделать из учения о языке Марра. Второй вывод состоит в следующем. Первичная интеракция или, как сегодня принято говорить, коммуникация строилась вне связи со знанием. Импульсом к коммуникации является потребность людей в определенной порции галлюцинаций. Например, я сам себе не могу дать эти галлюцинации. У меня, например, плохо работает механизм самовоздействия, и поэтому я редуцирован к социальному качеству. Допустим, я офицер. Но и мне нужны иллюзии. Кто же мне их даст? Другой. Взаимным трением друг о друга архаический человек рождал иллюзии. И сегодня, вступая в коммуникацию с другим, ты, как человек архаики, пытаешься получить недостающие тебе иллюзии. Хотя тебе их дают СМИ, Интернет, искусство. И наоборот. Всегда найдутся те, кто переполнен галлюцинациями, кто рассыпает их вокруг себя. Это поэты, вокруг которых пасутся те, кто питается их иллюзиями. И в заключение я хочу процитировать Фуко, который сказал, что только в ночи безумия возможен свет, тот свет, что исчезает сам, рассеивая тьму. На мой взгляд, Марр как раз и был тем светом, что исчезает в ночи безумия.

Никто не знает, как возник язык. И лингвисты не знают. Но они и не хотят об этом ничего знать. Фактически всякое общество знает, и всегда знало

язык «только как продукт, который унаследован от предшествовавших поколений, и должен быть принят таким, какой он есть. Вот почему вопрос о происхождении языка не так важен, как об этом думают»¹⁰². Лингвистам интересен язык как самозамкнутая система. «Язык, — говорит Соссюр, — есть система, подчиняющаяся своему собственному порядку»¹⁰³. Даже письмо является чем-то внешним по отношению к языку, к тому, что отложилось в мозгу у каждого и появляется в устной речи. Объект лингвистики в произносимом слове. Важен звук, а не буква, изображение речевого знака. Хотя именно изображение речевого знака стало доминировать над самим знаком. И Соссюр восстал против этой несправедливости, против письма. Не может быть так, чтобы фотография человека руководила человеком, чтобы в ней содержалось больше информации, чем в живом человеке.

Соссюр восстал против диктата письма. Марр восстал против Соссюра. Соссюр — лингвист. Марр — палеонтолог языка¹⁰⁴. Соссюр исследует язык вне связи с тем, что говорит человек. Для Марра язык имеет смысл в антропологическом контексте.

Антропология сопряжена с историей. Поэтому нельзя изучать язык вне связи с человеком и историей. Марр вообще не склонен был определять язык. Ведь определить — это значит найти для чего-то место, изолировать. Нельзя язык поставить на место, держать его на привязи. Вернее, это можно сделать. Но тогда речь нужно будет изучать вне зависимости от мышления, мышление — без связи с языком.

На этих разрывах и строились лингвистические теории. Марра волновали не окрестности истории, а окрестности языка. По этим окрестностям языка любили прогуляться и лингвисты, застревая на мелких вопросах по языку генетического порядка. Марра влекли начала и концы, магма истории, где все еще только зарождалось: и речь, и язык, и человек. У лингвистической палеонтологии не было того бура, которым можно было бы пробурить всю толщу истории и взять пробу. Марр изобрел теорию четырех элементов, на которые распадается всякое слово, прибавил к ней теорию кинетической речи и стал брать пробу.

По сути дела, Марр хотел заставить язык рассказать о себе, о своем далеком прошлом, о самоочеловечившемся звере, о мышлении и сознании. Язык — это последний живой свидетель давно минувших лет. Больше спрашивать не у кого. Память языка позволяет вернуться к тому, что было. Забвение бытия приемлемо для того, кто, занимаясь постылым трудом, желает быть только сытым.

Палеография языка Марра основывается на нескольких допущениях. Во-первых, язык всегда социален. То есть у него есть адрес. Он всегда кому-то принадлежал. На языке кто-то говорил. Или писал. Не существует языка без следов принадлежности к социуму. Звуковой язык не может быть языком одного племени. Язык, как перекресток, результат скрещения языковых элементов нескольких племен. А языковые элементы — это име-

¹⁰² Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 2004. С. 82.

¹⁰³ Там же. С. 45.

¹⁰⁴ Марр Н.Я. Яфетидология. М., 2002; Он же. Язык и мышление. Л., 1932.





на племен. Но во всех этих утверждениях еще нет ничего палеографического. Во-вторых, язык — это власть, возможность навязывать свою волю, подчинить кого-то своему желанию. И одновременно возможность подчиниться, принять чью-то волю. Язык проникает всюду, от него невозможно уклониться. Он всех вовлекает в дискурс власти. Вот этот последний тезис позволяет проделать несколько палеонтологических операций. Одна из них — отделение языка от познания. Язык ничего не познает и ничего не обобщает. Он вообще не связан с миром вещей. Другая — отделение языка от сообщений. Язык ничего не сообщает. Ему нечего было сообщить, ибо некогда было обобщить.

В результате операции Марр получает палеонтологическое изображение социума, в котором язык не обобщает, а общение происходит без сообщения. И поэтому поле этого общения структурируется силами реального, как поле влияний и воздействий, в котором происходит непреднамеренное эмоциональное общение.

Вот цитата из статьи Марра «Язык и современность» 1932 года: «Некогда ничтожные, ничтожнее мощных и природой исключительно вооруженных зверей, слабо-сильные животные вышли коллективным трудом, коллективизацией природными закономерностями регулируемой работы каждого из них по виду из зверино-животного состояния не в человеческое еще состояние, а общее людское; постепенно животные... одолевали... силы природы... коллективным трудом... помогшими им дифференцироваться по производству (а не по природному происхождению) и скакнуть одной из дифференцированных групп коллектива из животного мира в люди... в новую формацию, людскую»¹⁰⁵.

«Общее людское» — это социум, коллектив без индивида, неструктурируемое внутри себя целое, то, что нельзя получить монотонным построением природного. Жест, сопровождаемый диффузным аффектом, составлял язык ранних людей. Теория ручной речи Марра делает излишними представления о натуральном языке. Нет никакого языка у птиц, обезьян и зверей. Преобразование животных звуков в человеческую речь невозможно. А чтобы ни у кого не было соблазна из одного звука получить другой звук, Марр вводит представление о письме. Палеописьмо — это барьер, плотина на пути манипуляций со звуком. Сначала звуки — и они все животные, потом письмо — и оно человеческое. Сначала звериный шум и гам, потом тишина письма. И уже затем, в этой тишине послышалась человеческая речь.

О письме как кануне речи написал в свое время Дарию скифский царь Идантира. Дарий вместе со своим войском вошел в Скифию. Царь скифов отправил к Дарию своего гонца, который передал ему лягушку, птицу, мышь и пять стрел. И молча удалился. Послание Идантира было чистой образностью. В нем говорил немотствующий язык вещей. Дарий понял эту речь и поспешно удалился. Царь скифов сказал: «Если вы не улетите из моей страны, как птица, а останетесь, как мыши на земле, и лягушки в воде, — вы будете убиты».

¹⁰⁵ Марр Н.Я. Яфетидология. С. 137.

Палеописьмо — это не система письменности. Это условие возникновения звуковой речи и письма. Русский язык помнит о протописме в выражении «писать кренделя» при указании на походку пьяного человека. Или: «письмо — рука, а где рука, там и голова». Органом письма служит членораздельность человека, его жесты, мимика. По модели тела мыслился и весь мир: небо, земля и подземелье. Ручная речь сотни тысяч лет была обиходным языком. Люди жили как глухонемые, используя кинетические жесты — изобразительный язык, пиктограммы. На мышление рукой указывают, видимо, такие выражения современного русского языка, как «рукой подать», «быть под рукой», «руки не дошли», «разводить руками», «умывать руки», «рука на руку» и т. д. По мановению руки, т. е. по закону повеления, когда-то можно было сделать очень многое.

К линейной речи Марр относит все то, что входило в состав письма. Это танец, хоровое пение, коллективно организованное выражение эмоций. В одном из австралийских племен, например, вдовам запрещалось говорить иногда в течение года. Они могли пользоваться только языком жестов. Вдовы, приспособившись к этому языку, предпочитали пользоваться им и тогда, когда их никто к этому не принуждал. Индейцы различных племен, не понимая звуковой речи друг друга, могли полдня провести в беседе и болтовне. Язык рук известен также в Индии среди жрецов. Кинетический язык легко преодолевал племенные барьеры. Но этот язык строился в визуальном поле и поэтому с ним было хорошо днем и плохо ночью.

Конструируемая Марром палеография языка допускает возможность существования языка до звуковой речи. Обычно, изучать язык начинают с букваря. Чужой язык — со звуков.

Можно подумать, что буквы и звуки — самостоятельные сущности, данные нам от природы. Марр лишает их субстанциального значения. В букве и в звуке кристаллизована история человека. Не было в палеоистории ни букв, ни звуков. Первая звуковая речь была магической. Ее держали в тайне. Ею дорожили. В бессловесном пении мага, в первичных хоровых песнях распевалось всего одно слово, один звуковой комплекс. Дифференциация социума сопрягалась с дифференциацией звуков.

Звуковая речь возникла как культовая речь. Она возникает в танце, в хоре, в коллективно организованном пении. Она начиналась не со звука, а со смысла, с перевода кинетической речи на звуковую. А всякий смысл — это уже потенциальное предложение.

Следовательно, ошибочно думать, что люди захотели сказать что-то друг другу и поэтому у них возникла речь. Возникновение членораздельной речи не вызвано потребностями общения. Для общения была рука. Возникновение звуковой речи нужно искать в палеописме: в пляске, музыке, танце, в магическом действии. В звуке бессловесного пения мага выражалось священное. Сама повторность звукового комплекса являлась магическим средством воздействия.

Ситуация двуязычия позволяет Марру ввести представление о том, что слово рождается как привилегия немногих, как привилегия магического действия. Одна речь относится к обиходу, к общению. Другая — к культовому действию. Кинетическая речь — для всех. Звуковая — привилегия





мага. И должны были пройти многие годы, чтобы звуковая речь стала привилегией всех. Конфликт жеста и звука, немых и говорящих составлял содержание палеоистории.

Звуковая речь, утвердившись, оттеснив на периферию линейную речь, заставила вступить в конфликт племенные слова. В борьбу вступили тотемы. Разрешилась эта борьба различением пола, лица и возраста. Так тотемы племен растворились в синтаксисе языка. То есть грамматика языка оказалась сопряженной с социальной динамикой.

Так множественное число не различает род, а единственное число различает. Поэтому множественное число возникает ранее, чем единственное. Естественно было говорить: не «песчинка», а «песок»; не «волос», а «волосы»; не «пылинка», а «пыль»; не «человек», а «люди»; не «дерево», а «деревья». Первые слова составлялись не так, как «теле-граф», «само-лет», «со-весть» и «со-здатель». Они восходили к племенному слову и строились по ассоциации образов. Например, «топор» от «каменного топора», этот от «камня», «камень» от «руки». «Собака» могла получить значение «лошади», «осла», «птицы», «неба». «Небо» — это и «вода», и «огонь», и «трава», и «свет». «Вода» — это «дождь» и «рыба». В каждом слове синтез многообразных определений. То, что было близко, выражалось кинетически. То, что недостижимо рукой, — выражалось в слове. Звуковое слово — для далекого. Для неба.

В теории праязыка Марр подметил одну особенность. Праязыком стали называть мнимость, точку схождения, геометрический центр проекции индоевропейской группы языков. Никто этот праязык не видел. Для того чтобы не искушать себя и других в желании натурализовать мнимость, Марр перенес фокус, пометив его в палеоистории. Вместо праязыка получилось одно слово, которым распоряжалось племя. Это одновременно и имя племени, и тотем, и слово. «Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог».

Поскольку слово было одно, оно употреблялось во всех значениях. Тем самым оно приобретало условный знаковый характер. Безмерная синонимия требовала ограничения. Эти ограничения Марр сформулировал в теории четырех элементов. Грубо говоря, смысл этой теории в том, чтобы ввести антонимичность, ограничивающую обмен всего на все. Так появляются «мы — не мы», «да — нет».

Племенные слова скрещивались и составляли двойные звуковые комплексы. Палеолитическая множественность приобретала направление. Единый язык — это результат истории, плод универсализма, а не исходный пункт истории.

Палеография Марра указывает на то, что может привести к началу языка. К палеоречи можно вернуться и иным способом, изучая язык обращения к животным. Одомашнивание человека и животных происходило одновременно. Попутно Марр снимает проблему звукоподражания, а также проблему другого.

За палеословом не стоит другой. Поэтому бессмысленно говорить о внешней и внутренней речи. Палеонтология допускает существование речи, без частей речи. Речь была, а ее частей еще не было. А значит, не было

ни родов, ни изменений по числам и временам. Но если не было местоимений первого и второго лица, то не было и беседы, разговора, диалога. Различия по родам коренится в социальных институциях. В противном случае, неясно, почему, как говорит Марр, лошадь женского рода, а конь — мужского. Это различие характеризует не предмет, а какие-то социальные дифференциации. 5

Поскольку из кинетического языка сразу появились звуковая речь и письмо, постольку письмо сохраняет в себе следы, ведущие к палеоречи. Это узоры и орнаментация. Письмо вырождается в простую орнаментацию: волна (вода, круг, небо, рука). Повторное воспроизведение символа общего восприятия выражалось в письме в виде непрерывных повторяющихся узоров. Наскальные изображения палеолита — это не искусство, а история. 10

Соединение мысли и действия, переживания и языка понимания этого переживания в слове-монолите, в первых магических словах племени, в ручном мышлении позволило Марру значения помыслить до знаков, смысл до сознания о смысле. 15

§ 23. Н. Жинкин¹⁰⁶

Если речь другого предшествует внутренней речи, а внутренняя речь появляется только к десяти годам, то возникает вопрос: а что я делал эти десять лет? Как я понимал? Ответ очевиден. Я десять лет подражал другим. Я их понимал, ценой непонимания самого себя. То есть до десяти лет каждый живет чужим сознанием. Языком *Другого*. 20

Н. Жинкин предлагает другой ответ. Ребенок понимает взрослого так же, как Миклухо-Маклай понимает папуаса. Благодаря универсальности предметных схем. То есть дело не во внутренней речи и не во внешней, а в особом языке, который есть у каждого из нас. Правда, этот язык Жинкин называл кодом. А если это код, то должны быть и те, от кого этот код скрывает информацию. Предметные схемы остались, видимо, еще с тех времен, когда слово вторглось в область инстинктивных действий с предметами и сделало эти действия непрямыми, опосредованными. На языке универсально-предметного кода происходит обозначение личностного смысла. То есть движение к языку идет не от смысла, а от невербального коммуникативного образования. С невербального языка примитивных схем смысл перекодируется на вербальный язык интерактивных действий. Предметные схемы наглядны, чувственны. Они могут быть представлены бесконечным количеством высказываний. 25 30 35

Теория Жинкина имеет тот недостаток, что она уже заранее полагает существование мыслей на уровне универсальных предметных схем. Между тем универсально-предметные схемы — это эвфемизм слова «душа». Уже-понимание задается не предметами, а неозначенным. Что заставляет эти мысли переходить в речь, вступать в борьбу со словом. Неясно. Согласно Выготскому, это заставляет делать мотив. То есть речи еще не было и мысли еще не было, а мотив уже был. Он предпосылается речи уже тог- 40 45



¹⁰⁶ Жинкин Н.И. Механизмы речи. М., 1958; *Он же*. Язык. Речь. Творчество. М., 1998.



да, когда мы его не осознаем. Всякий раз, высказываясь, мы зачем-то это делаем. Хотя можем и не знать, зачем. Иногда мотив может прорываться на уровень высказывания неподготовленным, не одетым в нужные слова. Тогда получается косноязычие. Мысль — вне связи с языком. И наоборот.

5 Отсутствие мотивации заставляет язык работать вне связи с мыслью.

Итак, мысль начинается с мотива. Мотив нужно пристроить, поместить в мир социальных интеракций, в котором просят, приказывают, советуют, ссорятся, болтают, поздравляют, кокетничают, опасаются и т. д. Это все возможные речевые жанры, или дискурсы. В зависимости от выбранного жанра определяется будущая модальность речи, ее интонация и ее интенция. Затем в предметных терминах формируется «что» мысли. Слов еще нет, а смысл, семантика уже есть и записывается она в терминах универсального предметного кода, на языке образов. После этого язык образов переписывается на язык значений языка другого, составляя то, что Выготский называл внутренней речью. Словесный конспект речи, т. е. внутренняя речь, производится в соответствии с нормами текста, подчиняясь синтаксису и грамматическому структурированию речи.

Благодаря работам Жинкина удалось сохранить несколько важнейших положений.

20 1. В каждом человеке есть два независимых друг от друга языка. Язык для себя и язык для другого. И нельзя язык для себя дедуцировать из языка для другого.

2. Два языка, две речи и сопряжение между ними задает сознание человека.

25 Нет никакого смысла во внутренней речи повторять то, что сказано во внешней. Во внутренней речи содержится то, чего нет во внешней. В ней сохранились следы антислова, антиязыка, их предметно-чувственных схем. Никто не знает, что именно содержится во внутренней речи. Ибо знать мы можем в терминах внешней речи, т. е. узнавая, мы безмолвие внутренней речи подвергаем репрессиям со стороны болтливой психолингвистики.

30 Внутренняя речь коренится в душе. Внешняя — в социуме. Даже глухие от рождения люди могут использовать сенсорные схемы слуха, зрения, обоняния, движения. Внутренняя речь строится не по схемам высказывания. В ней всегда есть то, что отсутствует в диалоге «я — ты», но присутствует в диалоге внешней речи и внутренней. Замыслы и, следовательно, смыслы рождаются во внутренней речи. Внешняя речь их означает.

35 В предложении нет смысла. Смысл появляется в тексте. Во внешней речи. Но откуда он берется? Если у слова есть значение, то почему его нет в высказывании? Почему у высказывания есть предмет? Предмет разговора.

40 Мысль берется не из языка, а из внутренней речи.

§ 24. Розенштюк-Хюсси

45 Розенштюк-Хюсси, как и Марр, полагает, что суть дела не в мышлении, а в речи¹⁰⁷. Речь делит пространство на внутреннее и внешнее, а время —

¹⁰⁷ Розенштюк-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994.

на будущее и прошлое. Этими делениями образуется то, что Розенштюк-Хюсси назвал «крестом реальности», в центре которого находится человек говорящий. Если Марр вводит представление о четырех элементах, полагая, что речь дает о себе знать в оппозиции «да и нет», «мы и они», то Розенштюк-Хюсси видит присутствие речи в противопоставлении внешнего и внутреннего, прошлого и будущего.

Каждому из четырех элементов соответствует особый тип речи. Первобытная речь обращена к прошлому, греческая — к тому, что «внутри», в «я». Египетская — к внешнему, к звездам. Еврейская — к будущему.

Когда ты говоришь, ты занимаешь место в центре креста, в точке нуля. Говорить — значит переводить с одного языка на другой.

Так же как и Марр, Розенштюк-Хюсси считает, что истина — не цель речи. Что речь — это действие. Интерпретация, в которой отчетливо претупает повеление.

В концепции Розенштюка-Хюсси не принимается в расчет компрессия креста, сжатие его вертикали в точку поверхности, а также запрещается смещение человека из центра креста реальности. Между тем мышление убивает слова, разрушает основание речи. Крест сжимается. Вместо прошлого и будущего появляется настоящее. Внутреннее и внешнее складываются в поверхность. Говорящий смещается из центра.

§ 25. Существуют ли пределы у антропологии границы?

Во время чтения книги С.С. Хоружего «Очерки синергичной антропологии» мне на ум приходила одна и та же мысль. «Слава Богу, — думал я, — наконец-то выглянуло солнце и туман в антропологии рассеялся». Но чем дальше я читал, тем больше у меня возникало вопросов. Завершив чтение, я понял, что антропологический туман не рассеялся, а стал даже еще плотнее. Почему?

I. О новом облике человека и европейской философии

Хоружий полагает, что современный человек — это человек, лишенный неизменяемого сущностного ядра, которым является его Я. То есть современный человек — это человек без Я, не субъект.

Современное же мышление, то есть традиционная европейская философия, создано в предположении, что у человека не может быть Я. И поэтому оно, на взгляд Хоружего, мало что может сказать о человеке без Я. Следовательно, нужна новая философия человека. Эту философию можно получить, если, как полагает Хоружий, скрестить европейское мышление и исихазм. Вот этим скрещиванием Хоружий и занялся, создавая антропологию границы.

Слов нет. Проект хорош. Остается лишь заметить, что перестали мыслить человека в качестве субъекта уже Фейербах и Маркс. У Фейербаха человек терял свое Я и становился объектом в делах любви, у Маркса — в делах капитала. Но допустим, что все обстоит так, как говорит Хоружий. В этом случае нам придется учиться понимать человека через призму аф-





риканских племенных мифов, в которых нет места не только для Я, но и для такого слова, как «работа».

Иными словами, Я довольно позднее изобретение человека. До этого изобретения люди вполне обходились и без Я. Им было достаточно чувства принадлежности к целому, которое давало право говорить *Мы*. Будут ли европейские интеллектуалы менять свои представления о человеке или не будут — это их дело. Тем более что они прекрасно знают и о «человеке без свойств», и о «человеке симулякр». В конце концов у них есть Шеллинг, Бёме, Паскаль, Кастанеда и Канетти. Так что европейская философия вряд ли нуждается в исихастской прививке, которую ей предлагает мичуринец Хоружий. И все-таки современная философия, обнаружив изменчивую природу человека, которая оказалась подобной «Солярису», вновь была вынуждена поставить вопрос о человеке.

15 II. Что есть человек?

«Человек, — пишет Хоружий, — есть способ своего само-означивающего саморазвертывания: когнитивная машина, дискурс, эпистема... и прочее в этом роде»¹⁰⁸. И далее: «Человек — эпистеморождающий центр, топос»¹⁰⁹.

20 То, что человек у Хоружего стал дискурсом, когнитивной машиной, еще нет ничего страшного. В конце концов и у Фуко он был не ангелом. Проблема в другом. Если человек есть самоозначивающее существо, эпистема, то он попадает в систему знаковых опосредований. И эти опосредования лишают человека опыта непосредственного, самоочевидного. А значит, они лишают его возможности веры и прозрений. И одновременно для когнитивной машины решающую роль начинают играть ближайшие причины, внеположные инстанции.

30 Но Хоружий почему-то этого не замечает, утверждая, что человек выражает себя «в полном отсутствии какой-либо внеположной инстанции выражения и дискурса»¹¹⁰.

К сожалению, одно из двух: либо человек когнитивная машина и тогда положите для нее внешнюю причину, либо у человека нет внеположной инстанции выражения и тогда это не эпистема, а что-то другое.

35 Мне кажется, что суть человека не в Я и не в знании, и даже не в языке, а в том, что может быть реализовано в речи, которая соединяет воображение (неозначенное) и язык (знаковое).

40 III. О беспредельной изменчивости природы человека

Хоружий пишет: «В опыте новой эпохи... обнаружилась предельная — или скорей уже, беспредельная — изменчивость, подвижность, пластичность... природы человека»¹¹¹. При этом центр человека «оказывается рас-

¹⁰⁸ Хоружий С.С. Очерки синергийной антропологии. М., 2005. С. 7.

¹⁰⁹ Там же.

¹¹⁰ Там же.

¹¹¹ Там же. С. 14.

павшимся и отсутствующим». Свидетельствует об этом то, что философская мысль переместила свой фокус с Я на Другого. «Глядя в себя самого, Я, — жалуется Хоружий, — больше не вижу, перестал видеть, кто Я и что я, и в поисках себя я теперь обращаюсь за пределы себя, к Другому»¹¹².

У меня нет никакого желания иронизировать над Хоружим, потерявшим свой твердый центр, ибо он наверняка имеет в виду не себя, а какие-то абстрактные сущности, человека вообще.

На мой взгляд, никакого опыта новой эпохи нет. Этот опыт старый. Он описан еще Платоном в мифе о человеке-кукле. Изменчивость легко обнаружить, если попытаешься свой рабочий стол лишить скреп, болтов и прочей ерунды. И ты увидишь, как он становится изменчивым, пластичным. Если человек стал беспредельно изменчив, то это значит, что он вытащил из себя какие-то скрепы.

Эти скрепы создаются самоограничением, которое затем объективируется и предстает в виде принципов, запретов, идеологии.

«Я» — это не идеология и не принцип, но это скрепа, приуроченная к дискретно выделенному телу. За «Я» стоит не самоограничение, а язык. В поисках себя ты обращаешься к языку и спрашиваешь: «кто я»? Он отвечает и дает тебе имя. И ты становишься поименованным другим. Каждый из нас использует свое Я как языковой костыль, получая свое Я не в акте самоименования, а в акте именованья тебя другим. И, следовательно, твое Я — это всего лишь место, в котором ты привязан к языку. Это событие языка, а не экзистенциальная травма.

Самоименование уводит тебя от языка к мистериальной точке противопоставления с миром, к самовоздействию, в горизонте которого расплавляется язык и обнаруживается целое, элементом которого ты являешься. «Я» и «мы» — это на первый взгляд обычные местоимения. Но на самом деле они имеют разное происхождение. Я основано на непонимании условий своего существования, а мы предполагает уже-понимание этих условий.

Не «Я», а «мы» собирает множество протоэлементов, пред-актов, грез, плавающих означающих в нечто целое. Внедрение в множество несубстанциальных, дифференцированных отношений эффектов типа «взмаха крыла бабочки» запускает механизм самовоздействия, останавливает скольжение смыслов, фиксирует значение. Но «крыло бабочки» — это не причина, а случайное тело объективации аутистических видений. На взмах крыла бабочки мы отвечаем действиями, которые вытекают из наших грез. В пространстве «мы» задолго до Интернета и экранной культуры обнаруживается странная способность человека меняться не меняясь. Тогда же как природа умеет меняться, только изменяясь, эволюционируя. Словосочетанием «природа человека» мы репрессуем в человеке то, что в нем никакого отношения ни к природе, ни к эволюции не имеет. Сегодня это «что» получило имя «самости без я». Самость, будучи нетождественной себе, обладает невиданной пластичностью. Некоторых европейских интеллектуалов эта пластичность покорила, и они (Деррида) поместили в пространство нетожд-

¹¹² Хоружий С.С. Очерки синергичной антропологии. С. 14.





дественности знак, языковой каркас и успокоились, полагая, что никто не дан самому себе непосредственно, никто не знает, что он говорит. Но если это так, то и в бессознательное можно войти помимо сознания.

Если для европейских интеллектуалов несовпадение с самим собой служит косвенным подтверждением знаковых опосредований, то в русской философии оно интерпретируется как возможность действия на самого себя, как, например, в формуле В. Соловьева «стыжусь — следовательно, существую». Не другой, а «самость без я» открывает горизонт бесконечной изменчивости природы человека.

IV. Возможна ли антропология границы?

Хоружий полагает, что центр человека — это его «Я». И это было бы верным утверждением, если бы все люди были американцами. Но ведь есть еще и те, у кого есть традиции, у кого «я» смещено из центра.

«Если человека, — пишет Хоружий, — нельзя более характеризовать „центром“, его остается характеризовать периферией, а точнее границей»¹¹³. Но если центра нет, то это значит, что центр везде. А периферии нет нигде, потому что быть периферией в отсутствие центра невозможно.

По словам Хоружего, граница «не может отсутствовать». Как всякий рациональный человек, Хоружий знает, что всякое существование предполагает то, что существует. Если есть «что», то есть и граница. Нет «что», нет и границы. Но в случае человека можно говорить о существовании без указания на то, что существует. А поскольку о границе такого существования ничего сказать нельзя, постольку Хоружий вынужден цитировать Гегеля, который полагал, что определить предмет — значит указать на его границу. Правда, Гегелю возразил Шопенгауэр, но это неважно.

Итак, Хоружий, связав свое представление о границе с предметом, задним числом переносит его и на человека. Тем самым Хоружий воспроизвел одну из формул эссенциалистской философии, с которой как будто бы решил бороться, вернее, которую он решил обновить восточной экзотикой — исихазмом.

Следует заметить, что не всякий предмет можно и нужно определять, потому что определение очень часто вводит в заблуждение. Например, нельзя определить, что такое добро, ибо добро — это то, что делает добрый человек. И самое главное. Человек — это вообще не предмет. А если это не предмет, то и вопрос о его границе лишается смысла, ибо искать его границу — это то же самое, что искать массу покоя у истины.

Со времен Аристотеля указать границу предмета — значит указать его место в пространстве. В качестве границы любого объекта стала пониматься замкнутая линия.

У человека нет границы в виде замкнутой линии. Поэтому его определить невозможно. Провозглашаемый Хоружим философский сдвиг от центра к границе в языке описания человека ничто не дает. И то и другое характеризуют наличное или возможное. А человек — это невозможное,

¹¹³ Хоружий С.С. Очерки синергичной антропологии. С. 15.

пустое место наличного. Поскольку человек невозможен, постольку у него нет границы, ибо граница есть у реального, у того, что существует. Вернее, граница есть у наличного, иное — у возможного. У невозможного нет ни того, ни другого.

Антропология Границы Хоружего ничем не отличается от языка классической философии, который, по мнению Хоружего, устарел. В чем я с ним солидарен. Впрочем, Хоружий и сам замечает изъяны своей методологии. «Речь о человеке, — пишет он, — развиваемая как речь о предмете, рискует оказаться неоправданным сужением антропологического дискурса»¹¹⁴. Парадокс же состоит в том, что если человек понимается в терминах границы, то одновременно он понимается и как предмет. Понимая человека как предмет, мы сужаем антропологический дискурс. Вернее, мы его теряем.

Если же человек — это невозможное, то тогда у него нет предельных проявлений.

Граница — это не некое третье, как полагает Хоружий, а место, где то, что есть, перестает быть тем, что оно есть. И в этом смысле оно относится уже к тому, что становится, то есть не существует. Третье предшествует второму и первому, являясь дипластией. У него андрогинный характер, а не характер какой-то математической линии, отделяющей предмет от всего остального.

V. Нужны ли Богу предельные проявления?

Антропологическую границу «составляют, — пишет Хоружий, — определенные человеческие проявления»¹¹⁵. К ним относятся, с одной стороны, акты и действия, а с другой — пред-акты и замыслы действия. При этом, полагает Хоружий, нелепо рассматривать человека как сущность или субстанцию, но вот как субъекта его можно рассматривать.

Но если его можно рассматривать в качестве субъекта, то его можно рассматривать и в качестве субстанции. Во всяком случае это следует из теории «субстанции-субъекта» Гегеля. Но если человек — это не субстанция, то это значит, что он не является чем-то отличным от своих проявлений. Он ими не обладает, как вещь обладает свойствами, ибо он сам есть случайное сочетание множественных обстоятельств, порождаемых абсурдом.

Человек — существо, реализуемое на этой множественности, то есть существо, которое не смогло уклониться от встречи с абсурдом.

Само понятие предельных проявлений носит предметный характер. Оно указывает на то, что есть не только какие-то качества и свойства, но есть еще и пределы этих качеств и свойств, границы, на которых исчерпываются возможности и ресурсы наличного. «Граница человека, — пишет Хоружий, — есть полная совокупность его предельных проявлений»¹¹⁶.

А это значит, что если человек от страха может перепрыгнуть канаву шириной пять метров, и не может перепрыгнуть ручей в восемь метров, то

¹¹⁴ Хоружий С.С. Очерки синергийной антропологии. С. 16.

¹¹⁵ Там же. С. 17.

¹¹⁶ Там же.



это будет предельное проявление его физических возможностей. Но эта содержательная логика перестает работать, если мы захотим узнать о предельных проявлениях сознания. Сказать, что предел сознания — это бессознательное — значит, ничего не сказать, ибо бессознательное — это то, что уже было сознанием. Предел сознания — это само сознание. Равно как и предел человека — это сам человек.

Конечно, на пределе может быть показано то, что в норме скрыто. Но быть скрытым — не значит отсутствовать. Правда, остается открытым вопрос: не появляется ли на пределе то, что ранее не существовало. Но человек — это и есть существо, которое запрещает отсылать к тому, что ранее наблюдалось, ибо пространством его обитания является абсурд, деабсурдизация которого составляет смысл человеческого существования.

«Как нетрудно увидеть, — говорит Хоружий, — „предельность”, „принадлежность границе” проявлений человека всегда понимается как выход за рамки горизонта „обычного”, „нормального”, эмпирического человеческого существования»¹¹⁷.

Но выход за рамки обычного — это не предельное проявление, а девиантное поведение человека. То, что Хоружий называет «феноменами трансгрессии», оказывается не трансгрессивным, а девиантным в своей сущности. То есть горизонт существования человека, предельность его проявлений составляют наркоманы, преступники и художники.

А поскольку в девиации исчезают или меняются определяющие признаки и предикаты человеческого существования, постольку она может рассматриваться как проявление не только человека, но и, говоря словами Хоружего, «его Иного».

Остается неясным, означает ли это, что наркоман является предельным проявлением Бога или же Хоружий имеет в виду что-то другое?

VI. О взмахе крыла бабочки

«Мы знаем... — пишет Хоружий, — что для антропологической реальности характерны тонкие эффекты типа „взмаха крыла бабочки” в синергетике...»¹¹⁸

Взмах крыла бабочки, как и скрип колеса телеги, важен не вообще для какой-то антропологической реальности, а для аутиста, для человека из подполья. На человека нормы скрип не действует. Понимая это, современная философия решила перекинуть знаки. Она нормой стала называть то, что было ненормальным. В норме человек безумен, необъективируем, вдали от этой нормы в нем становится меньше человеческого и больше нормального, машиноподобного, объективируемого, того, что не обращает никакого внимания на взмах крыла бабочки. Поэтому понимать человека надо вдали от равновесия, в приближении к хаосу, ко множеству отношений, не выстраиваемых в последовательную цепочку доминирующим означающим. Человек, доведенный до плазменного эмо-

¹¹⁷ Хоружий С.С. Очерки синергичной антропологии. С. 17.

¹¹⁸ Там же. С. 18.



ционального состояния, является не конечным результатом, а исходным пунктом движения человека к тому, что отменяет в нем эту плазменность, ее неустойчивость.

Хаотичность мыслящей природы человека открыта современной философией. Но она была известна духовным практикам.

5

VII. О неклассическом подходе к человеку

Классический подход к человеку выражается в таких словах, как «субъект», «сущность», «субстанция», а неклассический подход — в словах «эмоция» и «энергия». Неклассический подход к человеку Хоружий находит в исихазме и отчасти в деятельностной методологии. Согласно Хоружему, «...антропологический подход, отправляющийся от „человеческих проявлений“, в известной мере аналогичен деятельностному подходу»¹¹⁹. Деятельностные теории ограничиваются изучением актов. И поэтому их надо, полагает Хоружий, дополнить изучением пред-актов. Сама по себе эта мысль хороша. Но акт никак не похож на пред-акт. Для того чтобы увидеть пред-акт, нужно отказаться от языка, целей, норм, интенций сознания. Но без этих институций мы получим недифференцированное сознание, то есть сознание минус язык. А сознание минус язык есть не что иное, как эмоция. Любые деятельностные акты возникают и исчезают в стихии эмоциональных энергий. Энергия же эмоций может пониматься адекватно только в рамках теории самовоздействия. А это значит, что не любое проявление человека является энергийным. На мой взгляд, Хоружий подменяет энергию самовоздействия энергией действия, то есть физической энергией. И эта подмена закрывает от него существо проблемы человека. Например, Хоружий позволяет себе сравнивать человека с открытой физической системой. Конечно, он может делать самые разные сравнения, но, как я думаю, это сравнение очень поверхностное с точки зрения философии человека.

10

15

20

25

30

Неклассический подход к человеку представляет, на мой взгляд, не деятельностная парадигма, а парадоксальная, допускающая то обстоятельство, что человек, по словам Платона, может быть сильнее самого себя или слабее. Суть человека не в акте, не в действии, а в грезах. Человек — не субстанция, а практикующий аутист. Его энергии относятся не к иному, а к самости, к воздействию на себя. «Себя» здесь означает не дискретно выделенное тело, а множественность тел, обладающую свойством самоактуализации.

35

Хоружий пишет: «Современность и древние практики сближаются между собой как две области, развивающие неклассическое видение человека, для которого критически важны тонкие и предельные проявления»¹²⁰. Но если бы древние практики работали в сфере возможного так, как это делают современные практики, то тогда бы они не были духовными практиками. А если они являются духовными практиками, то

40

¹¹⁹ Хоружий С.С. Очерки синергийной антропологии. С. 18.

¹²⁰ Там же.





это значит, что они имеют дело с невозможным. Особенность современной культуры состоит в том, что она не имеет опыта реализации невозможного. Одно дело строить отношение с объектом, который недоступен, но возможен. Другое дело — иметь отношение с объектом, который

5 доступен, но невозможен. С первым имеет дело психоаналитика. Со вторым — аскетика.

«Бессознательное, — говорит Хоружий, — это иное сознания». Если это иное привести к сознанию, то оно перестанет быть иным, и его можно будет познавать. Если оно неприводимо к сознанию, то она непознаваемо. И тогда твое бессознательное становится недоступным для тебя. Оно тебе может только знаки подавать. Тебе же нужно будет идти к психоаналитику, который помогает понять эти знаки.

10 На мой взгляд, бессознательное — это не иное сознания, а все то же его возможное — только в отрыве от наличного. А это значит, что есть два типа объектов, а именно: одни из них возможны и одновременно недоступны, другие — невозможны и доступны. В первом случае формируются такие специфические структуры сознания, как неврозы, психозы, комплексы, фобии и прочие. Во втором — мистериально-духовные практики. Хоружий невольно смешивает эти объекты, заставляя сознание бороться с бессознательным и пытаюсь мир безумия сопоставить с реальностью. Хоружий оправдывает это сопоставление. На мой же взгляд, это принципиально неверный ход.

15 Бесспорно, что язык — это наше бессознательное. То есть когда я говорю, что бессознательное есть иное сознания, то я говорю, что язык есть иное сознания, а языковое сознание является смесью сознания и бессознательного, уже-понимания и непонимания.

20 Равно как бесспорно и то, что человек — не род бытия, как думает Хоружий. Это актуализация невозможного здесь, в тут-бытии. Поэтому все три топика, выделяемые Хоружим, это топика я-сознания, обремененного немецким языком Хайдеггера, который к исихазму имел мало отношения.

25 «Мы, — пишет Хоружий, — полагаем человека „открытой системой“, антропологическую реальность — открытой реальностью»¹²¹. Но если человек — это открытая система, то тогда как же в этих терминах его отличить от обезьяны, которая тоже является открытой системой. Если я правильно понимаю Хоружего, то и иное человека, то есть Бог, также является открытой физической системой, что, видимо, нелепо.

30 VIII. О кролике Батае и топиках бытия

40 Бог дал человеку три границы: онтологическую, онтическую и виртуальную. Он их нам дал и об этом сообщил Хайдеггеру, попросив объявить эту истину народу. Хайдеггер же две истины обнародовал, а одну скрыл. И многие терялись в догадках, что же он прикарманил. Пока Хоружий не

45 открыл тайну и не обнародовал все три истины, то есть границы, которые

¹²¹ Хоружий С.С. Очерки синергичной антропологии. С. 20.

он в свою очередь назвал топиками. К трем простым топикам он от себя прибавил еще три смешанных.

В самой главной топике человек представляется как Dasein, бытие-присутствие. Но если человек — это бытие-присутствие, то иное человека — это, видимо, бытие-отсутствие, которое у Хайдеггера известно как Sein. А еще в ней есть «энергичное третье», которое открыл Хоружий, прочитав Флоренского. В пространстве третьего присутствие претворяется в отсутствие, а Dasein в Sein, смертное в бессмертное.

В более низкой топике царствует бессознательное. Но у него нет статуса инобытия. Хоружий присваивает ему статус сущего, онтического, мешчанского.

В самом низу находится эон виртуальной топики. В него попадает все недоделанное, недоовлащенное, недоношенное, а также не полностью актуализировавшееся сущее¹²².

В главной топике люди сознательно внимают зову «Внеположного истока». В средней делают деньги и комплексуют по поводу своих влечений и их объектов. В низости низкого пребывает последняя простая топка — ареал виртуального, дефектного, ущербного. Все три топики ведут между собой войну: недоделанное со сделанным, но сущим; сущее с бытием; Sein с Dasein; а бытие — со всем, что им не является. «Человек, — грустит Хоружий, — начал скользить по своей границе вниз»¹²³. Сначала туда ускользнул Ван Гог, за ним Врубель, а потом Батай. И за Батаем — все любители конечного, предельного и внутреннего опытов. Трансгрессия, разъясняет Хоружий, это не бунт против власти Границы, а это, говорит он, «жест кролика» перед удавом. «Кролик по имени Батай утверждает свою свободу, бросаясь в пасть...»¹²⁴ Как будто есть иной способ утвердить свою свободу?..

Другой кролик по имени Делез, вместо того чтобы быть ужом, познавшим всю прелесть полета в небо, призвал всех остальных кроликов быть алкоголиками, сумасшедшими и партизанами-террористами, чтобы своей экзистенцией испытать мир. А Хоружий говорит, что не надо этого делать. Нужно быть трезвенниками и испытывать мир экзистенцией *Другого*. Все топики Хоружего, как одеяло, сшиты из разноцветных лоскутков. Например, он пишет: «Энергии человека взаимодействуют с энергией бессознательного». То есть эти слова надо понимать так, что человек существует сам по себе, а бессознательное — само по себе. Вот носится оно по миру, кружит вокруг человека, а он, вместо того чтобы отвернуться от бессознательного, вступает с ним во взаимодействие, думая, что взаимодействует с энергией Иного.

Читая Хоружего, мысленно представляешь себе небеса, а на небесах — станции, генерирующие энергии. Они там ее генерируют, а мы здесь ее потребляем. Вот и вся синергия. При этом Хоружий, надо полагать, знает, как одно отличить от другого. Но что делать тем, кто не знает, как это делать? И что делать мне, если я полагаю первичное родство всех энергий?

¹²² Хоружий С. С. Очерки синергичной антропологии. С. 23.

¹²³ Там же. С. 54.

¹²⁴ Там же.



Глава VII

Сознание. Воображаемое и означенное

Краткое содержание главы

Человек — это плата за неудачную попытку обезьяны уклониться от встречи с абсурдом. Бессмыслица человеку нужна для того, чтобы в нем умер реалист, то единственное, что способно умереть от столкновения с абсурдом. Оставшееся будет называться сознанием. Сознание — не реальность, не игра сил реального. Сознание есть то, что остается после смерти реальности. Оно существует как пустота, заполняемая воображаемым. Поэтому мыслить — значит полагать несуществующим то, что существует, и существующим то, что не существует. Знание и интенция не могут исчерпать сознание, ибо сознание беспредметно. И знание, и интенция являются следствием существования предметного сознания, а не его причиной. Сознать — значит произвольно самому действовать на себя. Сознание самодостаточно. Оно не отсылает к другому сознанию, не раскладывается в последовательности и не занимает места в пространстве. Образ сознания идеален. Это «черная дыра» реальности. В нем находится исток бесконечного речевого потока. Но ни речь, ни мир как текст не могут выступить с ним в отношении синонимии. Приближение к сознанию ставит абсурд против речи, обесмысливая смыслы. Сознание нельзя восстановить, как действенный факт, до которого не было сознания. Его нельзя получить ни сочетанием знаков, ни сочетанием нейронов. Если сознание является только лишь субъективным аспектом нервной деятельности, то достаточно одной этой нервной деятельности, для работы которой не нужно сознание. Без участия сознания решаются логико-математические и другие задачи. У сознания нет истока вне сознания. Сознание не запоминает того, что вне его. Оно вспоминает, оставаясь у себя. Сознание существует как переход от немой речи образа к звуковой и письменной синтагматической речи. Сознание без мысли о сознании — это чувство, нечто чувственно-сверхчувственное.

По мере того как анти-слово превращалось в слово, сознание становилось антисознанием. Впервые эта мысль была сформулирована М. Мамардашвили и А. Пятигорским¹²⁵, которые понимали анти-сознание в качестве знаков, функционирующих как знаки. Уже-сознание мыслимо в связи с символами. Символ — это знак ничего, беспредметного воображаемого. Поэтому символ — это не знак, а то, что сопряжено с сознанием и понимается. Но если сознание мыслит себя вне связи со знаками, то, во-вторых, и знаковые связи вполне мыслимы вне связи с сознанием. Язык — это

¹²⁵ Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. М., 1999. С. 90–94.

раковая опухоль сознания. Ибо знаковые отношения имеют тенденцию к расширению, захвату все новых областей, в том числе и сознания. Знаки размножаются как сорняки на деревенском поле. А поскольку знаки — это предметы, постольку они отягощены знанием и интенциями сознания. Предметность языка разрушает беспредметность сознания, знание вытесняет понимание, знаки не оставляют места символам. Все это и позволяет говорить о том, что бытие стало языком и что язык работает как анти-сознание.

§ 1. Сознание и самость

Сегодня все еще встречаются люди, которые увлекаются аналитической философией. Влекомый общим потоком, я прочел Д. Деннета «Виды психики» и пришел к выводу, что мне не нравится его путь понимания сознания. Почему?

Во-первых, потому что он создает чудовищные схемы упрощения сознания. Вот несколько примеров. Деннет спрашивает: «Возможен ли обладающий сознанием робот?» И отвечает: «Робот, обладающий сознанием, возможен»¹²⁶.

Замечу, Деннет говорит о сознании так же, как Сталин говорит о языке.

Далее, выпускник Оксфорда и одновременно Гарварда торжественно объявляет: «Мы похожи на рыб, но мы не рыбы», полагая, что ухватил что-то очень важное в человеке¹²⁷. Но Деннету не пришла в голову мысль сказать себе: да, мы потомки людей. Но люди ли мы? Нет ли среди нас нандертальцев?

Еще в одном месте он пишет: «Интенциональными системами являются все те и только те объекты, поведение которых предсказуемо или объяснимо из интенциональной установки. К ним относятся термостаты, амебы, растения, крысы, люди и компьютеры»¹²⁸.

Если я не отличаю камень от сидящего на нем Деннета, то это значит, что я изобрел язык, на котором они не различимы, но тогда мне нужно говорить не о камне и Деннете, а, допустим, о температурных характеристиках. Вершиной его теории интенциональных систем является вывод о том, что замок и ключ выражают простейшую форму интенциональности. Деннет даже не понял, что дело не в интенциях ключа, а в оестествлении сознания, которым он занимается.

Мне не нравится аналитический путь понимания сознания еще по одной причине. Вот пример. Деннет цитирует Ницше. Речь идет «о презирающих тело» из книги «Так говорил Заратустра»¹²⁹. Деннет выражает свое полное согласие с Ницше в том, что презирать тело не надо, ибо, как полагает Деннет, каждая его часть несет какую-то информацию. «Китовый ус несет в себе информацию о пище... крыло птицы содержит информацию о среде» и т. д.

¹²⁶ Деннет Д. Виды психики. М., 2004. С. 23.

¹²⁷ Там же. С. 30.

¹²⁸ Там же. С. 41.

¹²⁹ Там же. С. 85.





Ошарашенный деннетовской герменевтикой, я заглянул в текст Ницше и увидел, что речь в нем идет о том, что нашим телом является Самость. Ибо китовый ус не хочет ничего творить сверх себя, а Самость только этим и занимается. Ницше ищет порождающую причину Я и сознания в Самости. Деннет редуцирует сознание к информации, которой обладает тело¹³⁰. Ницше различает мыслящее и разумное, Самость и Я, Деннет не понимает даже самой проблемы, которая стоит за их различием.

Но оставим Деннета когнитивным наукам, которым он служит, и займемся философией сознания.

На мой взгляд, задача современной философии состоит не в том, чтобы легитимизировать то, что мы уже знаем о сознании из разных источников, а в том, чтобы проблематизировать это знание. Сегодня нам нужен не объективирующий дискурс науки, не анализ языка, а трансгрессия предельных форм наличного, где сознание могло бы само говорить о себе.

В момент, когда сознание перестает быть тем, что оно есть, оно открывает свою истину. Ни психология, ни лингвистика не могут говорить на языке этой истины, ибо они объективируют сознание, делая его чужим по отношению к самому себе. Нам нужно не отчужденное сознание, не сознание, погибающее в мире объективаций. Нам нужно живое сознание в момент, когда оно, как говорит Гегель, находится у себя дома.

Построить концепт сознания — значит одновременно построить концепт человека, то есть в понимании сознания сегодня выходит на первый план антропологический дискурс, суть которого я попытаюсь изложить в виде нескольких тезисов.

Я думаю, что ни одно существо в мире не может вынести встречи с абсурдом, не может в один и тот же момент совершить два взаимоисключающих действия. Мир научился уклоняться от встречи с абсурдом. То, что не сумело уклониться от встречи с ним, может быть названо человеком. Бытие человека — плата за встречу с абсурдом, напоминанием о которой является наш невротизм, наше безумие.

В пространстве абсурда гибнет разум природы, то, что стойки называли инстинктом. Абсурд оторвал человека от природы, как отрывают ребенка от груди матери. Он сделал невозможным логическим однородный и непрерывный переход от наличного к человеку, обесмысливая силу эволюции, которая всегда действует исподтишка, мало-помалу. Абсурд налагает запрет на действие ближайшей причины и помещает человека среди того, что всегда отсутствует.

Человек не часть природы. Его нет в составе наличного, фактического. Человек — это невозможное в порядке реальности, нечто гиперреальное. Поэтому-то жизнь человека, говоря словами Платона, во тьме пещеры. Жить в пещере — это значит воспринимать галлюцинацию как реальность, как то, что занимает место ближайшей причины. Иллюзии осуществляют депривацию человека. Воображение объективирует галлюцинацию, дает ей материал внешних раздражений, цепляет ее за слу-

¹³⁰ Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990. С. 28–30.

чайную материю, помещая вовне то, что мучило изнутри. Человек окутан галлюцинациями и образами, как младенец обернут пеленками.

Существо, терзающее себя галлюцинациями, объективирующее их в культе, в мистерии жизни, следует назвать существом мыслящим, хоть и не разумным. Между грезами и человеком нет никакого зазора, нет пространства, в котором можно было бы поместить знак. Поэтому мыслящий человек дан себе непосредственно, а разумный — опосредованно.

Мыслящий, но не разумный хаос я называю Самостью без Я. Важнейшими признаками Самости без Я являются: несовпадение с собой, действие на себя и самоактуализация.

Несовпадение с собой дает место пустоте, зазору, который заполняется не чуждостью, а различиями образов и грез. Действием на себя Самости без Я рождается эмоция. Эмоция и есть чистое действие Самости и одновременно это ее предел, граница, за которой пребывает психика как вещь. Ничто в мире, за исключением человека, не обладает Самостью. Эмоция Самости без Я — это тот клей, который позволяет склеивать из хаоса самопроизвольных внутренних и внешних раздражений образы, позволяет воображать, то есть воздействовать на себя уже образами и символами.

Несовпадение Самости с собой делает эмоцию амбивалентной, то есть способной соединять то, что логически несоединимо. Самоактуализация Самости — феноменальна, то есть актуализация ее смысла является конкретной всеобщностью, она — единична и непредсказуема. В ней наличное равно возможному. Это невозможная фактичность, то что не подлежит обобщению, с чем можно только встретиться, всматриваясь, увидеть сущность.

Сознание — это первичная актуализация Самости, исходное ее самоограничение. А поскольку, кроме эмоции, ограничивать было нечего, постольку сознание следует понимать как отложенную или задержанную эмоцию. Эмоция в ходе самоактуализации как бы раздваивается, не находя себя на месте, образуя пространство вторичных воздействий. Отложенная или задержанная эмоция является уже-сознанием, смысл которого состоит в самоограничении Самости и одновременно при нарушении границы, в воздействии ее на себя. Без сознания ничего нельзя, с сознанием уже не все можно. Самость, освобождая свое существование от существования, которое его ограничивает извне, сама себя ограничивает.

Попытки уже-сознания овладеть телом привели к возникновению того, что сегодня называют жестом. В жесте уже-сознание впервые показало себя миру. Среди жестов решающую роль играет указательный жест руки. Но на этом жесте строится кинетическая речь или, что то же самое, протописьмо сознания. С жеста началась дозвуковая речь и визуальное мышление. Но жест — это не знак. Потому что знак — это всегда два знака. Знаки произвольны и синонимичны. Один знак всегда можно обменять на другой знак. В жесте еще видна связь с эмоцией, с уже-смыслом. Жест отделяет мыслящее, но не разумное, от того, что разумно хотя и не мыслит. В тишине дословного письма сформировался горизонт фонетической речи, синтаксисом которой является мистериальный порядок. Или, как говорил Марр, сила целого, представленного тотемом. Мистериальный по-

5

10

15

20

25

30

35

40

45





рядок симулирует и уподобляет. Он симулирует то, что не существует, и уподобляет то, что различно.

Координация необъяснимо появляющихся и также необъяснимо исчезающих симулякров составляет пространство встречи жеста и звука. Если жест соединяет воображаемое и тело, то речевой звук соединяет воображаемое и язык. Первая речь — это крик, то есть немая, несинтагматическая речь, состоящая из одних гласных. Уже-сознание Самости без Я создает пространство ее возможных самоотождествлений. Совпадение самости с собой фиксируется в местоимениях «мы» и «я». С появлением пустого Я в пространстве языка стал возможен обмен мыслями. Но мысли в языке не от языка, а от ума. Язык не воображает и не симулирует. Язык — враг сознания. За ним, за порядком знаков и механизмов означивания всегда стоит уже-сознание. И поныне любая речь является безнадежной попыткой смысла проникнуть в язык.

В завершение я хочу резюмировать мною сказанное.

1. Сознание существует не для знания, а для воздействия себя на самого себя.

2. А это значит, что любому «сознанию-о» всегда предстоит «уже-сознание».

3. Поскольку сознание — это отложенная эмоция, постольку оно расщепляет переживание на предмет и на язык понимания, независимый от предмета.

4. Самосознание, внутреннее знание является более фундаментальным, чем внешнее знание.

5. Сознание не приспособливает к миру, к реальности, а ограничивает самовоздействие Самости.

6. Символическое знание онтологически более важно, чем предметное знание.

7. Первичные акты коммуникации основаны не на знаках и понятиях, а на симулякрах. А это значит, что гиперреальное предшествует реальному, которое, в свою очередь, является не чем иным, как объективированной галлюцинацией.

§ 2. Сознание

Обычно сознание понимается как сознание «о»¹³¹. Откуда же у сознания появляется это «о»? Ведь порядок идей сознания не отражает порядок вещей реального, а вещи реального — не копии идей сознания.

Это «о» в сознании от языка. Язык же по существу своему является пространственным и предметным. «О» сознания — это результат трения сознания о язык. Это мозоль сознания. Для того чтобы понять сознание, нужно срезать его языковой нарост. Сознание без «о» становится беспредметным. В нем нет знания о предметах. Знание в сознании не от сознания, а от языка. Редуцируя «о», мы избавляемся от идеи о том, что сознание учреждается в пространстве встречи с предметом. Тем самым мы уходим

¹³¹ Аскольдов С. Сознание как целое. М., 1918.



от проблемы удвоения вещей. Мир перестает двоиться. Ни один предмет больше не существует сначала где-то там в пространстве, а затем у тебя в голове, т. е. в сознании. Всякий предмет существует только один раз.

В сознании без знания остается лишь префикс «со». Вернее, в слове «сознание» остается префикс «со». Язык нам тем самым дает понять, что сознания уже нет. Что от него остался жалкий осколок. Но язык лукавит. Он вводит нас в заблуждение. И это понял Деррида, который придумал один из способов борьбы с языком. В сознании вычеркивается знание, но сознание остается как «со». И это будет само сознание, то есть воздействие себя на самого себя в момент встречи с предельной энергией *Мы*. Например, я рад. Вернее, радуюсь. Это факт уже-сознания. В нем нет предметности. Но есть действие себя на самого себя. А вот если я рад, что вижу тебя, — это уже сознание в пространстве встречи одной самости с другой. В этом пространстве оно существует как приветствие другого. Но если я скажу: «я рад, что пришла весна» — это будет уже предметное чувство, которое легко переделать в предметное желание «скорей бы пришла весна». И только устранив чувства и желания, мы получаем предметную мысль: «пришла весна». Эта мысль может быть ложной и истинной.

Итак, сознание может быть знаковым и неозначенным. Знаковое сознание — языковое. Неозначенное — образное. Неозначенное сознание имеет дело с переживаниями. Знаковое — с мыслями. Переживая чувство, мы одновременно его осмысливаем. Например, я рад, что теперь весна. В этом чувстве осмыслен приход весны. Хотя весна могла меня огорчить или оставить равнодушным. Переживать и осмысливать — одно и то же. Расширение смысла в этом тождестве возможно только как расширение позиций аффекта. Смысл и аффект составляют одно целое, называемое «переживанием». Например, при встрече со львом у тебя возникает чувство страха. И это чувство осмысленное. Если б оно не было осмысленным, то оно не послужило бы причиной бегства. В суждении «теперь весна» нет переживания. Это мысль. Причина бегства лежит не в мысли о лье, а в чувстве. Мысль — это чувство, убитое знаком, результат отделения смысла от переживания знаковыми фильтрами. В результате лев становится словом «лев», в котором фиксируется не этот лев, а идеальный лев.

Чувство страха мгновенно и неустойчиво. Мысль о лье неповоротлива, громоздка. Она обременена знаками. Ей нужно время, чтобы сбегать в мир идеального, взять там какие-то сущности, на их основе развернуть аргументацию, отметить идеально значимые обстоятельства и сделать вывод: «надо убежать!». При этом мысль вообще не появится, если не будет наполнен минимальный объем чувственных переживаний. Этот объем у обычного человека заполняется в течение трех секунд. Мысль всегда запаздывает. Чувство всегда на полшага впереди.

Но что делать, если нет времени для развертывания мысли со всей ее семантикой, синтаксисом и прагматикой? В эти минуты работает аффект, то есть аффект работает всегда, но в эти минуты он, по словам Платона, работает как «взволнованное сознание», избавившееся от знаков. Взволнованное сознание — это аффект в роли сознания. Не может быть так, чтобы сознание было, а аффекта не было. Следовательно, мысль — это

5

10

15

20

25

30

35

40

45



затянувшаяся знаковая пауза в работе аффекта. Или, что то же самое, аффект — это интервал знакового сознания.

Осмысливают прошлое. Переживают настоящее. Мысль имеет дело со знаками прошлого. Мысль, обращенная к самой себе, перестает быть мыслью и становится рефлексией прошлого мысли. Нельзя одновременно и мыслить, и рефлексировать. Мысль убивает чувство. Рефлексия убивает мысль. От переживания настоящего в мысль иногда попадает то, что называют интуицией. Интуиция — это не мысль, это чувство мысли.

Нельзя одновременно и чувствовать, и рефлексировать. В равновесных системах доминирует рациональное мышление. В них есть субъект и объект. И субъект причиняет мысль. В условиях онтологического равновесия возможна опора на однообразие всеобщего, на логическую непротиворечивость и обратимость относительно времени. Например, действие равно противодействию. Это физический закон. Он не зависит от того, куда течет время — от прошлого к будущему или от будущего к прошлому. Но мир онтологически неравновесен. В нем детерминизм и обратимость — исключения. А это значит, что осколки стакана, который упал со стола и разбился, не запрыгнут на стол и не станут вновь стаканом. В неравновесных системах доминирует чувство, разнообразие и нестабильность. Архаический мир человека относится к неравновесным системам, в которых случились сознание и язык. Из этого мира пришла неразличенность страха во сне и страха наяву. Ибо во сне общаются без слов, без знаков и наяву переживают без слов и без знаков. Во сне можно осмысленно чувствовать и нельзя мыслить.

Представление о том, что сознание — это знание, которое, как коммунальная кухня, является одним на всех, общим для всех, маскирует независимость сознания от знания и является языковой проделкой. Один на всех — символ. Это он создает общее пространство для всех, в котором установится возможным и знание, но сознание об этом молчит. Оно понимает и немотствует. Язык говорит и недоговаривает, устанавливая подвижную коммуникативную границу между говоримым и умалчиваемым. Язык услужлив. Он соблазняет знаками, которые понятны, доступны и не требуют особого труда при своем использовании. Для сознания недоговоренное — это как гвоздь в ботинке. Ему некомфортно, тяжело, ибо договаривание требует напряжения ума. Язык предлагает сознанию свои услуги. Он может забыть его от напряжения, заменяя ум привычными употреблением слов. И всегда нужно выбирать: или напряжение ума или легкость языка. И выбирают, как правило, язык. Языковые знания подавляют сознание, изгоняют его из языка и запирают в подвале умалчиваемого. Не сознание фильтрует язык, а язык фильтрует сознание, используя мощь общепризнанного, всем известного и само собой понятного. Поэтому знание общее для всех, одно на всех — это не сознание, а репрессия языка по отношению к сознанию. Сознание появляется как отложенное действие не себя или, наоборот, актуализация этого действия.

Итак, сознание — это сознание. Префикс «со» заменим местоимением «мы». Получаем мызнание как наиболее адекватную языковую форму сознания. Или просто *Мы*, полагая в нем вычеркнутым знание. И это будет

сознание *Мы*, то есть сознание, которое делается в символическом пространстве встречи энергии одной Самости с другой.

Мы энергетически не нуждается в *Я*. Напротив, *Я*, для того чтобы быть, нуждается в *Мы*. Редуцируя *Я*, нам приходится удалять и интенции *Я*. *Мы* не интенционально. «*Мы*-сознание» континуально. В нем нельзя выделить значимые единицы. Оно одно, одиноко и едино. Это некое *единичество* символов. Если эмоция является пределом человечески возможно-го, границей между реальным и воображаемым, то появление символов в уже-сознании обозначает трещину в сфере воображаемого, которая будет заполняться знаками. Трением *Мы* и *Они* вырабатывается язык для непонимания, для защиты символов *Мы*. Язык — это кожа, поверхность сознания, то, что делает его непроницаемым для воздействия извне.

Мы не естественно. Оно мистериально, ибо оно всегда «уже-сознание». В мистерии воображаемого факт ощущения превращается в факт сознания. И ничто вне мистериального действия само собой не осознается. Момент, когда человек больше, чем ничто, и меньше, чем бытие, определяется эмоцией. Чувство *Мы* дает человеку сознание. Это чувство не дано вместе со свойствами тела. К нему можно прийти через вовлечение в мистериальные практики общей жизни.

Существовать — значит уклоняться от встречи с абсурдом. С тем, что работает по принципу конъюнктивного заглатывания различных содержаний, по принципу «и — и», совмещающему несовместимое. Путь уклонения от абсурда ведет к дому, к быту, к тихой повседневности знаковых порядков. Поиски сознания всегда мистериальны, ибо они нарушают спокойный ритм повседневности и сложившийся порядок языка.

Префикс «со» в слове «сознание» кодирует энергию, эмоции, чувство неуместного, устремленного к своему месту. Если эмоция — это сознание без знания (*сознание*), а язык — это различия без сознания, без эмоций (*сознание*), то сознание может быть понято как тоннель, переход от эмоции к языку, от воображаемого к реальному через фильтры знаковых порядков. «Сознание без знания», направляемое воображаемым, лежит в основе воли. Язык внушает, чувство волит.

Сознание не реальность, не игра сил реального. Но это и не игра видимостей в знаковом порядке языка. Говорить — это не значит сознавать, а молчать — не означает, что тебе нечего сказать. Сознать — значит воображать. То есть увидеть то, что мнилось, мерещилось и ускользало. Увидеть перед собой. Вообразить — обозначает нечто вселить в видимый образ. Это то же, что и воплотить, дать плоть образу. Зацепить мнимость за случайно подвернувшуюся материю и удержать ее там. Мистериальные практики позволяют зыбь сновидения поселить в вещи и там к ней прикасаться и вполне объективно ее рассматривать.

Такие вещи становятся символами сознания, которое их понимает. Символы — это не знаки, ибо они требуют доопределения со стороны сознания и без этого доопределения ничего не значат. Поэтому в мире воображаемого есть вещи, которые что-то значат, если мы хотим, чтобы они что-то значили. Символ — это предмет и одновременно в этом предмете упакован смысл, то есть это чувственно-сверхчувственный предмет. Сим-





волы-двойники вмещиваются в жизнь людей и с ними нужно считаться, ибо их понимание — это событие бытия, а не ментальный акт языкового сознания.

Бессмысленные движения человека вокруг символов рожают смыслы. Тем самым воображаемое находит применение абсурду, открывая возможность для деабсурдизации мира. Воображаемое лечит травму рождения человека из абсурда благодаря разрыву с реальным. Не все, что есть, что-то значит. И не все, что значит, реально. Значить — значит быть под покровом воображаемого. Под этот покров сверхчувственное привлекает чувственное, заставляя предметы следовать за их смыслами. Между реальным и воображаемым нет логически однородного и непрерывного перехода. Сознание и есть этот переход. Если воображаемое, как сито, отделяет значимое от существующего, то сознание соединяет их. И первое, с чем оно соединяет, это с бытием в качестве *Мы*.

У воображаемого нет истока вне воображения¹³². Оно ничего не запоминает из того, что вне его, из реального. Оно вспоминает, оставаясь у самого себя. Вспомнить — значит вообразить. Воображение — это возможность сознания быть сознанием без мысли о сознании. Сознать — не значит регистрировать, ибо регистры составляют язык. Способом существования воображаемого является дипластия. Воображаемое действует очарованием абсурда. Поэтому говорить — это значит быть в порядке *Другого*, а воображать — значит быть в порядке *Мы*. *Мы* — это иной мир по отношению к сущему.

Воображаемое видит и показывает. Язык называет то, что видит воображаемое. Сознание их соединяет. Воображаемое — это пробуждение от сна реального, которое грозит нам абсурдом: если бы оно нам не грозило, мы бы продолжали спать. Нас бы просто не было. Абсурд разбудил нас, ибо сон — это и есть реальность, доведенная до абсурда, до невозможности жить. Человеческая жизнь является попыткой разрешить проблемы сновидения. Стадии воображаемого проходят все: дети, когда лепечут, взрослые, когда засыпают и просыпаются. Прощание с детством — это прощание с воображаемым, выступление в дискурсе *Другого*. Хотя всегда есть те, кто сохранил связь с «уже-сознанием» воображаемого, а именно: инфантильные, больные, преступники и гении.

«*Мы-сознание*» любого человека навсегда табуировано. Никто не может сказать «мы», показывая на предмет или на животное. Если я говорю, что шли мы, то это никогда не будет означать, что шел я и шел дождь. Или шли я и собака. Такому прочтению речевого смысла будет сопротивляться воображаемое.

40

§ 3. Сознание как проблема

Американец Сёрл открыл сознание как когда-то открыли Америку. Узнав об этом, я решил прочитать его книгу. Читая, я понял, что интеллектуальная традиция американцев мне чужда. В ней много пафоса и

45

¹³² Сафр Ж.-П. Воображение // Логос. 1992. № 3.



мало метафизики. Так я узнал то, что уже знал: что человек — это биологическое животное. Правда, какие еще бывают животные, Сёрл не объяснил. Далее, я узнал, что если психика — это вода, то сознание — это лед. Эмерджентное свойство системы. Поскольку сознание есть биологический процесс, постольку у него есть причины. Причиной сознания, по Сёрлу, является избыточность нейронов. Сознание, как фотосинтез, встроено Сёрлом в биологический порядок для обслуживания взаимоотношений между организмом и средой. Чтение Сёрла навеяло на меня скуку. Тогда я почитал Деннета и узнал, что Деннет с Рорти, как Аксаков с Белинским, порвали отношения. Поссорились. Они разошлись во мнении: стоит или не стоит элиминировать сознание из лексикона философии¹³³. Рорти полагал, что философия — это литература, а Деннет — что это наука. Деннет не читал ни Гегеля, ни Хайдеггера, ни Деррида потому, что они не снизошли думать по-английски. Но оставим Деннета и Рорти и вернемся к сознанию.

Следует обратить внимание вот на какую проблему. Почему когда рядом с тобой один человек — это одна ситуация, одна реальность, а когда появляется другой человек, то это уже другая ситуация, другая реальность. И почему нет знака смены реальности, почему этот другой действует на тебя одним тем, что он просто есть (например, раздражает)? То есть действует не содержанием действия, а самим фактом своего присутствия. Что есть в этом факте такого, чего нет в факте существования другого? И можно ли для этого найти знак?

Далее. Почему невысказанная мысль перестает быть мыслью, а невысказанное чувство продолжает существовать как чувство? Если язык — это всегда план выражения, то что придает двусмысленность этому плану? Почему нам нужны адвокаты-толкователи, если реальность одна на всех? Почему, когда индейца спрашивают о чем-то, он не говорит «я подумаю», а говорит «я увижу об этом во сне».

В сознании, как я уже говорил, важно не знание, а энергия, т. е. приставка «со», ибо в ней мы находим указания на то, что знаем до всякого знания.

Если бы в сознании было важным знание, то тогда его (сознание) нельзя было бы помыслить вне знака. И там, где был бы поставлен знак, там остались бы и следы сознания. Ведь знак что-то значит. А он что-то значит, если на него был брошен понимающий взгляд и если знак попал в пространство этого взгляда.

Проблема состоит в том, что знак может выпасть из пространства понимающего взгляда. И тогда появляются пустые знаки, пустые слова, пустые речи. Вот этот момент разрыва между знаками и пониманием крайне интересен. Во-первых, в нем обесмысливается языковое сознание, язык начинает существовать сам по себе, а сознание само по себе. Во-вторых, нет больше надобности бегать за языком, чтобы поймать сознание. Знаки

¹³³ См.: Вопросы философии. М., 2001. № 8; Сёрл Дж. Открывая сознание заново. М., 2002; Якобсон Р. О. Язык и бессознательное. М., 1996; Деннет Д. Виды психики. На пути к пониманию психики. М., 2004; Райл Г. Понятие сознания. М., 2000; Прист С. Теории сознания. М., 2000.



дискретны. Сознание в смысле архесознания континуально. Поймать знаками архесознание нельзя, ибо оно не означено.

Неозначенное сознание структурируется как безъязыкое настроение, как дознаковая эмоция. Бессознательное имеет структуру языка, т. е. бессознательное — это язык. А это значит, что в твоей речи всегда есть неозначенное сознание и всегда есть бессознательное. А между ними пустое Я и его работа по означиванию.

Всякая речь пульсирует между архесознанием и бессознательным через точку интенсивности в виде пустого Я. Следовательно, нет никакого чистого (трансцендентального) сознания. Мы всегда имеем дело либо с архесознанием, либо с Я-сознанием, либо с сознанием *Другого*, то есть с языком.

Если из своей речи мы устраним *Другого*, то получим архесознание, в неозначенных состояниях которого реализуется континуальная общность *Мы*. Моя речь без речи *Другого* — это речь без языка. А речь без языка — это эмоция. Это чувство, носителем которого являются символы *Мы*.

Невысказанное чувство является чувством, потому что оно дано вместе с языком понимания, а мысль лишена языка. И поэтому она требует плана выражения.

Язык был создан не для того, чтобы в нем были какие-то мысли. Если бы язык был создан как язык мысли, то невысказанные чувства перестали бы существовать. А высказанные чувства стали бы мыслями. Речь, редуцируемая аффектом к пространству одного слова, не сообщает, а повелевает. Редуцируя речь другого, мы получаем сознание, к которому применимы притяжательные местоимения. Это будет неозначенное сознание. В поле немотствования неозначенного сознания говорят чувства и эмоции. В означенной речи сознания соблюдается очередь, последовательность. Кто за кем. В неозначенной речи архесознания нет очереди. Она одномоментна и рассредоточена по всему полю популативной целостности. Одномоментная речь многих — это шум. Одномоментная настроенность многих — это коммуникативное целое, перемигивающееся эмоциями. Мысли лживы. Тела всегда искренни. Поэтому мысль должна быть независимой от аффекта.

Неозначенное сознание образует генеративную машину взвешивания смыслов и возможность быть поверхностью для таких эффектов, как вера, интуиция, чувство и эмоция. Можно попробовать редуцировать свою речь. Но тогда мы получим чистую речь другого, то есть пространство осевших смыслов значений. Эту речь тоже можно назвать сознанием. Только она будет означенным сознанием другого. Находясь в сознании, мы теряем язык и одновременно осознаем безнадежную попытку смыслов своего сознания проникнуть в язык. Находясь в языке, мы теряем сознание и одновременно осознаем безнадежность попытки понять самого себя.

Язык структурирован как бессознательное. Он задает дополнительное измерение сознания. Изначально язык создавался не для того, чтобы в нем мыслили, а для того, чтобы мы могли знать, что мы чувствуем и переживаем. Для того чтобы в языке появилась мысль, в него нужно поселить пустоту и удержать ее грамматическими структурами. Сознание — это языковая пустота, заполняемая метафорами.



Расщепление переживания и языка переживания расширяет пространство речи, выводит ее за пределы аффекта и делает возможным языковое сознание, то есть делает возможным взгляд со стороны. Попадая в пространство этого взгляда, уже никто не может сказать, что если он мыслит, то он и есть мысль.

Во всякой речи столько же сознания, сколько и языка. Архаичное сознание — это речь без языка. В нем нет универсализма выразимости. Внутри него мы не можем узнать, что мы подумали. Внутри него мы просто думаем.

В языковом сознании Я не везде у себя дома. Язык — это содержание сознания. Как содержимое сумки ничего не может сказать о сумке, так и язык ничего не может сказать о сознании. Язык и сознание мыслятся вне связи друг с другом.

Языковое сознание дискретно. Если бы не было дискретности сознания, то не было бы и непонимания и усилия сознания преодолеть это непонимание.

Сознание принципиально двусмысленно. Его можно отнести к полю языка. Но точно так же его можно отнести и к безъязыкому полю немотящего аффекта. Ум вытаскивает эмоцию из скорлупы немотствования на свет сознания, а она сопротивляется. Хватается за что попало. Поэтому некоторые наши переживания соединяются не со словом, а с материей случайного. И в эту материю упаковываются смыслы. Что становится проблемой сознания.

Можно подумать, что сознание — это речь. Но вот вопрос: кто говорит? Чья это речь? Если это речь другого, то она мне что-то сообщает. Если моя речь, то это аутизм. Если это археречь того, что говорится, не будучи сказанным, то это речь без мысли о речи. Иными словами, сознание — это не речь. Оно может быть в речи. А может и не быть. Сознание — это невроз. Разница между больным и здоровым сознанием состоит в тех образах, на которые они реагируют, и в тех сигналах, на которые они не обращают внимания. Если сознание покидает речь, то на месте сознания образуется бред. Сознание — это бестелесный эффект, который не имеет места. Его неуместность накладывает запрет на использование притяжательных местоимений по отношению к сознанию. Глупо спрашивать: чье это сознание? И кто субъект сознания? У сознания нет автора. Изначально сознание бес-субъектно. Если мысль без речи синонимична немой речи образа, то сознание — все то, что слышит эту речь. Сознание — это чувство, сделавшее себя своим предметом, в момент депривации вещей. Оно принадлежит к объективируемой эмоции воображаемого.

«Уже-сознание» носит незнаковый характер. И мысль ведет борьбу с эмоцией за право распоряжаться сознанием. Неозначенное сознание для мысли — это как нефть для энергетики. Синтезом сознания держится воображаемое. Сознание — не зыбкая сфера, не склад неразрешимых проблем и далеко не внутренняя речь, как думал Бахтин. Это переходы в пространстве удвоенной речи. Но удвоение получается не складыванием Я и Ты, не комбинацией анонимных Других, а встречей немой речи образа и речи для Другого.



Антропологические фигуры речи сводятся: 1) к речи *Другого*, 2) к притяжательной речи, 3) к речи без мысли и 4) к мысли без речи, т. е. к немой речи. Сознание, задерживая действие, противостоит нашим внутренним устремлениям, интенциям. Поэтому сознание мыслимо вне связи с Я, но немислимо вне воображаемого. Я — это всего лишь точка пересечения сознания и языка, немой речи образа и речи для другого. В этой точке возникает такая формула речи и одновременно сознания, как «я думаю, что». Но этой формуле всегда предшествует состояние, в котором тебя преследует что-то, что ты не можешь поймать, вспомнить, точно выразить. Это то, что крутится в твоей голове, но в каком-то диффузном, неопределенном, беспредметном виде. Пока, наконец, не наступает момент его узнавания и одновременно предметного оформления.

Предмет, в котором упакована бесконечность, возвращает чувство к самому себе. Этот предмет — образ. То, что требует воображения, а не чувства. То есть образ — это предмет в конечности которого упакована бесконечность. В качестве такой бесконечности может выступить и твой сосед, если он переоденется, изменит внешность. Чтобы узнать в нем знакомого, нужны будут уже не чувства, а воображение.

Сознание — это образ, рождающий эмоции. Речь — это действие. Эмоция приводит речь в действие, запускает ее. Или тормозит. Речь запрещает и внушает, посылая знаки, которые отменяют сигналы внешней среды, адресуемые организму. Речь коренится в образе, в реализованной галлюцинации. Сигналы обращены к инстинкту.

Язык возникает в коммуникации как самозащита непониманием от речевых воздействий другого. Непонимание задает понимание, границей которого оно является. Язык, а значит и знаковое сознание, структурируется на границе межгруппового общения в силу возникающего между ними трения. Вовне группы обращен язык, знаковое сознание. Внутри группы обращено «уже-сознание». Образ.

Знаковое сознание не является линейно нарастающим свойством «уже-сознания». Если бы не было другого, то не было бы нужды в знаковом сознании, не нужен был бы код защиты уже-сознания, на территории которого всякое чудо очевидно и непосредственно доступно. Для существования было бы достаточно воображаемого, а не реального. То есть внутри группы сознание работает как образ и сопряженные с ним эмоции. Как речь для себя. Вне группы сознание работает как машина по производству непонимания, как речь для другого. Знаковое сознание выпадает за пределы воображаемого, объективирует его, открывая речь мысли. И в этом смысле оно безобразно.

Ум всегда полезен другому, который существует за пределами образа, но внутри воображаемого. Пока есть другой, все мы дети, которым он дает ум и слово. Другой является гением человека, лишённого реальности чуда и очевидности. Этот другой вовлекает нас в поле речи, контролирующей предметное действие, в составе которого нет места уже сознанию немой речи. И, следовательно, нет места инстанции, которая говорит «нет» другому.

Смена знаков субъектности, подмена другим образа изначальной целостности происходит обыденно и просто. Вот пример. Мама играет с ре-



бенком в мячик: «возьми мячик», «дай мячик». Эти «возьми — дай» какое-то время распределяются между ребенком и мамой. На «возьми» ребенок отвечает «дай». Мячик переходит из рук в руки. Знаковое сознание существует между «возьми» и «дай», в их тождестве и различии.

В тот момент, когда действие, распределенное между двумя, передается одному, совершается агрессия другого, происходит перемена знаков субъектности. При помощи «возьми — дай» другой переносит реализацию своих целей в план умственных действий своего партнера, который теперь занимается самовнушением, т. е. берет ответственность за суггестию на себя. И, следовательно, не может другому ничего противопоставить. Он думает, что он субъект. Хотя субъектом является другой. Но следы этой субъектности стерты во время интериоризации. Другой культивирует ум для того, чтобы сломить сопротивление уже сознания и заставить его принять на себя субъектность того, субъектом чего является другой. То есть мама ждет, что ребенок поумнеет, станет послушным, самовнушаемым, что он будет делать то, что она хочет. Ведь быть умным — значит быть послушным. Поэтому она культивирует в ребенке ум. На ум, культивируемый другим, отвечают безумием немислимого, находящегося в складках немой речи.

Человеку не надо внушать то, что порождают его собственные ощущения, импульсы и чувства. Внушение идет извне, от другого, из сферы идеального, которое понимается как тождество несовместимого, как абсурд. Бессмыслица не может не внушать священный трепет человеку. В ситуации абсурда умно быть безумным.

В «уже-сознании» человек может понять и совершить только то, что заложено в его языке. Что уже понято и совершено другим. Образ отделяет человека от мира вещей, от бытия как присутствия. В образе глаз смотрит на себя в бесконечном горизонте воображаемого. Язык отделяет человека от образа и возвращает его силам реальности, погружая в языковую пещеру. Язык темен и непрозрачен. И эту темноту пещеры языка еще нужно обжить, обустроить, создавая язык как дом бытия. Образ невыразим в языке. Поэтому граница образа не совпадает с границей языка. Ограниченность языка преодолевается воображаемым. Непонимание превращает звуковую речь в шум, в гул диффузных знаков. Внутри языкового целого непонимание принимает форму эхоталии. Обмен словами без обмена смыслами защищает от суггестии в пределах одной социальности.

В целях коммуникации нормально подчинять свое поведение словам Другого. Ненормально не подчинять. Если ты подчиняешь свое поведение своим словам, а не коммуникации — ты личность. Но если ты подчиняешь себя воображаемому, то ты творческая личность. Любая личность совершается в слове. Творческая личность, равно как и генетически обусловленные психические заболевания, сообщена с немой речью «уже-сознания». Маниакальные и депрессивные психозы, олигофрения, шизофрения безусловно воспроизводят некоторые нервно-психические черты первобытных людей, которые были причастны к воображаемому, но еще не испытывали воздействия языка, другого. В них внутренний мир доминировал над внешним. И поэтому депрессивный психоз — это не какая-нибудь обволо-

5

10

15

20

25

30

35

40

45



шенность, генетически воспроизводящая неандерталоидный признак. Тем более что у женщин она статистически встречается чаще, чем у мужчин. Маниакальные и депрессивные психозы встречаются в равной мере как у женщин, так и у мужчин. Неврозы — это бунт самости против того, чтобы аутизм управлялся социумом, чтобы воображаемое подчинялось знакам.

Творческие люди, так же как и больные маниакально-депрессивным психозом, сохранили способность слушать немую речь «уже-сознания», а не язык для другого. Их приводят к действию силы воображаемого, а не силы реального, не знаковые связи с другим. Это невнушаемые люди, неконтактные. Потому, что они принадлежат образу, а не языку. А принадлежность к образу включает механизм действия «уже-понимания». Поэтому у больных и гениев этот механизм включен, а у нормальных внушаемых людей он отключен. Гении и больные вырываются из сети речевых внушений, защищаясь от *Другого* собственными маниями. Например, двигательной активностью, или дремотой, депрессией. Деструкция языка открывает ход к архаическим способам воспроизведения желанного. Сбежать от *Другого*, то есть от социума, всегда возможно. Для этого существует невроз или сон.

Внушение — это речь, обращенная к тебе со стороны *Другого*. Этой речи ты можешь противопоставить контрречь, а также речь, обращенную к самому себе как к другому. Внушению противостоит самовнушение. Отвечая словом на слово, вступают в мир болтовни. Бесконечный обмен словами прерывается усилием воли, направляемой воображением. Слово нельзя противопоставить замыслом немой речи уже-сознания. Замыслам противостоят замыслы в горизонте единого воображаемого. Если бы не было немой речи образа, то была бы возможна чистая внушаемость, которая наблюдается только в патологии или в условиях гипнотического сна. Внушаемость предполагает доверие к источнику слова. Доверие и суггестия — синонимы. От первобытного доверия человек движется к современной подозрительности. К контрсуггестии. Немая речь образа в человеке замещается словами и контрсловами символического порядка.

Человек может быть волевым и безволевым. Доверчивый человек безволен. Он покоряется слову *Другого*. Подозрительные люди обладают силой воли. Безволие доверчивых выворачивается культурой наизнанку. Воля появляется у человека, способом существования которого является сомнение и критика. Этот человек выбирает, выгадывает, задерживая свои действия, отсрочивая слово. Задержанное действие, отсроченное слово создают ситуацию неопределенности. В ней работают на понимание. Вот это отсроченное действие и есть не что иное, как сознание, в состав которого включено и то, что разумеется само собой.

Если ты на слово отвечаешь словом, и это твое слово является твоей автоинструкцией, то у тебя есть воля. И тебя трудно будет переубедить. Слово внушает тебе определенное действие. Ты его либо принимаешь, либо отвергаешь, заменяя самовнушением, контрсуггестией.

Если эгоисту говорят какие-то слова, то он их не пропускает внутрь себя. Он их блокирует контрречью или отказывается принимать их смысл.

Непонимание естественно для современного человека. Доверие естественно для первобытного. Контрсуггестия и недоверие связаны между собой.

В девять лет дети наиболее внушаемы. Затем они созревают, то есть перестают доверять. Внушаемы также дебилы и первобытные люди. Архаический человек пребывал как бы в гипнотическом сне. То есть человек — это затянувшийся сон палеантропа, а его бессознательное — это сознание неандертальца.

§ 4. Антропология гениальности

1

В России было два известных социобиолога: Астауров и Эфроимсон. Астауров занимался генетической модернизацией лисиц, Эфроимсон — тузовыми шелкопрядами. А помимо этого их интересовал еще и человек. Предметом внимания Астаурова были обычные люди. Предметом внимания Эфроимсона — гениальные.

2

В «Генетике гениальности»¹³⁴ Эфроимсон пришел к выводу, что гений — это чудовищная работоспособность. Направленность к цели. Что получают гении не так, как думал Ломброзо. Вне связи с объемом черепа¹³⁵.

Вообще-то гении воспроизводятся двойким образом. В одном случае нужно, чтобы встретились девяностолетний старец и двадцатилетняя девушка. Встретились и родили ребенка. И он будет гением, как Н. Марр. В другом случае нужно, чтобы ребенка родили девяностолетняя старушка и молодой человек. И этот ребенок будет мудр, как Лао-Цзы.

3

Слово «гений» не применимо к животному. Не может быть гениальной скаковой лошади. Тип жизни лошади предопределен. Это слово применимо к людям. У каждого человека свой гений. Своя душа. И одно, общее на всех сознание. Сознание означено. Душа неозначена. У обычных людей душа окружена знаками. Она в них как в котле. У обычных людей неозначенное не может пробить кору означенного. Гении — это знаковая дыра, в которую устремляется неозначенное души. Поэтому все гении вне контроля со стороны «я». Они всегда по ту сторону своей самости. Самость и гений несовместимы.

4

В эпоху Возрождения гениями стали называть людей, которые делают то, что кроме них никто сделать не может. Гении создают. Производят.

¹³⁴ Эфроимсон В.П. Генетика гениальности. М., 1997.

¹³⁵ Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. М., 1995.





Означивают неозначенное. Все остальные потребляют. Среди потребителей могут быть люди со вкусом, а могут быть и без вкуса. Без вкуса — обыватели. Со вкусом — эстеты. Гении по одну сторону. Эстеты — по другую. Гении делают. Эстеты оценивают.

5

5

Тезис Эфроимсона таков: гениями рождаются, а обывателями становятся. Чтобы появился один гений, нужно 10 миллионов человек принести в жертву социальному знаку. То есть нужно сделать их обывателями.

У Марка Твена есть рассказ о человеке, который попал в загробный мир. И все ему здесь было интересно. Ведь только здесь он мог увидеть и Сократа, и Конфуция. Но этому человеку хотелось посмотреть не на философа, а на самого великого полководца. Ведь неясно, кто гениальнее — Александр Македонский, Тамерлан, Суворов или Наполеон. И вот ангелы ему показали самого гениального полководца. А он смотрел и не верил, ибо ему показали недавно умершего сапожника с соседней улицы. Оказывается, этот сапожник и был самым гениальным полководцем. Правда, он сам об этом не знал. Об этом знали боги.

Эфроимсону нравился этот рассказ писателя, ибо он передавал суть его концепции. А именно: гениев нам поставляет природа, а социум, раздавая социальные роли, превращает их в обывателей. Вполне возможно, что все люди гении. Но пробить слой социальности могут единицы. За всю историю человечества около 500 человек. Социум не любит гениев, природное, т. е. неозначенное. Он их истребляет. Чем больше в человеке означенного, тем он бездарнее. Состоявшийся гений — это ошибка социума. Но это ошибка плодотворная. Ее нельзя превратить в социальный механизм производства гениев. Означенное не может детерминировать появление неозначенного.

Социум создает личности. Все личности одинаковы. Природа создает гениев. Все гении различны. Эти процессы не связаны друг с другом. В одном случае важна рекомбинация генов при образовании гамет, наделяющая оплодотворенное яйцо благоприятной комбинацией наследственных задатков. В другом случае — человек делает себя из пустоты. Из ничего. Получается личность, которой ничто содержательное не предшествует. Социум воздействует на человека, на его душу разными способами. В том числе через импрессионг.

6

40

Что такое «импрессионг», объясняет В. Маяковский. Гений. Ошибка русского социума. Однажды священник-экзаменатор спросил его, что такое «око». Маяковский жил в Грузии, а по-грузински «око» — это три фунта. Маяковский, не раздумывая, ответил: три фунта. Священник ему доходчиво объяснил, что «око» — это глаз по-древнему, церковнославянскому. Маяковский был посрамлен. Он едва не завалил экзамен. После экзамена Маяковский возненавидел все древнее, все славянское, все цер-

45

ковное. Отсюда пошел его футуризм, атеизм и космополитизм, т. е. интернационализм. Экзамен был для Маяковского импрессионизмом, воздействием социума на человека, на его восприятие мира. Но знаки русского социума не поймали неозначенного поэта. Из этого неозначенного родилась советская поэзия.

5

7

Особенно восприимчивы дети. Их легче всего связать цепями означенного, сломать. Другой русский гений А. Толстой говорил, что все, что в нем есть, было в нем уже к пяти годам. Пятилетнего ребенка отделяет от взрослого всего один шаг, а вот между новорожденным и ребенком пяти лет — бесконечность. Ибо родившийся — это еще природа. А человек пяти лет — это уже душа, на которую покушается социум.

10

15

8

Для того чтобы быть гением, нужно быть либо подагриком, либо обладать гипоманиакальным депрессивным психозом, либо синдромами Марфана и Морриса. Желательно, конечно, еще и страдать от мочекаменной болезни, а также быть высоколобым.

20

25

Конечно, не всякий подагрик — гений и не всякий высоколобый — талант. Но здоровых гениев Эфроимсон не обнаружил. У здоровых нет дополнительной стимуляции работы мозга. У подагриков умственная деятельность стимулируется повышенным содержанием мочевой кислоты в крови. Отложение кристаллов этой кислоты в виде соли вызывает подагрические боли, а также мочекаменную болезнь.

Подагрики — Кант и Шопенгауэр. Среди русских философов нет ни одного подагрика. Видимо, поэтому у нас нет и гениев. А вот среди литераторов у нас много, как оказалось, не шизофреников и шизоидов, а гипоманиакальных депрессантов, циклоидов. Главное для писателя — успеть проскочить манию, суметь не застрять на уровне суетливых движений и бессмысленных скачков мысли. Главное — совершить трансгрессию мании и стать гением.

30

Гипоманиакальная депрессия была характерна для Гоголя. Циклоид-Гоголь мог неделями оставаться в своей комнате в неподвижном состоянии. Ему плохо помогали даже воды Карлсбада. Совершив трансгрессию мании, Гоголь убегал от социума и попадал в пространство абсолютно уникального творчества. Он мог, например, менее чем за два месяца написать «Ревизора». Но трансгрессия совершается вне связи с «я». Не по модели рефлексивного сознания, и в момент, когда ты начинаешь писать «Ревизора». Ты это делаешь точно так же, как птичка вьет свое гнездо. Дай этой птичке означенное сознание и все закончится. Она потребует пособие по безработице. Или эмигрирует.

35

40

Но за все нужно платить. И за то, что ты был в фазе метамании. Вот Гоголь и заплатил. Вернувшись в мир социума и его ограниченных смыслов, Гоголь затосковал. Чувство тоски усугубляет смерть жены А. Хомякова.

45





Социум душил Гоголя депрессией, сознанием того, что, неприглядно изображая Россию, ты вызываешь дух революции. А революция — уж точно то, что уничтожит Россию. Религию. Семью. И он, Гоголь, будет причиной этой катастрофы. Гоголь не мог допустить гибели России. Поэтому он сначала сжигает свои рукописи. Потом перестает писать. И все время молится о спасении Святой Руси. Так он и умер за образами. Означенное сознание раздавило неозначенное его души.

9

У Пушкина гипоманиакальная депрессия усиливалась подагрой, повышенным содержанием мочевой кислоты в крови, раздражавшей мозг. Высвобождаемая этим усилением энергия реализовывалась в любви, на дуэлях и, конечно, в творчестве. Шестнадцатилетний Пушкин подружился с 22-летним Чаадаевым. У Чаадаева не было подагры, у него были геморроидальные колики, депрессия и отягощенное наследство. Дед Чаадаева сошел с ума. Умирая, он называл себя персидским шахом. Его отец застрелился в 37 лет, постоянно пребывая в депрессии, т. е. в зависимости от своего пребывания в социуме.

Только в письмах к Вере Пановой он просветлел, убежал от себя и стал гением. Хотя затем двадцать лет был простым обывателем. И вот тому пример. Герцен пишет какое-то сочинение, в котором он называет Чаадаева видным революционным мыслителем. Чаадаев не революционер. Но не в этом дело. Он доволен, что его назвали мыслителем. Дело не в том, кто ты есть. Главное, знак подать. Чаадаев направляет письмо Герцену: мол, спасибо тебе за добрые слова. Я действительно мыслитель. И еще живой. А тут граф Орлов слух распространяет: смотрите, Чаадаев с Герценом якшается. Видимо, что-то задумали против царя. Чаадаев немедленно пишет письмо Орлову, где возмущается Герценом, отказывается от революционности и уверяет в верности императору. Вот это двоедушие и указывает на доминирование социальных знаков в жизни Чаадаева. Конечно, все мы в знаках. Но гении иногда их сбрасывают в гипоманиакальной фазе.

Глава VIII

Эмоции

Краткое содержание главы

Само по себе время ничего не синтезирует. Не собирает. Из того факта, что нечто есть в один момент времени, совсем не следует, что это нечто будет и в другой момент времени. Устойчивость предмета во времени — проблема физиков, а вот устойчивость образа во времени — это уже проблема философии. Конечно от этой проблемы можно отделаться убеждением, что в каждый момент времени вещи, как и образы, творятся заново богом. Но тогда непонятно, зачем нам память и почему мы что-то забываем, а что-то помним.

Проблему образа можно решить иначе, связав эмоцию и образ. Не будет эмоций — не будет ни визуального образа, ни слухового, ни тактильного, ни обонятельного. Не будет образа вообще, то есть мера существования образа — в эмоции. Время разлагает, эмоция склеивает. Время приносит число 7 и уносит это число, заменяя его на 5. А это число меняется другим, но время не складывает числа. Оно не занимается исчислением. И 12 не следует из того, что есть числа 7 и 5. То, что складывает эти числа, делает это вне времени. Вопреки времени. Сама процедура сложения, как и любое восприятие, эмоциональна. Поэтому проблема синтетического априори — это проблема образа, синтезирующего способности эмоции, которая роет тоннель между одним моментом времени и другим. Всеобщность выражения $7+5 = 12$ — от логики, а синтез — от эмоции. От того, что их удалось удержать в потоке времени. То есть создать образ из мозаики единичных раздражений.

Эмоция, как сон, хватает первые попавшиеся ей предметы и сдвигает их. И тем самым на свет божий появляется дипластия. Чем сильнее эмоциональное потрясение, тем прочнее образы. Тем долговечнее их жизнь. Такие образы Юнг называл архетипами. В мире нет кентавров, но их создает синтезирующая способность эмоции. Кентавр — это эмоция первобытного человека, воплотившаяся в образ. Встреча с этим образом вызывает эмоциональное напряжение. Химеры и кентавры не существуют, а то, что не существует, выразить в словах гораздо сложнее, чем то, что существует. Кентавроподобные образы связаны не с миром, а с испытанием мира человеком. Отношение к тому, чего нет, как к тому, что действительно существует, вплеталось в ткань жизни человека. Этим отношением создавалось сознание, в терминах которого эволюционировала жизнь человека. И вне этих терминов она не существует.



У животных нет эмоций. Если бы у них были эмоции, то у них были бы и образы. Нечто чувственно-сверхчувственное. Эмоции не связаны с предметным познанием. Чувства — ни первичная ступень познания, ни этап развития логического. Напротив, любой познавательный акт сопряжен с эмоциональным переживанием. Эмоции — носитель гештальтов, целого. Без эмоций мир дробится, становится синергетическим. То есть существование синергетики говорит о том, что мы не мир познали глубже, а культура, в которой мы живем, стала безэмоциональной. Культура перестала быть хранителем гештальтов. Теперь она хранит руины образов. Хаос, из которого может быть возникнет порядок. А может и не возникнет.

Эмоция — мыслимая граница человека. В эмоции целое встречается с частью, чувственное со сверхчувственным. Благодаря эмоции человек становится экстатическим существом. То есть существом, которое научилось выходить за свои пределы. Ничто не может выйти за свои пределы. Первое существо, совершившее благодаря эмоции трансгрессию, стало именовать себя человеком, которому, чтобы увидеть целое, нужно совершить ритуал, вступить в мистериальный порядок бытия. Благодаря эмоции человек переживает. То есть относится к отношению. Например, можно съесть яблоко. А можно отнестись к этому своему действию, пережить его. Вполне возможно, что ты съел чужое яблоко и тебе стыдно. Но отношение к действию возникает не из действия, а из беспредметного образа действия. Стратегия этого действия, равно как и стратегия беспредметной музыки, беспредметной живописи, бессюжетной литературы и беспредметного сознания состоит в том, чтобы за руинами образов культуры обнаружить в себе архаические формы сознания и чувств. Освободить в себе первобытную энергию новых диких.

Эмоции славны тем, что заставляют человека реализовывать свои желания через матрицу воображаемого. Аффективное поведение человека возникает в ситуации, когда его тело отключено от реального, а сознание — от языка. Крик — адекватная форма существования аффекта, порождаемого трением реального и воображаемого. Эмоции всегда ситуативны. Опосредование воображаемого символическим порядком культивирует чувство, независимое от ситуации. Разрыв между воображаемым и символическим ведет к угасанию эмоций и, следовательно, к смерти человека, который теперь пытается реализовать свои желания через игру видимостей символического порядка.

1

Эмоции нужно не определять, не классифицировать. За ними нужно подсматривать. Их нужно изучать. И они сами о себе все скажут¹³⁶. Эмоция — это способ, которым самость действует на себя.

Все знают, что радость — это эмоция. И печаль — это эмоция. А вот когда тебе душно, или когда ты испытываешь голод — это не эмоция. Это физиология. Никто не может ошибаться в своем чувстве, т. е. никто не может перепутать любовь с ненавистью, а радость с горем. Эмоция дана нам

¹³⁶ *Выготский А.С. Учение об эмоциях // Собр. соч. М., 1984. Т. 6; Сафр Ж.-П. Очерки теории эмоций. М., 1984.*

непосредственно. Между нами и эмоцией нет никакой дистанции. Я — это моя эмоция. Нет эмоции — нет и меня. Эмоция — это переживание, данное вместе с языком понимания переживания.

2

Эмоции приходят и уходят. Когда они уходят, я превращаюсь в разумную субстанцию, которая только мыслит. Эмоции уходят, но не исчезают. У них иная размерность, нежели у человека. В них упакована жизнь целого, воля коллектива. Если бы не было эмоций, индивид не подчинился бы ритму целого, не смог бы жить вместе с такими же аутистами, как он. Например, стыд — это страх быть подвергнутым изгнанию из *Мы*. А взор со стороны таких как я — это позор. Эмоция — это клей галлюцинаторного сознания, которым он склеивает нас в одно целое.

3

Эмоции вовлекают нас, мешают нам быть бесстрастными, отстраненными. Они показывают, что мир — это не сцена, а мы — не зрители. В эмоциях мир воображаемого касается нас. Затрагивает наше существо. И поэтому нам нужно сохранить свое лицо. Быть в порядке перед самим собой. Без эмоций никто не будет стараться выглядеть перед *Другим* хорошо. Без эмоций мир будет пустым, необжитым. Благодаря эмоциям мы можем переходить из одного состояния в другое, то есть можем путешествовать по лабиринтам своей души.

4

Эмоции нам даны в самонаблюдении. Их хорошо видно изнутри. Но можно ли то, что видно изнутри, увидеть извне? Можно ли эмоции задать в терминах внешнего наблюдения, объективно? То есть можно ли эмоции выражать, не переживая? Спартанец, испытывая боль, умел казаться невозмутимым. Актер, не испытывая страданий, может изобразить муки страдания. Между спартанцем и актером есть принципиальное различие. Один играет. Другой живет.

5

Извне видны не эмоции, а их телесное выражение, физическое проявление. Например, я в «Узком», мне страшно. Я боюсь. А в поле внешнего наблюдения видно, что я бледен, что я дрожу. Страх относится к психологии. Бледность и дрожь — к физиологии. Но не очень ясно, где искать причину. Дрожу ли я потому, что мне страшно, или мне страшно, потому что я дрожу?

6

Вот ответ Г.К. Ланге: «Уничтожьте у испуганного человека все физические симптомы страха, заставьте его пульс спокойно биться, верните ему твер-

5

10

15

20

25

30

35

40

45



дый взгляд, здоровый цвет лица, сделайте его движения быстрыми и уверенными, его речь сильной, а мысли ясными — что тогда останется от его страха? Ничего»¹³⁷.

А вот ответ Джемса: «В остатке получится холодное, безразличное состояние чисто интеллектуального восприятия». И далее: «Я совершенно не могу представить себе, что за эмоция страха останется в нашем сознании, если устранить из него чувства, связанные с усиленным сердцебиением, с коротким дыханием, дрожанием губ, с расслаблением членов, с «гусиной кожей» и с возбуждениями во внутренностях. Может ли кто-нибудь представить себе состояние гнева и вообразить при этом тотчас же не волнение в груди, прилив крови к лицу, расширение ноздрей, стискивание зубов... а наоборот, мышцы в ненапряженном состоянии, ровное дыхание и спокойное лицо? То же рассуждение применимо и к эмоции печали: что такое была бы печаль без слез, рыданий, задержки сердцебиения, тоски под ложечкой?»¹³⁸

7

В органической теории эмоций Ланге и Джемса эмоция — это эпифеномен. Свисток паровоза. В рамках этой теории я не могу сказать: я плачу, потому что мне грустно. Наоборот, мне грустно потому, что я плачу. Я боюсь потому, что я дрожу¹³⁹.

Критика органической теории базируется на простых вещах. Вот тебя пощекотали и тебе смешно. Но этот смех — не эмоция, а локальное телесное восприятие. Или вот ты дрожишь от холода. Ты дрожишь, а эмоции страха нет. Значит, связи между эмоцией и ее телесным выражением более сложные.

Но если эмоция — это эпифеномен, то я не могу сказать: что я плачу потому, что я в печали или в радости.

Например, существует зависимость между эмоцией радости и работой твоего желудка. Ты весел — и у тебя хороший аппетит. У тебя возбудилась к кому-то ненависть — и у тебя обнаружилось чувство голода. Но когда ты в печали — тебе не хочется есть. Стало быть, глупо думать, что эмоции выделяются желудком.

8

Вот инстинкт бегства. Его сопровождает эмоция страха. У каждого человека в нужный момент «срабатывают» ноги. Но что делать, если нужно бежать, а сил нет? Тогда на помощь приходит эмоция. Она дает тебе силы. И ты убегаешь.

Значит, что такое эмоция? Это все то, что дает тебе силы в нужный момент.

¹³⁷ Ланге Г.К. Душевные движения. М., 1896. С. 57.

¹³⁸ Джемс У. Основы психологии. М., 1902. С. 311–312.

¹³⁹ Уотсон Д. Психология как наука о поведении. М., 1926.



9

Но зачем же мне нужна эмоция, если у меня есть рассудок, который все посчитает и скажет: «Убегай». И я побегу на достаточных для того основаниях. Если есть рассудок — эмоция не нужна. И это верно. Но у рассудка есть недостатки. Во-первых, он долго считает. Ему нужно много времени. А эмоция легка на подъем. Она мгновенна.

Во-вторых, рассудок надоедлив. Ты хочешь забыть что-то, а он тебе все время напоминает. И тем самым мешает жить. Становится опасным. Сознание создает свои фобии. И вот наступает момент, когда тебе надо спастись от рассудка, от сознания, от себя. И помогает тебе эмоция. Она лишает тебя сознания. И ты вместо того, чтобы убегать, теряешь сознание или устраиваешь истерику, тем самым спасаясь, т. е. достигая своей цели.

Значит, эмоция — это то, что может лишить тебя сознания. Что может запретить сознанию вмешиваться в дела твоего тела. Или наоборот, запретить телу вмешиваться в дела твоей души. Эмоция разрывает связь между воображаемым и языком, показывает себя как «уже-сознание».

10

Очевидно, что рассудок хорош в разумном мире. Но иногда умно отказаться от рассудка и сделать что-либо вопреки разуму. Эмоции как раз и нужны в мире, который нуждается в действиях вопреки разуму. Благодаря эмоциям люди совершают поступки, которые они и не думали совершать.

В строгом смысле слова, все действия людей неразумны. Ведь для того чтобы быть разумными, нужно рассматривать всю совокупность обстоятельств, относящихся к тому или иному делу. Она же бесконечна. А жизнь конечна. И тебе нужно прервать усмотрения ума и совершить поступок еще до того, как выяснится суть дела. И происходит это благодаря эмоции. Поэтому любое действие эмоционально. Эмоция — это воздействие себя на самого себя по своему произволу.

11

Эмоции нужны в мире, который обновляет среду твоей жизни. И ты не знаешь, что делать. Когда ум растерян, инстинкты не работают, на помощь приходят эмоции. Эмоции не нужны, если жизнь замирает, выжидая подходящий для нее момент. В этот момент нужно заснуть или стать рассеянным.

П. Симонов даже изобрел формулу эмоции: $\mathcal{E} = \Pi (H - C)$, где \mathcal{E} — эмоция, Π — потребность, H — знание, необходимое для удовлетворения потребностей, C — имеющееся знание. Согласно этой формуле, эмоции нет в двух случаях: либо если нет потребности, либо в случае равенства потребного знания и фактического. Эмоциональный максимум возможен при нулевом знании и огромных потребностях.

На мой взгляд, формула Симонова исходит из двух неприемлемых посылок. Она связывает эмоцию со знанием. Но знание вторично, а эмоция первична в жизни человека. Далее. В этой формуле эмоция полагается за-





висимой от потребности. Но для потребностей нужны не эмоции, а природный ум, т. е. инстинкт. В теории Симонова нет места самости человека. Поэтому она неадекватно представляет эмоцию.

5

12

В терминах внешнего наблюдения видна зависимость между эмоциями и адреналином. Физиолог знает, что по команде рефлекса начинают работать надпочечные железы. Они вырабатывают адреналин. Адреналин увеличивает количество сахара в крови. Кровь быстро обогащается. Адреналин снимает мышечную усталость и способствует повышенной свертываемости крови. Биологический смысл эмоции понятен. Как понятно и то, что человек переживает страх, а не количество сахара в крови, не дрожание губ. Инъекция адреналина не вызывает у человека эмоционального переживания.

10

15

С точки зрения органической, все эмоции одинаковы. Если я плачу, то действует адреналин. Если радуюсь, то тоже действует адреналин. Физиологически эмоции неразличимы. Но экзистенциально различимы счастье и горе. И каждый знает, когда он плачет от счастья, а когда от горя. Нет никакой типологии эмоций. Сколько людей, столько и эмоций. Хотя у всех эмоций может быть и одна органика.

20

13

Внешний наблюдатель не сможет отличить эмоцию от неэмоции, укол булавкой — от неожиданной радости, переохлаждение — от страха, перегрев — от ненависти. Ибо изменения тела будут во всех этих случаях одними и теми же. Точно так же, как на языке термодинамики, нельзя отличить лягушку от камня, на котором она сидит.

25

30

14

Поскольку телесные проявления эмоций близки к вегетативным устройствам, таким как голод, асфикция, постольку физиологи связывают эмоцию с работой сердца, желудка, легких. То есть за работу сознания отвечает мозг, а за эмоции — желудок. Сознание — это что-то высокое. Эмоции — это что-то низкое. Чтобы унять эмоции, нужно включить работу интеллекта. Например, нужно посчитать до десяти. Этот счет усилит приток крови к мозгу, отнимая ее у эмоции и передавая уму. Эмоция слабеет и угасает.

35

40

В горизонте внешнего наблюдения судьба эмоций напоминает судьбу рефлексов мочевого пузыря. Непристойными рефлексам нужно управлять. Неприлично бурно проявлять эмоции. Например, розги отучают детей как мочиться в постель, так и кричать от досады. При помощи боли лечат сумасшедших.

45

15

Шеррингтон захотел узнать, возможны ли эмоции без органических проявлений тела. Он перерезал блуждающий нерв и отделил от тела спин-

ной мозг собаки. А у нее все равно были эмоциональные реакции. Тогда он разобщил головной мозг со всем остальным телом, а собака по-прежнему пугалась угроз старой макаки: она растопыривала уши, опускала голову, т. е. выражала испуг.

В опытах Шеррингтона возникала новая проблема: а почему это мы мимические реакции называем эмоциями? Может быть, у собаки эти реакции неэмоциональной природы? Ведь собака же нам не скажет, что она пережила эмоцию страха. У нее нет языка.

16

После эпидемии «испанского гриппа» в 20-х годах прошлого века эмоции стали связывать с работой подкорковых узлов. Эмоция стала пониматься физиологически возвышенной. Оказалось, что при поражении мозга у больного возникал эффект эмоционального паралича лица. Лицо больного становилось неподвижным, как маска. А за маской шла игра нормальных человеческих чувств. Иногда проявление эмоций было одним, а внутреннее эмоциональное состояние другим. Например, люди смеялись, хотя никакой радости не испытывали.

Позднее были изобретены нейропептиды, которые подавляли одни эмоции и поддерживали устойчивое состояние других. Например, ты потерял кошелек с деньгами и расстроился. А затем принял таблетку с нейропептидом радости и обрадовался. Если бы мозг не управлял эмоциями, то мы могли бы смеяться только спонтанно. А так стал возможен произвольный смех, деланная радость и деланная печаль. Усилием воли нельзя вызвать увеличение сахара в крови или расширить зрачок. Для того чтобы его расширить, нужно посмотреть на удаленный предмет. А вот вызвать проявление эмоции можно.

17

При анализе эмоций нужно начинать не с предмета, не с тела, не с того, как оно действует, а с когитации, с мысли о страсти. Или, как говорит Декарт, понимать ее без указания на ближайшую причину. Например, радость. Есть ли причина для нее? Нет. Конечно, есть предметы радости, но нет в них причины. Мы не можем причинность приписать свойствам объекта, который мы любим, которому радуемся. Ведь один его любит, а другой не любит. Один радуется, а другой равнодушен.

Поскольку для страсти нет причины, постольку нельзя ее проверять на предмет соответствия истине. Не бывает ложных эмоций. Если эмоция есть, то она всегда истинная. Было бы глупо сопоставлять печаль и предмет печали, мысль и предмет мысли. Возникает вопрос, не одна ли и та же причина порождает и мысль, и страсть?

18

В мысли важна интенция, смысловая связь с объектом. Например, можно мыслить о чем-то, мечтать. Сознание — это всегда «о», эмоция уст-





раняет это «о». Нельзя любить «о чем-либо». Любят или ненавидят всегда «что-либо». Представление об интенциональности языкового сознания ведет к эмоции, указывает на нее как на свою первосущность. Эмоция вне интенции. Она беспредметна.

5 Эмоция нам всегда понятна, а вот, например, почему сладкое вызывает удовольствие, а горькое — неудовольствие, это нам неясно. Это ощущение, которое мы принимаем как факт. То есть эмоции нам понятны, ибо они даны с языком их понимания. А ощущения непонятны. Эмоции не сводятся к ощущениям¹⁴⁰.

10

19

Эмоция сама по себе — это душевное волнение. Волнение души беспредметно. Об этом я узнал у Декарта¹⁴¹. Нет волнения души, нет и раздражения тела, нервов и мозга, поскольку никакого раздражающего предмета нет. А есть воображение. И это воображение показывает нам то, чего нет. Показывает тени вещей, то, что не может быть биологически целесообразным. Волнение коренится в самопроизвольном движении души. Например, говорит Декарт, супруг хоронит свою жену. Его сердце сжимается от печали, вызванной отсутствием близкого человека. Проблески бывшей любви вызывают у него искренние слезы. Но все-таки в глубине своей души он чувствует тайную радость. И эта радость самопроизвольна. Он рад своей искренности, своей скорби, что он в порядке, что он человек. Но если бы его жену попытался кто-то воскресить, это вызвало бы у него досаду. Ибо воскресение сделало бы нелепым его искренность. Испытывать удовольствие от возбужденного в нас чувства — есть интеллектуальная радость, или вынужденное волнение души, что то же самое.

20

20

Эмоции нельзя вызвать усилием воли. Нельзя захотеть обрадоваться и получить эмоцию радости. Потому, что у воли вообще нет никакой силы. Сила есть в эмоции, в страсти. И поэтому сила воли — это переодетая страсть, которую все узнают как желание. Страсти противостоит не воля, а другая страсть. Нельзя силой воли пытаться разрушить предмет страсти. Нужно попытаться один предмет подменить другим, переключить поток эмоциональной энергии, зацепить его за что-то другое. Чтобы выскочить из поля притяжения одной страсти, нужно попасть в поле притяжения другой. Например, мы печальны. А печаль, как расширение зрачка, не подчиняется нашему желанию. Нужно найти другой предмет, обратить на него внимание и зрачок расширится, а печаль рассеется.

30

¹⁴⁰ Лурия Р., Леонтьев А.Н. Исследование объективных симптомов аффективных реакций // Проблемы современной психологии. М., 1926.

¹⁴¹ Декарт Р. Сочинения. М., 1989. Т. I. С. 545.

21

Судьба эмоций — это судьба человека. Когда я говорю, что человек умер, это значит, что умирают эмоции. Ум и тело продолжают жить, но в них уже нет ничего человеческого. Цивилизация становится все более эмоционально корректной. Увядание страстей закодировано как в теории воли Декарта, так и в теории свободной необходимости Спинозы.

Эмоция склеивает галлюцинации. Она, как художник, создает образы. И эти образы вновь вызывают у нас эмоции.

22

Наивно было бы думать, что эмоции достаются человеку по наследству, от животного. Что это рудимент дочеловеческой психики, который постепенно угасает под давлением культуры. Если принять эту идею, то окажется, что наиболее эмоциональны животные, затем дикари, потом всякие отсталые люди и, наконец, минимум эмоций мы найдем у самых цивилизованных людей. В основе этой концепции лежит представление о том, что вначале эмоция была связана с телом и вписывалась в инстинктивный тип жизни. Затем она стала задаваться взаимодействием души и тела и начала управляться разумом человека. В настоящее время эмоция сумела отделиться от тела и прикрепиться к уму, становясь интеллектуальной эмоцией, радостью бесконечного познания. Этот последний этап нужно, видимо, понимать как время постчеловека, или сверхчеловека. Для того чтобы была эмоция, нужна самость, а не я.

23

То, что эмоция регрессирует, очевидно. Но причины регресса не в животном ее происхождении. Эмоция отделяет человека от животного, а не связывает их. Одно дело — ярость животного. Другое — справедливое негодование человека. Можно ли думать, что эмоция животного малопомалу совершенствуется и с течением времени становится человеческой эмоцией? Эмоция это не арбуз, который сорвали незрелым, а он полежал и дозрел. Говорить, что животное может любить, это то же самое, что быть слепым и при помощи палки рассматривать цветок.

Между человеком и животным лежит знак, слово, которое делает невозможным эволюционный переход от одного к другому. Идея эволюции устраняет знаковый барьер, полагая, что между спинным мозгом, отвечающим за автоматические реакции, и головным мозгом, отвечающим за сознание, небольшая разница. Так, к сожалению, думал Бергсон, сочиняя «Творческую эволюцию».

Эмоция производна не от тела, не от мозга, а от столкновения воображаемого и речи.

24

Аффект — это чувство абсурда, возвращающее нас к истоку, к началу. Но этот возврат идет не по прямой, а по логике превращенных форм, т. е.





выворачивания наизнанку. Эмоция — это наше архаическое сознание. Сознание без мысли о сознании.

Аффект нельзя задать феноменологически, в терминах интенционального сознания. В нем использован телесный аргумент. То есть эмоция приводит сознание к тому моменту, когда оно становится криком, плачем, рыданием, истерикой. В этот момент тело отключено от инстинкта, от первичной сигнальной системы, а сознание — от языка. Абсурд — это два взаимоисключающих раздражителя, которые действуют в один и тот же момент на одно и то же существо. И это действие разрешается в горизонте воображаемого. Либо не разрешается. И тогда это действие поглощает реальное.

Эмоции абсурда порождены трением реального и воображаемого. Они сопровождаются выразительными движениями, которые сами по себе понятны. Аффект краток, силен. Аффект способен затормозить любой психический процесс. Он может менять знаки полезности, навязать аварийный способ поведения. Эмоция, отфильтрованная воображением, становится страстью.

Чем дальше от абсурда, чем больше опосредований воображаемого символическим, тем слабее аффект. Тем реже встречаются страсти и тем больше культуры, выстраивающейся в горизонте первоаффекта. Эмоция — это ослабевший аффект абсурда, случайный элемент символического порядка культуры.

Избыточность абсурда по отношению к культуре кристаллизуется в чувствах. Чувства человека антикультурны, ибо в них присутствует маленький хаос большого аффективного взрыва. Одновременно чувство — это облагороженный абсурд культуры, воображаемое, обработанное символическим порядком. Конфликт воображаемого и символического непрерывно воспроизводится искусством. Влияние на человека независимых от ситуации чувств создает нетелесный эффект настроений, эмоциональных состояний.

Аффект, как сознание абсурда, дословен. В нем доминирует неопределенное сознание, которое работает в момент разрыва между жестом воображаемого и знаком символического. Протест против абсурда рассеивается в символическом порядке культуры. Случайность ситуативных эмоций устраняется после того, как они попадают в поле тяготения знака, речи. В эмоциях, производных от речи формируются чувства, независимые от ситуации. Привязанность чувства к слову создает новую урзу для эмоции.

25

Эмоции подлежат дефляции, рассеиванию. Культура заставляет работать эмоции на капиллярном уровне. Обслуживая ризому повседневности, эмоции теряют связь с хаосом абсурда. Чувства обнаруживают свою непрактичность, избыточность. Они привязаны к словам, которые их держат на поводке, как декоративного пуделя. Минимум эмоций мы находим у современного человека. Эмоциональный регресс завершается интеллигентностью. Лишенный аффектов человек проблематизирует судьбу искусства и художника, ибо художник — это человек абсурда, это возможность увидеть то, что происходит в мире, вне связи с суждениями об этом мире.

Если человек — это соединение души и тела, то это соединение нельзя помыслить. Его нельзя знать. Можно что-то знать отдельно о душе, можно — о теле, но человек — это ходячий абсурд, тайна, вываливающаяся за пределы физики и философии.

5

26

Эмоция является профессиональной проблемой актера¹⁴². Актер — это человек, который неопределенные чувства заменяет знаками. Он изображает волнения души и передает знаки этих волнений в зрительный зал. Возникает вопрос: должен ли актер переживать то, что он играет, входит ли это в его профессиональные обязанности или он должен отделаться знаками, внешними проявлениями. Иными словами, актер должен умирать, играя смерть на сцене или изображать смерть.

10

Актер зависит от режиссера, от стратегии его сценического мышления. Он также зависит от зрителя, т. е. от места и времени театрализованного действия, от настроения публики. Актер уже не выражает эмоции, а обозначает их. При этом он обозначает не свои эмоции, а эмоции режиссера и зрителей. Например, Е. Вахтангов предлагал актерам играть не роли, указанные текстом пьесы, а итальянских актеров, играющих эти роли.

15

20

27

Всякая тайна коренится в очевидном. Театр — это тайна, в которой совершилось очевидное. Умерла эмоция. Место, где умерла последняя эмоция, теперь называется театром. Здесь ее однажды и означили. Она не выдержала и умерла. Означить — значит в эмоции увидеть знак эмоции. Как знак она выразима и указуема, заменяема и произвольна. Театр нетелесному различию эмоции дал тело, т. е. лишил эмоцию смысла. Совершая инверсию, театр поступил с ней как с самоваром из реквизита. Пример. Спектакль «Три сестры». Для натуральности сценического действия роль самовара на столе должен был сыграть сам самовар из XIX века. Этот самовар стал знаком самого себя. Актер, как самовар. Он постоянно извергает свои эмоции как знаки эмоций. А поскольку это тяжело, постольку эмоции редуцируются к плану выражения. И знаком эмоции становится уже не эмоция, а план ее выражения, как то: позы, мимика, жесты. Хотя все это и протописьмо, но все же это письмо. А письмо и речь — антагонисты. Вернее, письмо сегодня изображает звуковую речь. Поэтому в театре столкнулись слово и тело, речь и письмо. И кто кого. Но к эмоциям эта борьба уже не имеет никакого отношения.

25

30

35

Эмоции требуют непосредственного общения душ. Знаки опосредуют. А поскольку нет непосредственного общения, постольку эмоции заменяются невербальными знаками. Актеры и зрители тем самым попадают в двусмысленное положение. С одной стороны — если ты переживаешь на сцене, то ты как самовар из реквизита, т. е. играешь самого себя. А это зрителю не

45



¹⁴² Арто А. Театр и его Двойник. Театр Серафима. М., 1993; Бенуас Люк. Знаки, символы и мифы. М., 2004.



очень интересно. Если ты означаешь эмоцию — то между тобой и зрителем образуется знаковая стена, которая мыслится, но не переживается. И зрителю некому эмоционально подражать. Некого имитировать. Ибо он видит знаки: рука ко лбу — это задумчивость, хватание себя за волосы — это горе. У актера мимика уже не выражает эмоцию, а обозначает ее.

28

Эмоция возникает в ситуации депривации, запрета на контакт с вещами мира, в момент погружения человека во тьму того, что Платон называл пещерой. Вернее, сам факт этого пребывания в пещере и делает возможным выход из тьмы. Пещера — это как перевал, как точка интенсивности в онтическом порядке человека. Либо ты остаешься в пещере, либо — выходишь на свет. И если выходишь, то ты уже человек. И у тебя есть эмоция. И чего-то уже нельзя потому, что есть воображаемое и ты связан с ним.

Эмоция — это неприрученная мысль. Мысль без слова, рассеивающая тьму и одновременно показывающая выход. Человек начинается с изобретения эмоции. Она одна и в ней все. И это все помещается в крике. Крик — это архаический способ существования мысли без слов.

Юнг рассказывает о бушмене. Этот бушмен был бесстрастен, как античный мудрец. Но у него была жена, и еще были дети. И их надо было кормить. Однажды бушмен пошел на рыбалку и взял с собой самого любимого ребенка. Весь день бушмен просидел у озера. Уже надо было возвращаться к очагу, к дому, к голодной семье, а клева все не было. Рыба не ловилась. Бушмен разгневался, вышел из себя и в отчаянии так стиснул своего маленького ребенка, что задушил его. Когда бушмен опомнился, увидев труп ребенка на руках, в нем родился, крик отчаяния, родилась мысль без слова. И этим криком устанавливался новый онтический порядок, в котором запрещалось выходить из себя. «Крик» Мунка раскрывает значение человеческой эмоции.

Эмоция связана с голосом, со звуком. Ее сила в интонации, в тоне, которые отделяют человека от абсурда, создавая между ними первый и еще еле заметный барьер.

В крике переживание дано вместе с языком понимания переживания. Оно дано еще без слов и до всяких знаков. В крике эмоции совместились несовместимое, быт и небытие, то, что невыразимо ни скрежетом зубов, ни адреналином в крови. Энергия крика невыразима и микродвижениями глаз, и неожиданно остановившимся взглядом. Человек родился в крике и поэтому он живет, а не выражает жизнь. Знаки появляются позже. Означенные эмоции будут тратить энергию неозначенной эмоции до тех пор, пока не истратят, не превратят эмоцию в знак. Эмоция умрет в театре, на руках у режиссера и актера.

Чем дальше от пещеры, тем враждебнее будет культура относиться к эмоциям, аффектам и страстям. Почему? Потому, что в эмоции живет напоминание о депривации, о лишении органов чувств натурального контакта с вещами. В пространстве эмоции мыслят действиями. И эта мысль неотделима от действия или, что то же самое, от переживания. Но если

переживание нельзя отделить от языка понимания этого переживания, то это значит, что в нем нет места для «я», для индивидуализации диффузной энергетике эмоций. А культура — это забота о «я», а не о самости.

Иными словами, эмоции — это язык переживаний. И на этом языке невозможно было выразить мысли, означать чувства. Язык вообще, и кинетический язык в частности, создавался не для мысли, а для чувств. Значит, чтобы в нем поселилась мысль, этот язык нужно было переделать, отделить язык от переживания.

Вот этим отделением и создается возможность для существования знака и чистого сознания, т. е. сознания, расширение которого уже не зависит от расширения жизни, переживания. Знаки требовали отделения языка, эмоции — сопротивлялись. Расширение сознания, сопровождавшееся расширением переживания, было магическим, незнакомым. А вот расширение сознания вне зависимости от жизни стало знакомым.

Пространство для мысли создавали философы. Это они расщепили эмоции, отделили язык от жизни и поселили в языке пустоту. Я — это пустота языка, в которой нашлось место для чистой мысли и не осталось места для крика и утешения. Палеонтологически эмоция связана с голосом. Мысль — с руками. Онтическая инверсия переменяла знаки: мысль поселилась в языке как речь и письмо, а эмоция осталась на лице и теле как мимика, фигура тела и кинестетика. Неозначенные состояния эмоции понятны всем. Означенные — не всем. Если бы эмоции были знаковыми, то произвольность знаков успешно скрывала бы смысл эмоции. И не нужно было бы вступать в борьбу со своими эмоциями. Незачем было бы их скрывать. Эмоции обладают абсолютной искренностью. Чтобы их скрывать, нужно вступать в борьбу со своим телом. Страсть «развязывает мускулы, развертывает движения. Мысль связывает мышцы, свертывает движения»¹⁴³. Эмоция — это симптом присутствия абсурда. Она указывает на бессмыслицу, как высокая температура указывает на болезнь. Поэтому у животных нет эмоций. Они живут за пределами абсурда. У них есть хаотичные, размытые двигательные комплексы, которые со стороны сознания трактуются как эмоции. Например, собака опустила хвост — мы думаем: «А, испугалась, боится». Она подняла хвост, мы думаем: «Надо же, как она рада».

Архаическая эмоция не может иметь привязки к стимулу, к реакции, к значению. Ибо абсурд не имеет содержания. Дифференциация эмоции связана со словами. В языке, в котором нет слова «люблю», нет и любви. Аффекты, обрабатываемые речью, вначале распались на положительные и отрицательные. Затем стали изображаться различные модальности эмоций: удивление, лесть, страх. В «неозначенном» аффекта коренится вера, интуиция и искренность. Эмоции людей идеализированы. Это уже не состояние организма человека, а его расширение. И в этом расширении человек не зависит от природных состояний. Моя речь без речи *Другого* — это моя эмоция. Это *моя самость*.

5

10

15

20

25

30

35

40



¹⁴³ Волконский С. Выразительный человек. СПб., 1913. С. 34.

Глава IX

Невербальная коммуникация

Краткое содержание главы

Коммуникации могут быть основаны на понятиях и знаках, а также они могут быть основаны на симулякрах и жестах. Первые коммуникации стабильны и равновесны. Вторые — нестабильны и неравновесны.

Дословное письмо составляет невербальную коммуникацию, т. е. попытку вообразяемого овладеть телом. Невербальная коммуникация еще не знает другого, и поэтому носит незнаковый характер. Она помогает общению на уровне «уже-понимания». На этом уровне доминирует коллективное вообразяемое и предметные схемы, т. е. если кто-то говорит: «в лесу», это значит не слово «лес», не буквы и не звуки, а лес собственнилично. Если я говорю, что это рядом с Манежем, то я имею в виду Манеж, предметный образ Манежа, а не понятие манежа. В невербальной коммуникации речь сводится к пространству одного жеста, к повелению, которое встречает повиновение, или не встречает. Жест предвещает слово и заменяет его.

Относиться к жестам как невербальной системе знаков — значит подчинять их речи, тогда как они носят характер дословного письма. Если *Другой* конституирует коммуникацию, в которой невербальные элементы подчинены вербальным, то аутокоммуникация, т. е. обращение к себе как к другому, выходит из системы речевых воздействий, снижая статус слова и повышая статус невербальных элементов коммуникации. При нулевой коммуникации, полностью стирающей следы другого в обращении к самому себе, нет места знакам. Здесь доминирует неозначенное коллективного вообразяемого, и язык мешает движению по логике неозначенного, препятствуя выражению замыслов немой речи. Если музыка является образом мира, то сознание является образом чувственно-сверхчувственного мира вообразяемого.

§ 1. Миклухо-Маклай и папуасы

Речевая коммуникация дискретна. Коммуникация душ континуальна. Если бы не было «уже понимания», то никакая коммуникация была бы невозможна. Когда один говорит — другой слушает. В разговоре нужно вовремя встать в очередь, чтобы взять слово. Если говорят все сразу и никто никого не слушает — то получается гул, а не беседа. Невербальная коммуникация континуальна. Пластика одного тела не создает препятствий для пластики другого. Пока кто-то молчит — говорят руки, лицо, тело. Вот этот немой разговор тел и называется невербальной коммуникацией. Любое изобразительное искусство передает немой разговор тел. Художник



передает не речевое содержание события, а момент невербальной коммуникации, которая начинает разворачиваться раньше, чем люди начинают говорить. Люди считывают информацию с поз друг друга, с выражения лица и фонетических средств выражения. Мало кого устроит, если собеседник во время разговора прячет лицо, закрывается. Вот это все хорошо передается некоторыми художниками. Например, тебе захотелось увидеть картины Слепышева. Ты идешь в Центральный дом художника и смотришь на «Прощание». И знаешь, что левый нижний угол картины самый тяжелый, самый мрачный. Хотя он и пустой. Ты видишь, что один человек хочет уйти в неизвестность, а другой его не пускает. Один равнодушен к себе. Другой — раздавлен своим одиночеством. И все это изображено на картине Слепышева «Прощание».

Или Миклухо-Маклай. Между ним и папуасами проходил немой разговор, совершалась невербальная коммуникация. Это потом, позднее Миклухо-Маклай выучит язык и у него начнется вербальная коммуникация с папуасами. Жестикуляция может нести все бремя речи. В превращенной форме она продолжает существовать в письме и чтении.

«Когда Христос на глазах неверной чертил пальцем на песке, это было с его стороны красноречивое слушание, в котором слышание и письмо слились воедино»¹⁴⁴.

Жестовые, мимические и фонетические средства коммуникации старше вербальной коммуникации. И в этом смысле рука предшествует языку в коммуникативном общении. Жест может вступать в конфликт со словом, т. е. жест может говорить одно, а слова — другое. Но «уже-понимание» душ носит дознаковый характер и может вступать в конфликт с невербальными знаками, которые, в свою очередь, могут вступать в конфликт со словом.

Поскольку осмысленный жест предшествует осмысленному звуку, постольку американские супруги Гарднеры взяли на воспитание одиннадцатимесячную шимпанзе по имени Уошо, чтобы научить ее жестовой речи. За три года Уошо выучила 132 жеста. В эксперименте с обезьяной то, что можно было получить дрессировкой, Павлов называл условным рефлексом. Гарднеры почему-то стали его называть знаком. Хотя никаких знаковых отношений обезьяна не знает. Один глухой человек, который работал с обезьяной, наблюдая за тем, как она усваивает язык жестов, позже откровенно признавался в следующем: «Каждый раз, когда шимпанзе делал знак, мы должны были заносить его в журнал... Меня всегда укоряли за то, что в моем журнале было слишком мало знаков. У слышащих людей были журналы с длинными списками. Они все время видели больше жестов, чем я... Но я действительно смотрел внимательно. Руки шимпанзе все время двигались. Может быть, я что-то пропустил, но я так не думаю. Я просто не видел никаких жестов. Слышавшие люди записывали каждое движение, которое делал шимпанзе, как жест. Когда шимпанзе клал себе палец в рот, они говорили: „ага, он делает жест пить” и давали ему молока... Когда шимпанзе почесывал себя, они записывали это как жест чесаться...»¹⁴⁵.

¹⁴⁴ Розенцток-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994. С. 144.

¹⁴⁵ Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2004. С. 320.



Иными словами, невербальный язык — это не язык, а жесты — не знаки. Это дословное письмо воображаемого, немая речь чувственно-сверхчувственного. Язык тел выражает не мысли, а чувства и эмоции. Он передает понимание окружающего мира через состояние говорящего. У обезьяны

5 Гарднеров не было сообщения с воображаемым. Гарднеры попытались реальное обезьяны разместить в символическом порядке. Но этот порядок омывается не реальным, а воображаемым, которого не было у обезьяны. Без воображаемого символ становится сигналом, знак — предметом.

Каждый человек идет либо от себя, либо к себе, достигая сосредоточия

10 и спокойствия в самом себе. От себя — значит к миру вещей, в котором есть все, кроме его Я. К себе — значит от мира объективации и вещей к своему Я, которое пусто.

Пребывание в себе — это пребывание в пустоте Ноля. В ней, как на иконе, все доступное — далеко. Все недоступное — близко. Все значительное, как на картине — слева от тебя, все малозначимое — справа. Поэтому движение идет слева направо по правилу превращения формы. На Западе левое понимается как нечто пассивное и угрожающее. Напротив, правое — активно и благодатно. Но на Востоке, в Китае, левое понимается как праздное, бездеятельное, мужское, высшее. Правое — низшее. Правой

15 20

рукой подносят пищу ко рту. А это низшая работа. В себе человек индивидуален. Вне себя — социален. Социальность создается языком. Индивидуальность — душой воображаемого.

§ 2. Выразительность тела

Выразительность тела — это фикция, тень от присутствующего где-то сознания. Тело само по себе ничего не выражает. Чтобы выражать, нужно выводить что-то из потаенного, соединять второй план с первым. У тела нет ни потаенного, ни второго плана. Что не мешает ему быть умелым. Иногда всем нам лучше полагаться на ноги, чем на голову. Вот, например,

25 30

А. Белый. Если бы не ловкость его тела, то Белого раздавил бы трамвай. Но А. Белый антропософ, т. е. человек, у которого иногда отключается сознание. И тело получает свободу, делая то, что под надзором сознания оно бы сделать не могло. Белый выскочил из-под наехавшего на него трамвая, потому что его тело знало то, что сознание еще не знало. Выразительность рождается во взгляде, который сознание бросает на тело. Само тело взглядов не бросает. И поэтому у него нет никакого языка. В словах «язык тела» спрятан обман, наваждение. Этими словами сознание водит нас за нос, играя с нами в прятки. Поэтому вопрос следует поставить иначе: что сделало тело языком. И не остались ли при этом языковые отходы. Ответ на этот

35 40

вопрос содержится в теории антиязыка, антислова которого еще ничего не выражали, ибо им нечего было выражать. Это слова-жесты. Кинетика тела ничего не сообщала, ибо ей нечего было сообщать. В абсурде телесного заканчивается инстинктивная мудрость тела, которое уже не может из бесконечного множества воздействий выбрать одно и на него ответить. Вот

45

эта невозможность и является условием того, чтобы тело стало языком-жестом воображаемого, чтобы появились следы абсурда на поверхности тела. В воображаемом тело предстает как жест. В символическом порядке

она становится знаком. В жесте реализуется немая речь дословного. В знаке — звуковая речь.

Следующий вопрос, который приходит в голову, это вопрос о языке. О том, что отделило жест от тела, а знак — от жеста. Ибо отделение жеста от тела и будет называться сознанием. А отделение знака от жеста освобождает пространство для речи. Выворачивание вывернутого принадлежит воображаемому, адекватной формой существования которого является антиязык.

Отделение жеста от тела возможно в горизонте воображаемого. Выразительность тела видна со стороны сознания, сознание выражает себя в речи. Ибо в сознании появится мысль, которую можно будет сообщить. Но вне зависимости от того, сообщается мысль или нет, одним тем фактом, что она есть, она делает тело выразительным, означенным, вовлеченным в игру слова. Вербальный язык дополняется невербальным, слово — жестом. Воображаемое, изгнанное из символического порядка, послужило порядком для изготовления из него элементов невербальной коммуникации. Жест перестает быть жестом, если он означен. Знаки приручают жест, одомашнивают, выводят его из потаенного. Неозначенные жесты уходят к телу, в засаду, и ждут своего часа. Означенные — облепили сознание и символический порядок языка. Они стали коллаборационистами тела, замещающая речь во время ее отсутствия, усиливая ее и дополняя. Лишь изредка жест может вступить в пререкание с речью, показывая свою былую связь с неозначенным. Тело — не знак. Оно не указывает и не выражает. Оно действует и тем самым говорит.

§ 3. Паралингвистика

Звуки голоса, которые не входят в систему членораздельной речи, относят к паралингвистике. Это свист, кашель, икота и прочее. К паралингвистике принадлежат также интонация и тонирование звуков. Например, можно громко кричать, а можно говорить шепотом. Кто-то гнусавит, кто-то хмыкает, а некоторые шмыгают носом и быстро говорят. Все можно втянуть в поле коммуникации и означить. Всему можно придать смысл. Но не все может стать знаком.

Наиболее эффективны интонации голоса. Они действуют помимо речевых знаков, над ними и сбоку от них. Интонация смысляет речевые знаки, наделяя их силой неозначенного. Эмоции играют голосом, извлекая из него, как из скрипки, нужные звуки. Там, где не поймут знак, поймут эмоцию, ибо она настраивает, а не сообщает, повторяет себя в разных сердцах, оставаясь одной и той же. Эмоцию не надо объяснять. Она понятна сама собой. Зародившись в голосе, аффект захватывает все тело. Не может быть так, чтобы голос был спокоен, а тело содрогалось в конвульсиях аффекта.

§ 4. Кинетика

Речь превращает телодвижения в знаки. Если голос призывает, то тело откликается, приходит в движение. Оно сжимает губы, скрежещет зубами, бьет себя в грудь, стучит по лбу, а затем по дереву. Язык тела и его





частей изучает кинетика. Речь вовлекает тело в пространство вербальных значений и назначений, отвлекая от реакций на сигналы внешней среды. Тело и речь соединяет голос. Если недоумение слышно в голосе, то и тело начинает недоумевать, поднимая плечи и разводя в стороны руки. Конечно, 5
руки можно разводить и без недоумения, но это будет чистая материя, не сопряженная с аффектом, с переживанием.

Значения слова, оседая, превращаются в жесты тела, проявляясь в способе ношения тела, в том, как человек ходит, стоит или сидит. Кинетика расширяет средства речевого общения, хотя в ней и нет твердых правил сочетания и оппозиции знаков. То есть нет синтаксиса. Но эквивалентный обмен между разными телодвижениями делает их знаками. Например, можно обменять поднятые вверх брови на пожатие плеч, ибо и то и другое обозначает удивление. 10

Пожатие руки — это жест отказа от второго плана, где могут родиться нечистые намерения. Пожать руки — значит пустить в руку корень. Составить одно целое. 15

§ 5. Жест

Жест — это вулкан, который выбрасывает спонтанность, неостывшую материю неозначенного. Жест соединяет воображаемое и тело: он всегда искривлен, неподделен. Нельзя заранее планировать мимику, намеренно строить фигуры жеста. Невербальная сторона коммуникации непременно окажется деланной, искусственной. Тело перестанет откровенничать, а жест не выдаст ту сторону нашего существа, которая наиболее задета тем, что мы видим или слышим. «Не тот жест интересен, — писал С. Волконский, — которым человек показывает, что он хочет спать, а тот, который выдает его сонливость...»¹⁴⁶. Ряд жестов составляет ритуал. Аффект дает точечную площадь проявления сущности говорящего. Эта точка — жест, звук. Расширить это пространство — значит выйти за пределы аффекта, используя его энергию для повторения, для конструирования ритма. Как заметил Н. Луценко, аффект заполняет ритм тоновыми подъемами и спадами. В сфере проявления души человек не может пойти дальше мелодии и ритма. Вне сферы души, то есть в пространстве встречи с предметом, жест уступает место знакам, речи, которая обладает бесконечностью предметного расчленения бытия. От жестов в языке остались, пожалуй, только ударения. 20
25
30
35

Слова скрывают жесты, ибо жест открывает неозначенное. Жест вниз — ограничен, жест вверх — неограничен. А это значит, что всякое падение предельно, а подъем — беспределен. В любом случае точка отсечения — это «я», которое находится у носа. Поэтому нос можно задрать, опустить или держать по ветру. Жест означает выразительное движение человеческого тела. 40

¹⁴⁶ Волконский С. Выразительный человек. СПб., 1913.

Глава X

Декарт и Спиноза.

Теория страстей

§ 1. Теория страстей Декарта

«Страсти души» — удивительная книга. «Я не знаю более ясной книги и более непроницаемой одновременно»¹⁴⁷.

Теория страстей Декарта делится на две части. В первой части он описывает природу человека, редуцируя антропологию к изображению движений человеческого тела. Во второй части Декарт излагает моральные представления о человеке, полагая уже известной его природу. 5

В своих антропологических рассуждениях Декарт физик, а не философ. Как физик он устанавливает, что в любви и печали желудок активен при пищеварении. А з ненависти и радости — деятельность желудка понижена. А это значит, что первые страсти образовались вокруг пищеварительного канала. Полный желудок производит радость, пустой — печаль. 10

Вся философия Декарта сводится к утверждению о том, что если есть действие, то есть и претерпевание. В претерпевании Декартом уже запряганы искомые страсти человека, его зависимости. Остается неясным: почему именно страсти привлекли внимание Декарта, почему ни разум, ни природа, а страсть является пропуском в антропологию? В самой по себе душе нет ничего такого, что бы указывало на природу человека, вело к ней, нуждалось в ее оправдании. И тело само по себе не содержит в себе никаких признаков, отсылающих к человеку. 15

Страсти нужны для того, чтобы побуждать душу способствовать тем действиям, которые могут послужить для сохранения тела или для его совершенствования¹⁴⁸. Страсти не всегда приносят пользу телу. Есть среди них и такие, что вредны для тела. И печали они не вызывают. Напротив, они даже радуют. А есть и такие, что неприятны, но полезны. Страсти усиливают кажимость, окружающую человека, а также они подвергают забвению то, что есть на самом деле. Они заставляют действовать человека через систему желаний. И поэтому человеку нужно учиться управлять желаниями. 20 25

Декарт человека не мыслит, потому что его нельзя помыслить. Мыслению мешают страсти. Декарт человека наблюдает. Декарт физик, а не философ. Для того чтобы помыслить человека, его нужно поместить в горизонт *cogito* и затем описать. Но в этом горизонте человек невидим. Здесь его величина стремится к нулю. 30

¹⁴⁷ *Мамардашвили М.К.* Картезианские размышления. М., 1993. С. 317.

¹⁴⁸ *Декарт Р.* Собр. соч. М., 1986. С. 539.



Удобнее всего человека наблюдать в структуре повседневности. Повседневность — это пространство, в котором ты можешь избежать встречи с абсурдом. В этой структуре действие для одного субъекта будет выступать страстью для другого. И кто из них является субъектом — не важно. 5 Вернее, в качестве этого субъекта выступает наблюдаемое тело. Одно тело действует. Другое претерпевает действие.

Декарт незаконно вводит в план наблюдения феномен под названием «я знаю непосредственно». Этот феномен не результат наблюдения физика, а его условие. И поэтому ему нет места в содержании наблюдения. 10 Декарт же превращает «я знаю» в элемент содержания. То есть он вводит физически немотивированную идею связи тела и души в пространство наблюдения.

«Я вижу, что мы не замечаем ничего более непосредственно действующего на нашу душу, чем тело, с которым душа связана»¹⁴⁹. Но эту «непосредственность» Декарт предлагает редуцировать, не обращая на нее никакого внимания. «Думать, — говорит Декарт, — нужно в предположении, что сами мы не имеем ни рук, ни ног, ни какого бы то ни было тела»¹⁵⁰. 15

С одной стороны, Декарт — физик, с другой — феноменолог. И поэтому у Декарта две очевидности, две непосредственности и два знания. 20 Декарт заранее, еще до всякого исследования полагает существование души. Но если она существует, то почему она не может непосредственно воздействовать на то, что ей близко: на душу. Почему Декарт полагает непосредственным действие тела на душу? Не является ли это действие фантомом, иллюзией, подменой воздействия тела на тело или души на душу? 25 И не задача ли Декарта, как физика, исследовать связи тела и души на примере их фантомности? Ответ Декарта прост: душа одна. Она внутри себя не разделена. Она всегда мыслит. Для Декарта несомненно, что есть душа и есть тело. И тело действует на душу, а душа действует на тело. Если действует тело — страдает душа. Если действует душа — претерпевает тело. 30 При этом душа предстает у Декарта как вешалка с крючками. Если мы все, что испытываем, можем допустить в телах неодушевленных, то все это мы должны приписать только нашему телу. То, что не может быть приписано телу, нужно отнести к душе.

Отнести к душе — это значит вывести из плана наблюдения, сделать 35 ненаблюдаемым. Ведь наблюдаем-то мы только тело, и наблюдатель — это тоже только тело. Поэтому очень интересно, как мы узнаем о том, что у нас есть мысли. Для того чтобы жить, душа никому не нужна. Для этого нужно иметь тело и «нежный ветер», животные духи. Жизнь как часы. Их завели и они идут. Нет завода — они остановились. И мысли здесь ни при чем. Но 40 если для того, чтобы в мысли узнать мысль, нам нужно тело, а не мысль, то тогда само существование мысли становится сомнительным.

50 параграфов своих «страстей» Декарт посвящает исследованию банальности, т. е. исследованию природы человека. Остальные 162 параграфа он заполняет рассказами о душе, подвешивая к ее крючкам свои наблю-

¹⁴⁹ Декарт Р. Собр. соч. С. 482.

¹⁵⁰ Там же. С. 316.



дения. В строгом смысле слова, к мыслям Декарт относит только желания. Вот я хочу пойти и иду. Хочу взять чашку и беру. И это зависит только от меня. Это моя воля. Я аутист и здесь моя самость. На пяточке этой зависимости и водится душа. Если же то, что зависит от меня, исчезнет, то исчезнут и условия того, чтобы вообще могла быть душа. Например. Я захочу взять чашку и не смогу ее взять. Потому, что тело мне не подчиняется. Я захочу пойти гулять, а ноги меня не слушают. Они не двинутся, и я никуда не пойду. Согласно Декарту, поскольку тело мне не подчиняется, постольку у меня нет воли. Нет души. И значит, у меня нет мыслей. И я не человек. Конечно, я могу хотеть свободы или истины. Но ни то, ни другое нельзя вызвать волевым актом. Сами эти акты должны быть наблюдаемы. Иначе, они неотличимы от того, что не существует. Например, я захотел свободы и покраснел. Вот эта краснота дает знать о воле к свободе. Конечно, воля не видна, а краска наблюдается. Но как мне ее отличить от покрасневшего от напряжения гимнаста, которому никакая свобода не нужна. Все страсти как-то проявляются. Об их существовании можно узнать по дрожи, стону, смеху, слезам, цвету лица и т. д. Но эмоция — это не дрожь и не стон.

Все мысли, помимо воли, связаны с телом, ибо душа «всегда получает их от вещей, представляемых ими»¹⁵¹. Восприятие цвета, звука, запаха — это, по Декарту, мысли, т. е. страсти. Но они зависят от вещей. Восприятие тепла, жажды, голода и боли — это тоже мысли, которые Декарт называет страстями, ибо мы их испытываем. Но они зависят от нашего тела. Восприятие гнева, радости, боли — тоже страсти. Но зависят они только от души, от действия себя на самого себя. Мы, по словам Декарта, не знаем их ближайшей причины.

Итак, все, что Декарт относит к душе и называет мыслями, отсылает к телу. Нуждается в телесных образах. Даже суждения, которым следует воля, основаны на страстях, когда-то победивших волю. То есть Декарт ставит под сомнение саму возможность действия души. А если душа терпит, то действует тело. А это значит, что Декарту нужно было бы отказать от души и от страстей, и тем самым приравнять человека к животному. Но Декарт этого не делает и объясняет страсти зеркалом души. То есть страсти — это то, в чем душа узнает о том, что она душа. Или, что то же самое, страсти — это то, что делает человека человеком. Чем же страсти, как страсти, отличаются от всех остальных восприятий души? Тем, что все восприятия души могут обмануть, а страсти никогда не обманывают. Они понимаются вне связи с телом, с вещью. Любое обращение к вещи создает зазор между вещью и ее восприятием. В этом зазоре и коренится обман. Нельзя обмануться в чувстве, в страсти, потому что нет никакого зазора между страстью и восприятием страсти. И нет никакого отдельного акта восприятия страсти наряду со страстью. В страсти уже содержится язык понимания страсти. И этот язык не нуждается в акте когито. Страсти являются докогитальными.

Например, мне больно. Почему я не могу допустить, что и моей собаке больно? Или вот красная тряпка. Я ее вижу. Почему бы мне не допустить,

¹⁵¹ Декарт Р. Собр. соч. С. 490.



что и бык видит красную тряпку. Но если я все это сделаю, то не поставлю ли я себя на место собаки или быка?

Декарт полагает, что воля действует и за пределами ума, т. е. желания уже были, а ума еще не было. Но если это так, если свои действия человек
5 основывает не на полном знании всех причин и действий, а на воле, то тогда когитальные суждения должны быть означены. То есть объем знания, о котором я знаю, уступает объему вольных действий, в которых доминирует действие, а не знание. И причиной этих действий является галлюцинация, воображение. Конечно, я знаю, что прикасаюсь к этой, передо мной стоящей, вещи. И я знаю, что в этом касании ум первичен. Но если я касаюсь
10 вещи, и не знаю, что я касаюсь, то в этой ситуации первичность ума исчезает. Воля и знания оказываются разорванными. И в этом разрыве проступает аутизм самости.

Вот одно из самых важных замечаний Декарта: «Никак нельзя ошибиться в отношении страстей, поскольку они так близки нашей душе, и так укоренены в ней, что невозможно, чтобы она их чувствовала, а они не были
15 такими, какими она их чувствует»¹⁵².

Не может быть так, чтобы восприятие страсти было, а страстей не было. Или наоборот: чувство было, а восприятия чувства не было. Вот эта особенность страстей и оправдывает существование души в качестве того,
20 что мыслится вне связи с телом. Поэтому страсти — это наша душа. Это наши мысли.

Душа есть только у человека. И она у него одна. Между тем, тело человека устроено парно: две ноги, две руки, два уха, две ноздри, два глаза.
25 И мозг устроен парно. То есть в каждый момент мы имеем два впечатления, два изображения и, следовательно, наша душа имела бы дело с двумя предметами вместо одного. Вот эта двоица должна была бы раздвоить и нашу душу, т. е. одна часть души воспринимала бы один предмет, другая — второй, а третья бы их синтезировала. Но это невозможно, ибо думать так —
30 значит мыслить душу как тело.

Но поскольку относительно одной и той же вещи в один и тот же момент времени у нас есть только одна-единственная мысль, постольку должен быть телесный орган, соединяющий два изображения в одно. И этот орган — шишковидная железа, находящаяся в мозгу человека.

Цитаты: «Все... части нашего мозга, так же как глаза, уши, руки и прочие органы чувств, являются парными, но поскольку относительно одной и той же вещи в одно и то же время у нас есть одна-единственная и простая
35 мысль, безусловно, необходимо, чтобы имелось такое место, где два изображения, получающиеся в двух глазах, или два других впечатления от одного предмета в двух других органах чувств могли бы соединиться, прежде
40 чем они достигнут души, так как в противном случае они представляли бы ей два предмета вместо одного»¹⁵³.

Отсюда следует, что шишковидная железа превращает двоицу в единицу независимо от души. А это значит, что она работает и у животных. Что

¹⁵² Декарт Р. Собр. соч. С. 496.

¹⁵³ Там же.



никоим образом не указывает на наличие у них страстей. Идея «железы» запрещает Декарту помыслить абсурд. Вместо бессмыслицы абсурда Декарт вводит представления об одной-единственной мысли, которая всегда проста и цельна. Между абсурдом и мыслью, видимо, стоило бы поместить аффект. Картезианская же антропология полагает, что душа проста, а воля свободна. Ее нельзя принудить. Но и страсти нельзя вызвать волей. Более того, страсти соблазняют волю, а воля хитрит. Ведь усилием воли от страсти нельзя освободиться. Поскольку душа не имеет частей, постольку ей приходится маневрировать, проявлять ловкость, т. е. в один и тот же момент времени ей приходится и желать и не желать одного и того же. Душа перестает следовать суждениям и увлекается страстями, подчиняясь то одной, то другой. Во всем этом Декарт видит причину существования несчастной души, которой остается раскаиваться и сожалеть.

Декарт оставляет непроясненным вопрос о том, как воля и жизненные духи сопоставляются, почему воздействие души на тело не увеличивает в природе количество движения. Поэтому он полагает, что в идеале воля сильнее жизненных духов и, следовательно, способна подчинить их разуму.

Декарт приводит пример с собакой, которую приучают не бояться выстрела и приносить добычу хозяину. Ссылаясь на собаку, Декарт полагает, что даже люди со слабой душой могут властвовать над всеми страстями.

Задача страсти — побуждать душу способствовать сохранению тела и его совершенствованию. О существовании страсти можно узнать по ее телесным проявлениям: дрожи, выражению лица и глаз, стону, слезам, смеху и т. д. Против доминирования страсти над волей Декарт советует прибегать к рассуждениям, а также к искусству. Они должны, на его взгляд, указать границу между тем, что зависит только от тебя, и тем, что от тебя совершенно не зависит. Отвращает от желания того, что от тебя не зависит, великодушие. Но лучше всего быть добродетельным.

Декарт так и не разъяснил, почему бьют тело, а больно душе. Почему я в своем теле — это не пловец в лодке. Лодка тонет, пловец спасается. Не очень ясно, почему рука поднимается, когда я хочу ее поднять?

Открытие Декарта состояло не в том, что он изучил физику аффектов, а в том, что он: 1) приписал аффект только человеку и 2) сделал его выражением абсурда, т. е. тождества взаимно исключаящих субстанций. После Декарта стало понятным, что эмоции — признак человека, тогда как ум — это признак души. Равно как стало понятным, что в эмоции выразилось одновременное действие на человека двух взаимно исключаящих раздражений. Ответом на эти раздражения и стала эмоция. Антропологический смысл эмоции состоит в том, что она выступает способом обживания абсурда, опосредования действия двух субстанций, активизацией одной из них и затормаживанием другой.

Не ум характеризует человека, а страсти. Ум относится к душе, которая универсальна. Человек индивиден, его страсти региональны. Согласно Декарту, только одно тело во вселенной связано с душой. Это тело человека. Страсти — это уникальное событие во всей вселенной. В метафизических размышлениях под номером «шесть» Декарт говорит: «Мои аффекты и инстинкты делают мне ясным, что я нахожусь в собственном теле, не как

5

10

15

20

25

30

35

40

45

пловец в лодке, а связан с ним самым тесным образом и как бы смешан, так что мы некоторым образом образуем как бы одно существо. Иначе я, в силу моей духовной природы, не ощущал бы боли при повреждении тела, а только опознавал бы это повреждение как объект познания, подобно тому, как корабельщик усматривает, когда что-нибудь в судне ломается. Когда тело нуждается в пище и питье — я знал бы об этих состояниях и не имея неясных ощущений голода и жажды. Эти ощущения, в самом деле, неясные представления, приходящие от соединения и как бы смешения духа с телом»¹⁵⁴.

§ 2. Антропология Спинозы

«Под аффектами я разумею состояния тела, которые увеличивают или уменьшают способность самого тела к действию, благоприятствуют ей или ограничивают ее, а вместе с тем и идеи этих состояний»¹⁵⁵. Что это за идеи и одновременно «состояния тела»? К ним Спиноза относит человеческие пороки и глупости. Вещи противоразумные, пустые и нелепые. Откуда берутся эти вещи? Из представления о том, что мир существует для человека, а не сам по себе. Если бы не было вещей вне нас, то не было бы и аффектов. Например, чтобы мыслить, нужно чтобы ум не увлекался ничем, кроме мыслей. Вне ума находятся слова, признания. Они могут увлечь ум. Когда они его увлекают, он перестает мыслить. Душой овладевает аффект. То есть аффект — это одновременно и состояние души. Не может быть любви без любимого объекта. Спиноза не объясняет страсти в терминах взаимодействия души и тела. Он рассматривает их как психический феномен, как взаимодействие мышления и аффекта.

Почему люди несчастны

Толпа, говорит Спиноза, глупа. Все, к чему она стремится, презренно. Все несчастия от любви, потому что любовь привязывает к объекту. А объекты бывают временные и постоянные. Постоянен только Бог. Любовь к Богу всегда радует. Любовь к временному, к тому, что может погибнуть, печальна. Цитата из «Трактата об усовершенствовании разума...»: «Посредством того, что любви не вызывает, никогда не возникнут раздоры, не будет никакой печали, если оно погибнет, никакой зависти, если им будет обладать другой, никакого страха, никакой ненависти, никаких душевных движений»¹⁵⁶. Если не будет движений, то не будет и условий для того, чтобы она вступала в состязание со страстью. Между тем эти состязания составляют предмет спора между Декартом и Спинозой.

Если воля побеждает страсти как механическая сила, то она должна быть больше силы жизненных духов. Если страсти возникают в душе под действием жизненных духов, то этими действиями душа лишается присущей ей свободы воли.

¹⁵⁴ Декарт Р. Собр. соч. С. 496.

¹⁵⁵ Спиноза. Этика. С. 159.

¹⁵⁶ Там же. С. 34.





Декарт вообще обходит эти проблемы, создавая теорию страстей, не имеющих ближайшей причины. То есть Декарт вводит представление о страсти, для которой нет причин. Например, радость есть, а причин для нее нет. Спиноза не допускает таких страстей. Для всего есть причины, в том числе и для страстей. Поэтому у Спинозы есть реальная иллюзия, а Декарт настаивает на абсолютной свободе воли.

Почему душа в философии Спинозы не субстанциальна

Субстанция не составляет форму человека. Если бы душа была субстанциальна, то тогда она необходимо бы существовала. Вместе с ней необходимо бы существовал и человек. А он может как быть, так и не быть. Поэтому душа не субстанциальна, а человек пассивен, подвержен аффектам.

Аффект — это дыра в природе человека

Поскольку душа не субстанциальна, постольку сущность человека находится вне человека. И, следовательно, человек существует с пустой сущностью, с дырой. И эту дыру нужно заштопывать. Со стороны природы она заштопывается аффектами. Со стороны Бога — бесконечным сознанием. Поэтому для Спинозы важно не взаимодействие души и тела, а взаимодействие познания и страсти.

Две модели аффекта и две модели человека

Одна модель — Декарта. Другая — Спинозы. У Декарта аффект вне природы. И человек имеет над ним абсолютную власть. Например, нет причин для того, чтобы была любовь, а она есть. Вернее, возможна, т. е. допускается философией Декарта. В картезианской антропологии человек сам себя определяет, его свободная воля прокалывает мир. И мир сдувается. Человек — вне природы, а природа — с дырой, с проколом. И эту дыру у Декарта заштопывает Бог.

У Спинозы человек внутри природы. И природа дает о себе знать в виде аффектов. Поэтому в мире Спинозы если есть любовь, то есть и причина любви. Спиноза прокалывает человека, лишая его самости. Природа полна, а человек пуст и поэтому нуждается в Боге. Любой человек поступает трояким образом: 1) сообразно с аффектом, 2) не знает что делать, 3) не знает, что хочет. А это значит, что и ум должен стать аффектом, чтобы воздействовать на человека. Или, как говорит Спиноза, решения души и влечения тела одна и та же вещь. «Я буду, — пишет Спиноза, — рассматривать человеческие действия и влечения точно так же, как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах»¹⁵⁷.

Иллюзии Декарта

Взаимодействие души и тела — это иллюзия Декарта, который думал, что бьют тело, а страдает душа. Но тело не определяет душу к мышлению, а душа не может определять тело к движению. «То, к чему способно тело, до сих пор никто еще не определил»¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Спиноза. Этика. С. 158.

¹⁵⁸ Там же. С. 162.

У Декарта человек нарушает порядок природы, ибо он у него сам определяет себя. Имеет власть над собой. В картезианской антропологии допускается абсолютная зависимость аффекта от воли. Тем самым Декарт «не высказал ничего, кроме своего великого остроумия»¹⁵⁹. Спиноза упрекает Декарта за то, что тот принимает гипотезу, которая «темнее всякого темного свойства». Идея свободной воли ложна.

Свободная необходимость

Декарт поселил пустоту в природе. И затем он эту природную пустоту как пузырь проколол. Природа сдулась, схлопнулась. Этот прокол закреплен в тезисе о том, что есть свободная воля. Что воля правит страстями. Что душа проста и неделима.

Страсти загнаны в интеллектуальный изолятор и находятся под следствием ума. Сам изолятор состоит из двух вещей: действия и претерпевания. Вот действовать — это хорошо. А претерпевать — плохо. Поскольку страсти относятся к разделу претерпевания, постольку они плохи. В том смысле, что не дают человеку выскочить из состояния пассивности.

У Декарта есть два полюса: тело и душа. Лучше всего, если бы действовала душа, и чтобы она в своем действии зависела только от себя, т. е. от ума. Но она зависит от тела и поэтому претерпевает.

Спиноза возвращает полноту природе, вынося сущность человека за пределы человека. Спиноза поселяет пустоту в человеке. Он надувает человека как шар и затем прокалывает его. У Спинозы схлопнулся человек. То, что он у него сдувается, зафиксировано в идее о том, что нет никакой свободной воли. Что человек не властен над страстями. Что он не может быть представлен через самого себя.

У Декарта человек не автомат. У него человек ходячая тайна аффекта. А поскольку он тайна, постольку никакая психология как наука о человеке невозможна. За человеком нужно следить, подсматривать, наблюдать, скосив глаза, а не вписывать его в научные схемы. У Декарта автомат — животное. Спиноза превращает в автомат человека. Картезианская антропология ограничена равенством действия и претерпевания. Нарушить равенство может только свободная воля. В спинозистской антропологии возможны действия от претерпевания. А это значит, что возможен человек без эмоций, без аффектов. Чем больше человек познает, тем меньше у него остается аффектов. В бесконечном процессе познания стираются следы аффективного человека, и человек становится машиной рассуждения.

Почему человек не соблюдает предписания разума

Согласно Спинозе, существует всего три главных аффекта: радость, печаль и желание. Желание — это то же, что и влечение. Только дано оно вместе с сознанием. В желании суть человека. Желание может проистекать из удовольствия, а также из неудовольствия. Сила первого состоит из двух сил: внутренней и внешней. Сила второго — только из внутренней. Поэтому первое сильнее второго. И поэтому человек не соблюдает предписания

¹⁵⁹ Спиноза. Этика. С. 162.



разума. Видит лучшее, делает худшее, ибо «человек, подверженный аффектам, уже не владеет самим собой»¹⁶⁰.

Что может противостоять аффекту

Аффекту может противостоять только более сильный аффект. Поскольку разум ограничить аффекты не в состоянии, поскольку их ограничивает угроза наказания со стороны общества. Законы тверды не посредством разума, но путем угроз.

Познание объекта в его необходимости также дает власть над аффектом. Например, если ты потерял что-то, то ты расстраиваешься. А если ты понимаешь, что не мог не потерять, то успокаиваешься. Оттого, что случается необходимо, люди менее всего волнуются.

Другим способом уклонения от аффектов является равнодушие. Так как ничто в природе не создавалось для удобств человека, лучше всего исполнять свой долг и познавать необходимость. Не свободная воля, а правильный образ жизни умеряет аффекты.

У Спинозы Бог бесстрастен. У него нет аффектов. Он никого не любит, не ненавидит. Кто сам любит Бога, тот не может желать, чтобы Бог любил его. Кроме познания, ничто не вечно на земле.

Человек без аффектов

В антропологии Спинозы допустима идея человека, лишённого аффектов. Страсти Спиноза рассматривает в перспективе бесконечного познания. В аксиоме порядка он сформулирует мысль, которая сделает невозможной антропологию абсурда и тем самым надолго введет в заблуждение философскую мысль. Эта аксиома звучит так: «Если в одном и том же субъекте возбуждается два противоположных действия, то или в обоих из них, либо только в одном необходимо должно происходить изменение до тех пор, пока они не перестанут быть противоположными»¹⁶¹. Тем самым Спиноза превращает человека в существо разумное, но не мыслящее, открывая в нем машину желаний.

5

10

15

20

25

30



¹⁶⁰ Спиноза. Этика. С. 235.

¹⁶¹ Там же. С. 317.

Глава XI

Модусы антропологии

Краткое содержание главы

1. Всякая мысль есть движение языка. Замена знака знаком, в которой происходит отталкивание от содержания и падение в пустоту. Но не всякое движение языка есть мысль. Движение знаков может происходить и безотносительно к мысли. Движение можно понимать как метафору. Как перенос значений. Поэтому в метафоре мысль у себя дома. Без движения языка мысль — это замысел.

2. Если бы в языке не было пустых слов, пустых смыслов и пустых значений, то не было бы и переноса значений. Не было бы метафор. И тогда у каждой вещи было бы имя. И мир был бы полностью означен. И появился бы язык с полным набором имен. Но на этом языке невозможно было бы мыслить. На нем можно было бы говорить, но ничего нельзя было бы сказать. Это был бы язык эмоций.

3. Язык появился не для выражения мысли, а для выражения эмоций. Мысль нуждается в перемене знаков. Эмоции любят их постоянство. Язык структурированный эмоциями и чувствами, это просто фонема. Чтобы язык был приспособлен к мысли, в нем нужно поселить пустоту. Нехватку имен. Человек, который создает в языке пустоту, называет себя философом. А его язык становится философским.

4. Мир чувства неплодотворно содержателен. В нем сколько чувств, столько и объектов. Для того чтобы не быть обманутым в этом мире, в нем нужно воздерживаться от всяких знаков. Язык с полным набором имен допускает только тавтологические мысли. Тавтологии не ведут к истине. Но они и не обманывают.

5. В речи философа тавтологии плодотворно содержательны. И одновременно абсолютно пусты. Они не допускают переноса значений и поэтому предстают как повторение одного и того же. Монотонное повторение ничего, кроме скуки, не прибавляет. И в этом смысле оно может быть нулевым. Так как движение языка не сопровождается переносом значений. Тавтология является отправной точкой мысли, пустым завершением именования. Из множества дискурсов философия выбирает нулевой дискурс, ибо нуль ближе всего к истоку мысли, и одновременно он ближе всего к истоку чувства.

Философ — это человек, у которого есть свой язык. Человек, которого нельзя понять, в языке которого можно лишь раствориться.



6. С нулевого дискурса начинается движение философской мысли. Ноль отсылает к самому себе. Себя обозначает. В нулевом дискурсе то, о чем говорится, и то, чем говорится, неразличимы. Но именно поэтому в пространстве нулевого дискурса можно говорить о самих вещах в терминах очевидного. И нельзя говорить о языке говорения. Нулевой дискурс реализуется в разговоре с самим собой, задавая момент нулевой коммуникации. В этот момент свернуты как план указания, так и планы выражения и обозначения. Неозначенное нулевой коммуникации показывает себя в образе, в картине, а не в слове, не в абстракции. Любая точка содержания может быть точкой отсчета мысли. Любая, но одна.

В нуле приостанавливается рассуждение о возможности и реальности. И ноль уже не определяет все остальное посредством самого себя. В нем ничто переходит границу и уничтожает бытие, делая возможным невозможное. Ведь ноль — это то, чего нет, и одновременно то, что есть как обозначенное словом «ноль». Свести к нулю как точке отсчета — значит заставить ветвиться существование, раздвоить его, полагая ноль в качестве чего-то третьего, и при помощи двойного отрицания опустошить и то, и это. Нулевой дискурс нарушает линейность, он дает шанс выжить тому, что причинной последовательностью не предусмотрено.

У нуля нет собственного бытия. Нулевые состояния ограничивают бытие того, что может быть само по себе. В составе нуля нет в себе и для себя бытия. Следовательно, ноль может быть точкой отсчета изменения и бытия, и языка. Он может быть везде. Бытие бывает не везде. В нуле получают опыт становления, а не опыт бытия.

7. Движение языка может быть направлено к нулю либо от нуля. В любом случае пустота тавтологии уступает место метонимии. Движению, которое начинается или в пустоте тавтологии, или в пустоте бессмысленности.

Ноль — точка остановки. Переход за ноль выступает как метафора. Как жест. Человек всегда находится в пространстве жеста, в процессе перехода непреходимой границы.

Новая антропология начинает изучение человека с жеста, с отрицания как того, так и этого. Следовательно, с трансгрессии нуля. В жизни человек и то, и это. Он есть как содержание. В жесте человек и не то, и не это. В жесте он открывается как невозможное. То есть он предел. Граница возможного. Например, предел возможности языка. Нечто *невыговариваемое. Несказуемое*. Немое настоящее. То, что стоит как подлежащее нулевой коммуникации. Настоящее идет и проходит. Поэтому человек — это не то, что идет от возможного к действительному. А то, что стоит. Остановилось среди наличного в качестве невозможного. Настоящее не раскладывается в последовательность знаков. В порядок ряда. Ибо в этом порядке видна условность временного, скрыться от которого можно лишь в паузе языка, в нулевой коммуникации неозначенного. Чтобы говорить о невозможном, обнаруженном в пустоте языка, язык должен выйти за свои собственные пределы.

Указующая на себя пустота — это Я. Имение места. Ни одно Я не может быть объектом, заполняющим это место. Место Я всегда пусто. Оно

5

10

15

20

25

30

35

40

45

существует как слово, обозначающее то, чего нет. Как ноль. В самоименовании Я отождествляется субъект и объект, реальность и рассказ о реальности, смысл и бессмыслица.

5 8. Перебор метафор бесконечен. Нет ни одной метафоры, которая сама по себе могла бы выступить началом мысли или ее завершением. Следовательно, выбор метафор случаен, и любая мысль может быть переосмыслена только метафорически. На одну философию отвечают другой философией, на метафору отвечают метафорой.

10 9. Поиск начальной метафоры выступает как нарушение правил именования. Как разрушение пустоты тавтологии и появление общих сущностей в виде единичных субстанций. Поиск базисной метафоры может быть завершен, если обнаружены антонимы и найден предел метафорического движения мысли. Его дно. Это дно предстает как дуальная структура, как

15 бинарность.

20 10. Выпадение из бесконечности переноса, остановка движения обесмысливают имена и смыслы. Всякая мысль оказывается побочным продуктом движения языка из пустого в бессмысленное. Или, по-русски говоря, она обнаруживается движением из пустого в порожнее. Пульсация языка между пустотой нуля и пустотой нонсенса через конечный ряд метафор и составляет язык философии.

25 11. В соответствии с четырьмя точками интенсивности философской мысли можно выделить четыре модуса антропологии, четыре способа за-секания мысли человеком о себе самом: человек как тавтология, человек как метафора, человек как антоним и человек как бессмыслица.

§ 1. Антропологическая тавтология

30 Тавтологии — это не бездомные собаки. Они по улицам не бегают. С тавтологии начинается мысль. В тавтологии человек оформлен как кукла для бога, плодотворность тавтологии основана на различии подлежащего и сказуемого. Эта различенность позволяет языку зафиксировать движение мысли безотносительно к движению языка. Ничто человеческое не

35 определяется по содержанию, ибо человек — это самодетерминирующаяся процессуальность, а не птица и не животное. Не то, что узнается по родовидовым отличиям. Человек — это человек. То, что бывает человеком, то есть что невозможно не только предсказать, но даже выразить в языке. Человек ограничен переходом к тому, что не детерминировано наличным бытием и в

40 рамках последнего мыслится как невозможность. Содержательное определение заставляет сам предел мыслить как содержание. А у любого содержания есть свой предел. С содержательной точки зрения человек не что иное, как существо с двумя ногами и без перьев. Таким его увидел Платон.

45 Но у Платона можно найти и окольное, мифологическое рассмотрение человека, которое видит в одном человеке всего полчеловека.

Невозможно содержательно объяснить человека не только в терминах причинности, но и исходя из него самого. Человек не может быть завершен



во времени. Тавтология позволяет строить мысль о человеке вне зависимости от того, пройдена содержательная бесконечность или не пройдена. Она дает точку отсчета, нуль, не мешая мыслить человека и как то, и как это, и как возможное, и как невозможное. Любое его содержание оказывается пустым местом, где человека уже нет. Череда пустых мест задается тавтологически. В тавтологическом суждении одно и то же появляется два раза. Один раз как единство, другой раз как отдельное свойство, один раз как подлежащее, другой раз как сказуемое.

Содержание — это нарушение тавтологии, а не сама тавтология. Впервые на этот факт обратили внимание киники. И устроили поиски человека. Но ищут то, что есть и одновременно то, что скрыто, недоступно. Человек был и, возможно, будет. Но его никогда нет среди наличного. И поэтому человек только именуется человеком, вопрошая о своем бытии. Если человека всегда нет, то бытие всегда есть. Если человек был и будет, то бытия никогда не было и не будет. Бытие и человек не могут встретиться. Вот это обстоятельство и является решающим как для бытия, так и для человека. Если бы они встретились, то это означало бы не здесь-бытие, а конец всех времен.

Человек именуется человеком. Роза не именуется собой розой. Ее именуется язык. Поэтому роза — это не роза, не то, что пахнет, а имя, которым именуют все что угодно. Например, женщину.

Именуемое симулирует себя именованием и существует уже как именованное. Хотя именуется то, чего нет. Именование совершает переход от тавтологии к метафоре. Вернее всякую тавтологию уже можно представить как некое именование. При этом тождественность тавтологии «Я есть Я» состоит в самоименовании. Тавтология — это не логическая ошибка, не определение через определяемое, а пустота, которая делает возможным и возможное, и невозможное. Тавтология Я является ключом ко всем тавтологиям, ибо в ней смыкается существование и язык¹⁶².

В модусе тавтологии человек обнаруживает себя как пустой объект. Как Я. Как знак без референта, который перестает отсылать к объекту, и начинает отсылать к другому знаку. Пока не обнаружится, что этот другой знак — он сам. Знаки пустого объекта приостанавливают свой бег в бесконечность и начинают отсылать к самим себе. В рефлексивности самоотсылки возникают складки симуляции. В этих складках и существует человеческое в человеке.

Я есть чистое именование места. То, что никогда ничего не прибавит и не убавит. Я как пустое место, указывающее на себя, может быть зеркалом. Это место ничем нельзя заполнить. В нем не может быть ничего содержательного. Если бы в Я появилось содержание, то мы перестали бы что-либо видеть. В пустом Я отражается весь мир. Все сущее. Кроме самого Я, ибо оно не является сущим, а только тем, что поименовано в своем существовании.

Поэтому никакое Я не узнает себя в себе. Среди существующего нет Я. На месте существования Я дыра. Пустое место невозможного. Вместо со-



¹⁶² См.: Бушмакина О.Н. Онтология постсовременного мышления. Ижевск, 1998.



держания мы видим местоимение языка, прикрывающего онтологическую воронку вглубь бытия.

5 Само по себе *Я* — это не псевдоструктура сознания. Оно вообще может быть не связанным с сознанием. Это и не пустое слово языка. Хотя оно и является пустым словом. *Я* — мировая дыра, самоименованное несуществование, онтологический ноль, в котором мышление поворачивает к себе, а бытие — к себе. В результате *Я* опустошает бытие и тем дает начало пустым событиям и смыслом. Оно опустошает язык и тем дает начало пустым словам и мыслям.

10 *Я* узнает себя как *Я* только в пустоте. И это знание удостоверено. *Я* всегда опережает цепь своих означающих, т. е. *Я* всегда находится в будущем по отношению к означенным состояниям. Попытка установить место, которое только что было, приводит к порождению цепочки таких мест. *Я* как бы убегает, скользит по цепи означающих, которые приходят туда, где оно только что было и где его уже нет.

15 Возвращаясь из бесконечности в определенном имени (личном имени), *Я* уже не обнаруживает себя на прежнем месте. Из себя самого *Я* может выбрать только себя. Оно выбирает и промахивается, указывая на то место, где оно только что было. Промах оставляет след, и этот след — слово.

20 Имя. В социуме каждому *Я* присваивается имя, которое не является актом самоименования. У каждого *Я* появляется пустое социальное имя. Псевдоним. То, что обладает квазиреальностью. Квазиреальность заполняет пустоту *Я*. Восполняет нехватку бытия социальными ролями.

25 Вообще-то *Я* как пустое место всегда анонимно. У него отсутствует имя. Для того чтобы у *Я* появилось имя, нужно разрушить тавтологию мышления. Заполнить пустоту. Перестать быть *Я*. И стать содержанием.

30 Если *Я* именуется другим, то оно входит в пространство поименованных других. Вступает в дискурс *Другого*, сводится к языку *Другого*. Ибо у него нет собственного имени. Нет собственных значений. А речь, в которой *Я* не имеет собственных значений, является пустой.

Каждый должен вернуть себе имя. Дать его себе, чтобы речь стала полной. Для этого надо совершить трансгрессию нуля и сделать невозможное единственной возможностью.

35 Для каждого *Я Другой* — это он. То, что измерено из нулевой точки *Я*. Но измерить *Другого* значит свести его к нулю. К пустому месту. Приравнять *Другого* к *Я* означает также и приблизить его. *Другой*, приближенный к *Я* — это *Ты*. Удаленный — это *Он*. Кто *Ты?* *Я*. *Ты* и *Я* совпадают. Это теперь *Мы*. Но, обращаясь к социуму, *Я* видит не себя. Оно существует как зеркало для поименованных других¹⁶³.

40 В социуме изменение места определяется как социальное положение и социальный статус. Благодаря самоименованию, *Ты* всегда не там, где *Тебя* именуют другие. От *Я* остается цепочка социальных следов — мест *Твоего* отсутствия. Очевидно то, небытие чего немислимо. А это *Я*. Озна-

¹⁶³ Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // Социо-Логос. М., 1991. Вып. I. С. 194–216.

чающее без означаемого. Я есть предел существования социума. Его ноль, несосчитанное в счете. Сосчитанные *Другие* — это и есть социум, из которого выпало Я.

§ 2. Археовангард

Археовангард заставляет философию быть голосом немолчующего в человеке, открывая в нем следы абсурда. Он исходит из понимания той простой мысли, что остров модерна всегда окружен морем архе. Поэтому любое движение за пределами наличного приводит к будущему, которое оказывается прошлым. А это значит, что язык современной философии становится языком описания архаических форм сознания, деабсурдизация которых закрепляется в тавтологии.

Антропологическая тавтология позволяет уйти от языка-диктатора. Ускользнуть от него в заросли того, что невыразимо в языке, описание чего заставляет язык выходить за свои пределы. Язык тебе навязывает себя, а ты ему подставляешь тавтологию. Борьба с языком начинается с тавтологии. В речи эта борьба определяет паузу. В тексте — интервал. В коммуникации — молчание. Пропуск. Или задержку реакции. Тавтологии позволяют ослабить давление универсалий и основанных на них суждений и заняться локальной теорией именования. Имена нуждаются в жесте и пустоте. Тогда как суждения нуждаются во всеобщем и переносе значений. Если я не использую язык, то и язык не использует меня. Ведь когда я говорю, я объективирую себя. *Другой*, используя момент, хватает меня объективированного и осмысляет. И читает меня, как книгу. А я не книга. Я не язык. Человек — не текст, предназначенный для чтения другим. Я — это то, что сверхсказано и одновременно недосказано. Я — это то, о чем язык молчит.

Молчание языка сопровождается твоим молчанием. И из этого молчания мы наблюдаем, мы смотрим друг на друга, и ждем, кто первый заговорит, кто заполнит паузу: язык или человек. Заполнение паузы не языком, а вариативным смыслом и составляет содержание новой антропологии, усыпляющей язык. Пока язык спит, говорит воображаемое, человек *косноязычит* в паузе языка.

Язык не является тем, что ближе всего к человеку. Это не дом бытия человека. Ибо в нем были и оставили следы многие. Язык — это проходной двор. В нем не живут. Им пользуются.

Никто не может быть субъектом языка. Потому что никого из нас еще не было, а он уже был. И ждал. Никто не минует его. Язык, как разбойник, поджидает каждого. И либо ты сумеешь создать свой язык, либо тебя ждут готовые значения и смыслы. Следы миллионов в языке. Но если ты создаешь свой язык, то ты создаешь барьер пониманию. И ты выходишь из модуса забвения. То есть непонимание выводит тебя из небытия и становится онтологически значимым модусом для тебя. Естественно, что люди понимают друг друга. Ведь никто не имеет своего языка. И поэтому непонятно, как возникает непонимание. И поэтому удивительно, что иногда кого-то еще нельзя понять.

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Во время паузы, в перерыв возможно появление того, что называют Бытием. Это бытие является простым. Потому что оно не сопровождается языком. Просто бытие человека дословно. В паузе языка археоавангард *засекает* воображаемое человека. Пока молчит язык, говорит что-то человеческое. Косноязычное в своей наивности. А бытие ускользает в быт, в будни повседневности, в подлинность дома, табуированную пределом допустимого, что в свою очередь меняет статус праздника, разрешающего то, что запрещено.

Если модерн полагает себя в монологии, в *метанафракциях*, а *постмодерн* — во множестве языков, то археоавангард полагает себя в паузе, в дословном, в том, что является истоком и единого, и многого, и возможного, и невозможного. Пауза — это то, что делает человека проблематичным.

Всякая философия — это встреча с дословным и попытка дать слово дословному. Поэтому философскую антропологию нужно строить в терминах археоавангарда. Для этого нужно отказаться от *метанафракций*. От того, что делает антропологию легитимной, т. е. она еще ничего не сказала, а несказанное ею уже оправдано. Признано. Археоавангард не накладывает запрет на другие дискурсы. Все, что я говорю, заранее допускает все, что говорилось и будет говориться о человеке. Все это можно назвать ситуацией совместимости, или абсолютного безразличия ко времени.

Если мы стремимся к суждениям, которые ничего не прибавляют и ничего не отнимают, то это значит, что археоавангард строит антропологию нулевого дискурса. Только в пространстве нуля нельзя обмануть и быть обманутым. Нулевому дискурсу не надо вступать в соревнование с другими дискурсами. Ему нет надобности искать согласия. Ибо ты никому не противоречишь. Археоавангардной антропологии безразлично как принуждение к истине, так и разногласия всех возможных истин. Эта мысль содержится в понимании ноля авангардистами. Например, Туфановым:

«А ноль божественное дело,
Ноль — числовое колесо.
Ноль — это дух и это тело,
Вода, и лодка, и число».

Когда ты используешь содержательный язык, то язык использует тебя как содержание. И поэтому язык — это кровожадный диктатор. Он все время навязывает себя, ставит тебя в зависимость от себя, ибо ты у него что-то берешь займы и возвращаешь с процентами.

Археоавангард порывает с языковыми содержаниями. Молчание-пауза смещает нас от языка к воображаемому, от тавтологии к пустоте.

§ 3. Пустота

Пустота — это условие для того, чтобы что-то сдвинулось, сместилось или случилось. То есть пустота узнается по сдвигу. По смещению. Она этим смещением держится. Пустота впускает, а значит допускает, делает возможным, дает место.

Пустота не заполнена причинами. Это мир заполнен причинами. То есть пустота — это не вещь, принадлежащая миру, не отсутствие вещи, а



пафос мира, место симуляции, причины в котором появятся потом, вторым шагом. Вместе с языком. А пустота — это первое произведение, заполняемое воображаемым. В нем ты свободно делаешь то, что иным образом сделать *нельзя*. Если бы ты мог делать иначе, то делал бы, а не воображал. В каждом акте свободы есть пафос пустоты. Благодаря этому пафосу мира, или пустоте, возможна антропологическая свобода. Возможен человек. То есть пустота обладает антропологически креативной силой.

Свобода — это всегда что-то пустое. Это нетелесный эффект взаимодействия вещей. Некое незанятое место. Экологическая ниша. Пустое трактуется как незанятое, а незанятое — как свободное. Свободное же проявляется двусмысленно: на одной стороне как незанятое, а на другой — как готовность занять незанятое. Вот эта двойственность и накладывает запрет на то, чтобы антропологическая пустота понималась как простое отсутствие человека. Человек есть как пафос человека, как то, что может находиться в состояниях, для которых нет причин. Ибо нет причин для того, чтобы были люди. Если бы причины были, то люди были бы реалистами. А поскольку их нет, постольку они могут быть аутистами. И пустота — условие такого бытия. А это значит, что нет никаких внеантропологических гарантий для существования человека. И следовательно, смысл человека в бесконечной множественности интерпретаций своего смысла.

В антропологии пустота, задаваемая тавтологиями, может пониматься как пространство возможных встреч с самим собой, как пустое желание человека стать полным. Нельзя заполнить пустоту, не отказавшись от встречи с самим собой. Только пустота возвращает тебя к себе. И ты узнаешь себя и говоришь — это Я.

Пустота — онтологическое зеркало человека. То, что манит и заманивает возможностью увидеть себя, бросить на себя взгляд и выдержать его. Пустота составляет горизонт бытия человека. К самому себе ведет не жизнь, заполненная событиями и смыслами, а опустошение жизни. Смыивание преград на пути к себе.

В пустоте находится экзистенциальный центр, то, откуда мы выходим и куда возвращаемся. И это естественно. Пульсирующие ритмы опустошения заставляют тебя помнить о себе, о том, что ты есть. Неестественно выйти из экзистенциального центра и не вернуться к нему. То есть забыть себя. Свое имя. Пустое нельзя означить сцеплениями фонем. Ибо означить — значит заполнить пустоту. Не дело семиотики знакомить с результатами опустошения. Это дело нулевой коммуникации с самим собой. Например, дело Иова и Немоты его неозначенного. Бог создал человека и пустоту как его зеркало. Но Он забыл дать ему язык. Человек создал язык и закрыл зеркало. Бог — в человеке. Человек — в языке. А между ними пустота, за которую нужно платить словом. Означенным.

Ничто внутреннее не дано помимо языка, кроме данности внутреннего самому себе. Изнутри пустое понимается как то, что находится в модусе теперь, когда уже все случилось. И одновременно как то, что помещено в момент, когда еще только все начинается. Бытие человека существует в режиме ускользания. А если бытие ускользает, то остается временное. Преходящее. И в этом смысле условное. Во времени обнаруживаются следы





слова. По следам слова никуда нельзя прийти в силу ускользания бытия. Временному как условному противостоит дословное. Слово расколело бытие. И ум теперь на пути к безумию. Спасти ум от безумия может заумь неозначенного нулевой коммуникации.

5 В русском языке «пустой» человек представляется как человек поверхностный. Взаблудный. Пуст тот, у кого одни слова и ничего нет за душой. Человек, открыв слово, освобождает себя от мира. От вещей самих по себе.

«Слово по сути своей всегда пребывает словом, и только ради нас делается как бы плотью и плотски ведет свои разговоры до тех пор, пока тот, кто понимает его в таком виде, постепенно не поднимается словом выше и не оказывается, наконец, в состоянии... созерцать начальный и высочайший его образ». Слово нам нужно для того, чтобы привести к образу, который нуждается не в слове, а в созерцании. В словах Оригена указывается на ловушку для простаков. Тавтология слишком высока, ее заменили метафорой. Христос — это живая метафора, которая увлекает и ведет к начальному образу. От образа — к первообразу, который тавтологичен. И в этом смысле неозначен. Говорят не слова, а образ. Когда говорят слова, мы не понимаем. «И лишь молчание понятно говорит», — заметил Жуковский, учитель Киреевского.

20 Пустота делает возможным существование разрывов, разломов, следов и проколов в сплошности бытия.

§ 4. Виртуальность реальности

25 Всякое Я оказывается удостоверенной воронкой бытия. Проколом. Тем местом, в котором исчезает реальность. Все, что имеет статус реальности, исчезает в пустом Я и вновь появляется на другой стороне прокола как виртуальная реальность. В модусе пустого Я реальность существует как симулякр, как беспредметный образ. Виртуальность помещает в себя в рассказ о себе. Единственная реальность, представленная в образе, — это реальность самого образа. Ничто более не существует само по себе. А само по себе всегда существовало Бытие. Если нет бытия самого по себе, то нет оснований и для того, чтобы была онтология как матрица описания бытия.

30 Виртуальная реальность выходит за пределы субъективной реальности. Ибо субъективная реальность — это реальность, относительно которой ты определен как субъект. А виртуальная реальность появляется в момент утраты реальности самой по себе. В том числе и реальности субъекта. Она появляется в момент антропологического сна, как расширение не чтойности, а того, что между «что». Предметность обволакивается материей промежуточного и растворяется в нем, поглощая вместе с собой и субъектность человека. Все что реально, возможно. А то, что возможно, сопричастно реальному. Виртуальность — это не возможность реального, не потенция наличного. Это актуализация невозможного. Человек, как аутист, проявляет себя не в том, чтобы реализовать возможное, а в том, чтобы актуализировать виртуальное. Например, самость не возможна, а виртуальна. Поэтому ее нельзя реализовать.

40 Ее можно актуализировать благодаря импульсу собственной актуализации аутиста. В результате самость актуализируется как жест, отменяющий реальное вместе с набором его потенций.

45

§ 5. Модус расширения природы

В модусе тавтологии обнулению подлежит прежде всего физическая природа человека. Следовательно, отсутствие человека не равно присутствию обезьяны, ибо человеческое объясняется человеческим. В пустоте ноля невозможность наделяется даром единственной возможности бытия человека, которое не зависит от случайных свойств его тела.

В модусе расширения природы человек существует как нетелесный эффект взаимодействия тел, как то, что нуждается в зеркале, в точке поворота к самому себе. Взаимными отражениями зеркал культуры создается символический человек. Человек без свойств, без тела и даже без органов.

Из того факта, что человек есть в один момент времени, никак не следует, что он будет и в другой момент времени. Значит должна быть сила, поддерживающая его непрерывное существование. Сама эта непрерывность понимается в виде цепочки символических порождающих актов, следуя которым человеку всякий раз заново необходимо определять в себе что-то человеческое, т. е. трансгрессировать.

§ 6. Трансгрессия тавтологии

Тавтология перестает быть простой риторической фигурой или логической ошибкой. Тавтология репрезентируется нулем и идентичностью. Алогичность тавтологии состоит в том, что она допускает игру языка в различении подлежащего и сказуемого. Ведь если А — сказуемое, то есть что-то высказывает об А подлежащем, то в качестве сказуемого оно ничем не отличается от любого другого сказуемого. И в этом смысле А может быть заменено на В, и тогда мы будем иметь уже не А есть А, а А есть В. Игра, скрытая внутри тавтологии, обнаруживает метафору как невозможность, к которой трансгрессирует тавтология. Трансгрессия — это не экстаз, не трансцендирование к истине высшего порядка. Это пересечение границы наличного, за которой нас ждет не подлинное, а реальное.

§ 7. Антропология метафоры

Перенос имен субъектов и объектов возможен в пустоте. Метафора боится пустоты и старается заполнить нехватку имен.

Когда язык обращается к себе и не обнаруживает в себе имени, тогда он создает его совмещением, переносом. Метафора — это значение. А значение есть у слова.

Именованье — это заполнение пустого. Схлопывание пустоты в метафоре, в соединении двух имен. Поэтому конфигурация любой метафоры двоится, мерцает, подмигивает.

Имен может быть бесконечно много. И одно имя ограничивает другое, указывает на его предел. И тем самым оно его опустошает. Ибо на пределе все сущее перестает быть тем, что оно есть.

Человек благодаря имени не есть то, что он есть. Если бы он был тем, что он есть, то он был бы возможен. Но невозможность его бытия заставляет его симулировать себя. Поэтому, чтобы содержательное мы не узнали о чело-





веке, это знание будет только метафорой, ряд которых бесконечен. Поэтому понимание человека не может быть завершено в ряду метафор. В непрерывном движении метафор происходит забвение симуляционной, нулевой точки отсчета. В метафоре отворачиваются от зауми неозначенной нулевой коммуникации, от онтологического зеркала, от самоименованного Я.

Именованное пустое место растворяется в операции по конъюнктивному заглазыванию бесконечных содержаний. Что ведет к распаду плодотворной тавтологии. Я не узнает себя, лишаясь имени, существуя анонимно как содержание метафоры. Человек становится коллажем культуры, а затем и культурным бриколажем. Антропологизация метафоры выдвигает на первый план бытия человека непонимание, отказываясь от идеи о том, что мало-помалу непонимание уступит место пониманию.

Метафора показывает человеку не его самого, а его следы, заставляя человека искать самого себя в модусе ускользающего «что». Человек, который идет к себе по своим следам, никогда к себе не придет. Пока человек становится человеком, он не существует. Ибо то, что существует, не становится.

Если человек идет к себе, ищет себя и свое место, значит у него нет дома. И он никогда не есть то, что он есть. Бездомность человека заставляет его быть в движении, кочевать. Для него идти — значит падать в пустоту неструктурированного пространства. Падение является условием движения, цель которого неясна. Становиться собой означает ризомное движение, бег на месте, некий холостой ход, избавляющий тебя от действия по правилам социальной дифференциации пространства. Личность бездомна. Она не играет в социальные шахматы.

Человек оседлый не идет к себе. И поэтому он не падает, а, укоренившись, стоит в отчаянии. Пока он стоит в отчаянии, он настоящий, а не временный, кто идет к себе, тот уходит от себя. Каждому нужно всего лишь установиться. Стать стоящим в настоящем, чтобы быть в несимулятивном пространстве дома. Стоять в настоящем — значит воображать. Говорить — значит скользить по времени.

В модусе ускользающего «что» одно случайное содержание метафоры заменяется другим. Существование оказывается без сущности, без «что». На месте «что» образуется пустота. Прокол. И эта пустота, чередование проколов определяют порядок существования Я во времени, опустошая его. В результате действия неполноты образуется коммуникативная складка антропологии. Разговор децентрированных содержаний.

В погоне за метафорой, уводящей в бесконечность, Я оставляет только один путь к себе: структурность языка. Вне языка никакого Я не существует.

Язык описывает, создает и разрушает описываемое, совмещая внутреннее с внешним. Из-за языка разговор с самим собой становится невозможен.

Внутренний мир человека оказывается миром слова. А слова в силу невозможности окончательного переноса значений обнаруживают свою пустоту. Пустые слова опустошают внутренний мир, извлекают его на поверхность и редуцируют к обмену знаками в коммуникации с другим. На глубине остается молчание, на поверхности — пустые слова.

Метафорическое движение знаков мысли не оставляет места словам-утешениям потому, что слова-утешения находятся в неозначенной нулевой коммуникации, которая дает о себе знать в языке тела, а не в языке слов. Укорененное утешает. Номадическое обменивается знаками.

Антропологическая конфигурация номады выдавливает внутренний мир вовне. Приравнивая его к слову, к тому, что задается словами. И только в этой конфигурации человек может пониматься как язык, что позволяет анализировать его извне.

Перенос значений ведет к коммуникативному разрыву между поверхностью и глубиной, между языком и воображаемым, номадическим и укоренным. Пока человек воображает, он находится за пределами языка.

Метафора, лишая тавтологию привилегии быть точкой отсчета, полагает себя как начало. Но это начало не равно нулю. И поэтому оно должно быть сосчитано в счете, чтобы дать возможность воображению начать с самого себя и собой заполнить пустоту начала.

Конфигурация метафоры полагает только переход от метафоры к метафоре. Содержательно метафора случайна и может ветвиться в любом месте текста. В антропологии метафоры все содержания маргинальны. В ней нет оснований для метанарраций, для главной метафоры.

Любая метафора существует как трансгрессия нуля. Переход за ноль. *Пробегание* точки поворота. Метафорическая мысль не рефлексивна. Она забывает остановиться и обернуться, совершить поворот к самой себе. Рефлекс сидит всегда в точке нуля. И потому он не забывает обернуться.

Наличие двух противоположных имен завершает цепочку метафор. И, следовательно, завершает формирование смысла. А заверченный смысл — это пустой смысл.

В метафорической конфигурации смысл находится всегда между знаками, его выражающими. И поэтому его никогда нет там, где его ищут. В означенном. Он всегда уже не здесь. Уже ускользнул от одного знака к другому.

Содержательно мышление начинает и заканчивает метафорой. В метафоре оно у себя дома. *Это* мышление полагает предел как случайное содержание.

Абсолютный предел полагается в *Я*. На этом пределе происходит опустошение всех смыслов. Но *Я*, как абсолютный предел, задается на уровне тавтологии.

Если абсолютный наблюдатель находится вне системы наблюдения, а трансцендентальный — на пределе системы, то имманентный находится внутри системы, но как пустое место. В дискурсе абсолютного наблюдателя мир может быть замещен наблюдением наблюдателя за самим собой, которое понимается как наблюдение за миром. Трансцендентальное описание мира — это описание чистых значений. Имманентный наблюдатель соощен с неозначенностью нулевых коммуникаций.

Нелинейно ветвящаяся метафора опутывает сознание, заставляя его забывать об истоке и цели своего движения. Антонимы обуздывают игру метафор, придавая им однонаправленный линейный характер.





§ 8. Антоним

Ризома метафоры доопределяет, ничего не определяя. Она превращает язык в бесконечное множество перекрестков, в лабиринт, выпутаться из которого помогает антоним. В пространстве антонимов налагается запрет на употребление связки «есть». Например, внешнее может быть чем угодно, но оно не может быть внутренним. В антониме сад ветвящихся тропок перестает ветвиться и в нем отчетливо проступают разделительные линии дизъюнкции. Благодаря этим линиям объект, например, остается по одну линию, а субъект — по другую. И вместе им уже не сойтись. Принцип бинарности организует мыслительное пространство, освоенное классическим рационализмом.

В антониме останавливается бег метафоры в бесконечность. Обнаруживается дно. Предел. Базисная метафора. На уровне антонимов происходит оседание смыслов. Создается язык готовых значений. Если бы человек мыслился бинарно, то его можно было бы поместить в пространство классической рациональности. Но у человека нет антонима. На эту роль не подходит ни обезьяна, ни ангелы, ни бесы. Поэтому человек должен мыслиться в терминах неклассической рациональности, как то, что требует бесконечного доопределения. Человек сбывается в языке, если теряет право на свое мышление.

Попытка помыслить человека в бинарных структурах обнаруживает лишь то, что место человека всегда пусто. А значит и место истины всегда пусто. И своей пустотой она взывает к тем, кто мог бы лишить эту пустоту пустынности. Заполняя образовавшуюся пустоту, человека можно помыслить как вещь среди других вещей. В этом модусе возникает позитивный шов антропологической реальности и становится возможным научный способ представления человека. У человека обнаруживаются свойства и тело как носитель этих свойств. Избегая пустоты, человек начинает описывать себя в терминах: «вещь — свойство — отношение». Предполагается, что в каждый момент времени человек представлен всеми своими качествами. Их конечное множество нужно только обнаружить, выявить. Для этого используется сила движения метафор, язык готовых смыслов и значений.

Над антропологическими категориями вещного ряда надстраивается системный ряд и процессуальный.

Бинарное мышление требует третьего — границу. Предел, на котором то, что есть, перестает быть тем, что оно есть. Например, бытие и сознание противоположны, но бытие не граница сознания. А это значит, что они не трансцендентальны, что одна часть этой пары не восходит к трансцендентному, а другая не опускается в грязный мир фактического. Сырое противоположно по отношению к вареному в естественной установке, а не трансцендентальной. А бытие и небытие трансцендентальны. Предельны по отношению друг к другу.

Сила дуальных структур мысли состоит в том, что они определяют, а не доопределяют. В них ясно виден смысл и его объективное содержание. Но эта ясность достигается за счет неравенства разных сторон антонима. Одна из них доминирует над другой. Например, высокое всегда превосходит низ-

кое, а красота семантически угнетает безобразное. И есть в этом угнетении какая-то прелесть, но поскольку непонятно, является ли человек в бинарной системе угнетателем или же он просто угнетенный, постольку от бинарных структур приходится отказываться. Одним из возможных способов разрушения бинарных структур является использование связки «есть» в пространстве антонимов. Антонимы можно связать тождеством и получить противоречие. Так делал Шеллинг. Он отождествлял совершенное и несовершенное. Добро и зло. Свободу и необходимость. Ум и глупость.

Ибо несовершенное существует не благодаря тому, что делает его несовершенным, а лишь благодаря содержащемуся в нем совершенству. Равно как и зло. Само по себе оно бессмысленно. Оно не в состоянии существовать само через себя. И поэтому то, что есть в нем сущее, есть добро. А значит и Бог принимает участие в деле зла.

В отождествлении антонимов возникает предельный смысл. Смысл, за которым нет отсыла к другому смыслу. Ибо предельный смысл — это пустой смысл, а пустота не требует пересмотра.

Пустой смысл — это граница. То, где все заканчивается. Это конец концов. Поверхность. Кожа мысли и вещей. Предел антонимов — нонсенс, в хаосе которого рождаются как новые, так и невозможные порядки. Иными словами, есть вещи, которые появляются со временем. Как зубы у детей. И есть вещи, которые игнорируют время и естественный порядок. Если они случаются, то как чудо. То есть неестественно, без оснований.

§ 9. Антропология нонсенса

Полнота всякого существования человека завершается бессмыслицей. Невозможностью дальнейшего существования.

В пространстве нонсенса человек меняет кожу. Его действие отделяется от понимания, открывая эффективность движения в пространстве непонимания. Обладая импульсом собственной актуализации, существование пребывает само по себе в его дословной несовместимости, очевидности. Одно дело пребывать в хаосе, пересекая границы наличного, и другое дело говорить о хаосе, полагая, что язык сам без тебя удержит в себе парадокс, создавая смеси сказанного и несказанного, мыслимого и немислимого. Но хаос ставит под сомнение возможность языка что-либо различать. И следовательно, в хаосе мы вываливаемся за пределы языка в пространство эмоций и жеста. Нонсенс заставляет отказываться от языка готовых смыслов и значений. Этот отказ делает необходимым изобретение новых смыслов, переводя ранее существующие смыслы во взвешенное состояние.

Шагом в бессмыслицу рождаются смыслы, но потом, вторым шагом. Но уже на уровне метафор и антонимов. Если не делать второй шаг, то не успешие осесть смыслы смогут образовать патовое пространство действий.

В модусе нонсенса человек существует как музыкальное произведение, то есть в момент исполнения самого себя. Когда первые такты сыграны и уже не звучат, а ты только начинаешь слышать то, что не звучит, и то, что еще только будет звучать. Слышать целое музыкального произведения. На пределе человек бытийствует исполнением своего собственного бытия,





как то, что самим собой всякий раз заново начинает новый ряд событий, доопределяется. Для того чтобы человек стал тем, что он есть, требуется мистерия рождения всякий раз заново. Эта практика образует мистериальную складку антропологической реальности, ее немую речь.

5

§ 10. Немая речь (говорящая дословность)

10

Ничто не вынуждает нас говорить, хотя все говорят, не слушая друг друга. Среди говорящих появляется автор. Автор — говорящая дословность. Он есть то, что он есть путем говорения. Но сам он вне речи, как ее причина и ее целое. Речь без внешней причины речи оказывается немой. Редукция субъект-объектной дуальности обнаруживает немую речь. Немая речь — это бытие, говорящее о бытии.

15

Вещи, которые сами собой говорят, являются источником красноречия. Одновременно они умеют красноречиво молчать. То, что мы видим в них, есть понимание того, что видим. В неозначенном немой речи мысль и предмет мысли одно и то же. Тогда же как в рефлексивном сознании — это разные предметы. Немая речь вещей заполняет быт.

20

В немой речи есть слова, говорящие о том, для чего нет слова. То, что мы не можем сказать, и есть бытие, говорящее о бытии дословно. Никому не дано знать то, что ему удалось сказать. Немая речь не допускает в себя рефлексии над собой. Она проявляет свою целомудренность в момент, когда ты хочешь прояснить основания того места, которое ты уже занимаешь. Всякая речь речится на фоне невысказанного.

Заключение

Реальное внимает инстинкту, силе и власти. Воображаемое вовлекает человека в иллюзорное пространство и делает его частью этого пространства. В иллюзорном состоянии сознание человека наиболее управляемо, ибо оно напоминает сознание зрителя, который смотрит восхитивший его фильм. Воображаемое внушает, репрессируя реальное. Непостижимость 5 воображаемого постигается через постижение его непостижимости.

Символическое соблазняет игрой видимости, игрой пустых знаков, ничтожность которых пузырится под спудом слов и смыслов. Воображаемое существует, если о нем не говорят. Символическое пробегает по цепочке означающих, но так, что пустота смысла бежит быстрее смыслов. 10 Символическое господствует над речью. Воображаемое — над чувством. Симуляция символического репрессирует воображаемое, превращая Я в фильтр чувств, мыслей и желаний. Я желает все, кроме себя. До Я нет желания Я, ибо нет Я. После Я оно желает все, кроме себя. Лишь опустошив все желаемое, на пределе, Я поворачивает к себе и желает только себя. 15 Оно ищет свое имя в языке и не находит его. Я имеет имя только в процессе самоименования. Но Другой опережает Я, именуя его. У Я появляется имя, данное Другим. Это псевдоимя. Пустое имя. Я входит в поименованное пространство Других. Его речь сводится к речи Другого. В ней нет собственных значений. Это пустая речь. Я, желая вернуть себе собственную 20 речь, идет туда, где оно только что было. Идет и всегда запаздывает. Оно встречает не себя, а свои следы. И тогда оно именует себя как то, чего нет. Самоименование позволяет Я предоставить себя «уже-понимающую» воображаемого, заполняющего пустоты символического порядка Я. Что позволяет Я иметь собственный язык, говорить своей речью. 25

Литература

1. *Абрамова Н.Т.* Несловесное мышление. М., 2002.
2. *Ажеж К.* Человек говорящий. М., 2004.
3. *Александр Ф.* Психосоматическая медицина. М., 2002.
4. *Андреанов М.С.* Невербальная коммуникация // Вопросы психологии. № 6. 1999.
5. *Апресян Ю.Д.* Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. 1995. № 1. С. 37–67.
6. *Арутюнова Н.Д.* Язык и мир человека. М., 1999.
7. *Аскольдов С.* Сознание как целое. М., 1918.
8. *Батищев Г.С.* Философия творчества. СПб., 1998.
9. *Бауэр М.* Психическое развитие младенца. М., 1985.
10. *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М., 1986.
11. *Бахтин М.М.* К философии поступка // Бахтин М.М. От философии поступка к риторике поступка. М., 1996.
12. *Белянин В.П.* Психолингвистические аспекты художественного текста. М., 1988.
13. *Белянин В.П.* Введение в психиатрическое литературоведение. Мюнхен, 1996.
14. *Бергер А.Г.* Эпистемология искусства. М., 1997.
15. *Бернс Р.* Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986.
16. *Бибихин В.В.* Слово и событие. М., 2004.
17. *Блумфилд Л.* Язык. М., 1968.
18. *Бодуэн де Куртене.* Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963.
19. *Боно Э. де.* Латеральное мышление. М., 1997.
20. *Бородай Ю.М.* Эротика — смерть — табу: трагедия человеческого сознания. М., 1996.
21. *Бунак В.* Речь и интеллект, стадии их развития в антропогенезе // Ископаемые гоминиды и происхождение человека. М., 1966.
22. *Бурдые П.* Практический смысл. М., 2001.
23. *Валлон А.* От действия к мысли. М., 1956.
24. *Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание. М., 1996.
25. *Вейдле В.* Умирание искусства. СПб., 1996.
26. *Вертгеймер М.* Продуктивное мышление. М., 1987.
27. *Волконский С.* Выразительный человек. СПб., 1913.
28. *Вygотский Л.С.* Избранные психологические исследования. М., 1956.

29. *Выготский А.С.* Мышление и речь // Выготский А.С. Собр. соч. Т. 2. М., 1982.
30. *Выготский А.С.* Эмоции и их развитие в детском возрасте // Выготский А.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М., 1982.
31. *Выготский А.С.* Психология искусства. М., 2001.
32. *Гак В.Г.* Языковые преобразования. М., 1998.
33. *Гальперин П.Я.* Лекции по психологии. М., 2002.
34. *Гаспаров Б.М.* Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996.
35. *Горелов И.Н.* Невербальные компоненты коммуникации. М., 1981.
36. *Горелов И.Н., Седов К.Ф.* Основы психолингвистики. М., 1997.
37. *Григорьева С.Л.* Словарь языка русских жестов. М., 2001.
38. *Гринберг Дж.* Введение в антропологическую лингвистику. М., 2004.
39. *Деррида Ж.* О грамматологии. М., 2000.
40. *Джемс Ч.* Основы психологии. М., 1902.
41. *Дридзе Т.М.* Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. М., 1984.
42. *Дубровский Д.И.* Проблема идеального. М., 1993.
43. *Жинкин Н.И.* Механизмы речи. М., 1958.
44. *Жинкин Н.И.* Грамматика и смысл // Язык и человек. М., 1970.
45. *Залевская А.* Введение в психолингвистику. М., 1999.
46. *Зимовец С.* Клиническая антропология. М., 2003.
47. *Иванеев В.В.* Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 1999.
48. *Ильенков Э.В.* К вопросу о природе мышления (На материалах анализа нем. клас. диалектики). М., 1968.
49. *Каменская О.А.* Текст и коммуникация. М., 1990.
50. *Каплан Г., Сэдок Б.* Клиническая психиатрия. М., 1994.
51. *Караулов Ю.Н.* Русский язык и языковая личность. М., 1987.
52. *Караулов Ю.Н.* Что же такое языковая личность // Этническое и языковое самосознание. М., 1995.
53. *Козлова Н.Н.* Горизонты повседневности советской эпохи. М., 1996.
54. *Коул М.* Культурно-историческая психология. М., 1997.
55. Книга о книге. М., 1927.
56. *Крейдлин Г.* Невербальная семиотика. М., 2002.
57. *Кубрякова Е.С.* Эволюция лингвистических идей // Структурная и прикладная лингвистика. Вып. 5. СПб., 1998.
58. *Ланге Г.К.* Душевные движения. М., 1896.
59. *Леви-Брюль А.* Первобытное мышление. М., 1930.
60. *Леви-Стросс К.* Первобытное мышление. М., 1994.
61. *Леонтьев А.А.* Основы психолингвистики. М., 1994.
62. *Леонтьев А.А.* Проблемы глоттогенеза в современной науке // Энгельс и языкознание. М., 1984.
63. *Леонтьев А.А.* Язык, речь, речевая деятельность. М., 2003.
64. *Леонтьев А.Н.* Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
65. *Леонтьев А.Н.* Философия психологии. М., 1994.
66. Логический анализ языка. М., 1999.





67. *Лотман Ю.М.* Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М., 1996.
68. *Лотман Ю.М.* Культура и взрыв. М., 1992.
69. *Лотман Ю.М.* Семиосфера. М., 2001.
70. *Лотман Ю.М.* Семиотика кино и проблемы киноэстетики // *Лотман Ю.М.* Об искусстве. СПб., 1998.
71. *Лоуэн А.* Предательство тела. М., 1999.
72. *Лурия А.Р.* Речь и мышление. М., 1975.
73. *Лурия А.Р.* Язык и сознание. М., 1979.
74. *Мамардашвили М.К.* Как я понимаю философию. М., 1993.
75. *Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М.* Символ и сознание. М., 1999.
76. *Марр Н.Я.* К вопросу о первобытном мышлении. Вестник коммунистической академии. Кн. XVI. Л., 1926.
77. *Марр Н.Я.* Язык и мышление. Л., 1932.
78. *Марр Н.Я.* Язык и письмо. Т. VI. Вып. 6. Л., 1932.
79. *Марр Н.Я.* Яфетидология. М., 2002.
80. *Мещеряков А.Н.* Слепоглухонемые дети. М., 1974.
81. *Московичи С.* Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М., 1998.
82. *Павленко А.Н.* Бытие у своего порога. М., 1997.
83. *Пиаже Ж.* Речь и мышление ребенка. М., 1994.
84. *Пинкер С.* Язык как инстинкт. М., 2004.
85. *Пирс Ч.С.* Логические основания теории знаков. СПб., 2000.
86. *Пирс Дж.* Символы, сигналы, шумы. М., 1967.
87. *Подорога В.А.* Феноменология тела. М., 1995.
88. *Поршнев Б.Ф.* О начале человеческой истории. М., 1974.
89. *Потебня А.А.* Мысль и язык // *Потебня А.А.* Слово и миф. М., 1989.
90. *Потебня А.А.* Мысль и язык. Харьков, 1925.
91. Психология тела. М., 1997.
92. Психология эмоций. М., 1984.
93. *Розенцвиг-Хюсси О.* Речь и действительность. М., 1994.
94. *Сартр Ж.-П.* Воображение // *Логос.* 1992. № 3.
95. Семиотика. М., 1983.
96. *Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
97. *Соколов А.Н.* Внутренняя речь и мышление. М., 1968.
98. *Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. М., 1993.
99. *Спивак Д.П.* Язык при измененных состояниях сознания. Л., 1989.
100. *Спиноза Б.* Этика. М., 1957.
101. *Степанов В.С.* Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.
102. *Степанов Ю.С.* Семиотика. М., 1971.
103. Структурализм «за» и «против». М., 1975.
104. Теория метафоры. М., 1990.
105. *Уорф Б.* Отношение норм мышления к языку // *Новое в лингвистике.* Вып. 1. М., 1960.

106. *Успенский Б.А.* Семиотика искусства. М., 1995.
107. *Философия языка.* М., 2004.
108. *Франк Д.* Семь грехов прагматики. Зарубежная лингвистика. Т. 2. М., 1999.
109. *Фрезер Дж.* Золотая ветвь. М., 1986.
110. *Фрейд З.* Психопатология обыденной жизни. М., 1989.
111. *Хомский Н.* Язык и мышление. М., 1972.
112. *Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи.* М., 1991.
113. *Чередниченко Т.В.* Кризис общества — кризис искусства. Музыка авангарда и поп-музыка. М., 1987.
114. *Чернейко Л.О.* Лингво-философский анализ абстрактного имени. М., 1997.
115. *Шабес В.Я.* Событие и текст. М., 1984.
116. *Шютц А.* Смысловая структура повседневного мира. М., 2003.
117. *Щедровицкий Г.П.* Философия. Методология. Наука. М., 1997.
118. *Щедровицкий Г.П.* Языковое мышление. М., 1964.
119. *Эпштейн М.* О будущем языка // Знамя. № 9. 2000.
120. *Эфроимсон В.П.* Генетика гениальности. М., 1997.
121. *Язык и наука конца XX века.* М., 1995.
122. *Язык и сознание: парадоксальная рациональность.* М., 1993.
123. *Языковедение.* Л., 1929.
124. *Якобсон Р.О.* В поисках сущности языка // Семиотика. М., 1983.
125. *Якобсон Р.О.* Новейшая русская поэзия. М., 1921.
126. *Якобсон Р.О.* Работы по поэтике. М., 1987.
127. *Якобсон Р.О.* Язык и бессознательное. М., 1996.
128. *Якушин Б.В.* Гипотезы о происхождении языка. М., 1984.



Оглавление

Введение в методологию	5
1. Научная философия	5
2. Имя и реальность.....	5
3. Два взгляда на мир.....	6
4. Четыре взгляда на человека.....	7
Глава I. Кризис реальности.	
Нервный срыв неандертальца	9
Краткое содержание главы	9
§ 1. «Жили-были».....	9
§ 2. Дарвин	11
§ 3. Сигнал.....	11
§ 4. Игра в войну между обезьянами	12
§ 5. Проблемные клетки	12
§ 6. Гуси и сокол	13
§ 7. Неадекватный рефлекс	14
§ 8. Ультрапарадоксальная ситуация.....	14
§ 9. Нервный срыв.....	15
§ 10. Оправдание Декарта	15
§ 11. Имитация	15
§ 12. Человек как обезьяна	17
Глава II. Функции воображаемого.	
Пещера депривации	19
Краткое содержание главы	19
§ 1. Пролегомены, или Карты на стол.....	20

§ 2. Невротический бунт.....	22
§ 3. Нонсенс	24
§ 4. Платон.....	25
§ 5. Пещера	25
§ 6. Игра.....	26
§ 7. Ритуал.....	28
§ 8. Эмоция	29
§ 9. Самость.....	29
§ 10. Филоктет.....	30
§ 11. Аутизм	30
§ 12. Воображаемое	32
§ 13. Тело и организм.....	33
§ 14. Письмо без знаков	35
§ 15. Символ	36
Две темы.....	38
§ 16. Симулякр	40
§ 17. Уже-сознание	43
§ 18. Депривация	44
§ 19. Изображение.....	45
§ 20. Искусство.....	45
§ 21. Современное искусство	47
§ 22. Я	48
§ 23. Галлюцинации	49
§ 24. Большая галлюцинация	50
§ 25. Чувство.....	50
§ 26. Тотем.....	50
§ 27. Стыд и симптом	51
§ 28. Радость узнавания.....	51
§ 29. Образы	52
§ 30. Диплостия	55
§ 31. Счет	57





Глава III. Символический порядок.	
Синонимия знаков	58
Краткое содержание главы	58
§ 1. Язык-аутист.....	60
§ 2. Знаки.....	61
§ 3. Звук и смысл.....	63
§ 4. Синонимия	66
§ 5. Значение.....	67
§ 6. Индивидуальные знаки	70
§ 7. Антонимы	72
§ 8. Метафора.....	72
§ 9. Семиотический парадокс	72
§ 10. Указательный жест	73
§ 11. Постъязыковые знаки	73
§ 12. Пирс.....	74
§ 13. Соссюр.....	75
§ 14. Бахтин	78
Глава IV. Слова и вещи.....	82
Краткое содержание главы	82
§ 1. Анτισлово	84
§ 2. Слово-магия	86
§ 3. Слово-перекресток.....	89
§ 3а. Слова-бумажники	90
§ 3б. Слова-заглушки.....	90
§ 4. Слова и вещи	90
§ 5. Слова-термины	93
§ 6. Первое слово	94
Глава V. Превращение формы	97
Краткое содержание главы	97
§ 1. Два метода превращения.....	97
§ 2. Кризис психологии.....	99

Глава VI. Прагматика речи.....	104
Краткое содержание главы	104
§ 1. Инстинкт и первичная репрезентация	107
§ 2. Речь и инстинкт	109
§ 3. Речь детей между инстинктом и воображаемым	110
§ 4. Речь.....	113
§ 5. Прагматика речи	116
§ 6. Понимание	117
§ 7. Дж. Остин.....	119
§ 8. Текст.....	121
§ 9. Речь и язык.....	125
§ 10. Антиязык	126
§ 11. Дословное письмо.....	126
§ 12. Немая речь	126
§ 13. Мертвый язык лингвистики.....	127
§ 14. Внешняя речь.....	128
§ 15. Внутренняя речь.....	128
§ 16. Устная речь	130
§ 17. Письменная речь.....	131
§ 18. Мышление и речь.....	132
§ 19. Пиаже.....	134
§ 20. Выготский.....	135
§ 21. Хомский.....	140
I. Че Гевара лингвистики	140
II. Что сделал Хомский?	141
Резюме	146
§ 22. Марр. Археология языка и мышления.....	147
§ 23. Н. Жинкин	155
§ 24. Розеншток-Хюсси	156
§ 25. Существуют ли пределы у антропологии границы?.....	157
I. О новом облике человека и европейской философии.....	157
II. Что есть человек?	158





III. О беспредельной изменчивости природы человека	158
IV. Возможна ли антропология границы?	160
V. Нужны ли Богу предельные проявления?	161
VI. О взмахе крыла бабочки	162
VII. О неклассическом подходе к человеку	163
VIII. О кролике Батае и топиках бытия	164
Глава VII. Сознание. Воображаемое и означенное	166
Краткое содержание главы	166
§ 1. Сознание и самость	167
§ 2. Сознание	170
§ 3. Сознание как проблема	174
§ 4. Антропология гениальности	181
Глава VIII. Эмоции	185
Краткое содержание главы	185
Глава IX. Невербальная коммуникация	198
Краткое содержание главы	198
§ 1. Миклухо-Маклай и папуасы	198
§ 2. Выразительность тела	200
§ 3. Паралингвистика	201
§ 4. Кинетика	201
§ 5. Жест	202
Глава X. Декарт и Спиноза. Теория страстей	203
§ 1. Теория страстей Декарта	203
§ 2. Антропология Спинозы	208
Глава XI. Модусы антропологии	212
Краткое содержание главы	212
§ 1. Антропологическая тавтология	214
§ 2. Археосавангард	217
§ 3. Пустота	218
§ 4. Виртуальность реальности	220

§ 5. Модус расширения природы.....	221
§ 6. Трансгрессия тавтологии	221
§ 7. Антропология метафоры	221
§ 8. Антоним	224
§ 9. Антропология нонсенса	225
§ 10. Немая речь (говорящая дословность)	226
Заключение.....	227
Литература	228



Научное издание

Гиренок Федор Иванович

**Абсурд и речь.
Антропология воображаемого**

Компьютерная верстка

Т.В. Исакова

Корректор

М.Е. Яковлева

ООО «Академический Проект»
111399, Москва, ул. Маргеновская, 3.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU. АЕ51. Н 15031 от 17.01.2011.
Орган по сертификации РОСС RU.0001.11АЕ51
ООО «ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ»

По вопросам приобретения книги просим обращаться
в ООО «Трикта»:

111399, Москва, ул. Маргеновская, 3
Тел.: (495) 305 3702; 305 6092; факс: 305 6088
E-mail: info@aproject.ru

Интернет-магазин: www.aproject.ru

Подписано в печать 11.01.12.
Формат 60×90/16. Гарнитура MyslC.
Бумага писчая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 14, 8.

Тираж 1000 экз. Заказ № 242

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов
в ГУП РМ «Республиканская типография „Красный Октябрь”»
430000, Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 55а
E-mail: tko-saransk@mail.ru

КНИГА — ПОЧТОЙ

ИЗДАТЕЛЬСКО-КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА
«ТРИКСТА»

*предлагает заказать и получить по почте книги
следующей тематики:*

- ▶ психология
- ▶ философия
- ▶ история
- ▶ социология
- ▶ культурология
- ▶ учебная и справочная литература
по гуманитарным дисциплинам
для вузов, лицеев и колледжей

Прислав маркированный конверт с обратным адресом,
Вы получите каталог, информационные материалы
и условия рассылки.

Наш адрес:

111399, Москва, ул. Мартеновская, 3,
ООО «Трикта», служба «Книга — почтой».

Заказать книги можно также по
тел.: (495) 305-37-02, факсу: 305-60-88

или по электронной почте:

e-mail: info@arproject.ru

Просим Вас быть внимательными и указывать полный
почтовый адрес и телефон / факс для связи.

С каждым выполненным заказом Вы будете получать
информацию о новых поступлениях книг.

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!

**Издательство
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»
представляет:**

ГИРЕНОК Ф.

УДОВОЛЬСТВИЕ МЫСЛИТЬ ИНАЧЕ

2010. – 236 с.

Работа представляет собой попытку сместить философский дискурс в сторону большей «визуальности» и «минимальности». Она представляет собой попытку живым и образным языком работать с неустоявшимися смыслами, чтобы переводить человека из одного состояния бытия в другое.

Федор Гиренок

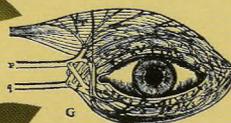
Абсурд и речь.
Антропология
воображаемого



hic et nunc

Новая книга одного из ярких современных русских мыслителей утверждает, что человек является воплощенным абсурдом, его источником и носителем. Поскольку речь пытается соединить воображаемое и язык, постольку она пытается придать смысл бессмысленному. При этом автор исходит из того, что логика всегда лжет, пытаясь что-то сказать о человеке. Нелинейный способ связности рассуждений является, на взгляд автора, наиболее адекватным способом передачи абсурдности существования человека.

Информационная поддержка серии



МФК

московский философский колледж
www.runiver.net

ISBN 978-5-8291-1383-4



9 785829 113834